

Карина Демина

Охота на охотника

© К. Демина, 2021

© ООО «Издательство АСТ», 2021

Глава 1

Димитрий знал, что он почти умер.

Он был как бы и в теле своем, странно и пугающе неподвижном, и вовне. Он чувствовал, как это тело ворочают, укладывают, пытаются согреть силой, но та уходит в дыру, которой является он сам.

Он пытался дышать.

Но получалось плохо. Сердце то несло вскачь, то, споткнувшись, замирало, и Димитрий понимал, что очень скоро оно остановится.

А потом... стало больно. И плохо.

И кажется, он кричал, только никто не слышал, кроме, пожалуй, свяги. Он зацепился за взгляд льдистых ее глаз и запутался в нем. Он хотел вырваться, ибо взгляд обещал покой, а Димитрий покоя не желал... и он рвался, рвался.

А потом свяга отпустила.

И к нему вернулась возможность дышать, а с нею и видеть. И то, что он увидел, ему совершенно не понравилось.

- Вас спасаем, - ответила рыжая, вытирая рукавом щеку. Рукав был пыльным, щека грязной, а рыжая... донельзя расстроенной.

- Спасибо...

- Лежите, - Одовецкая разминала руки. - Я сростила кость и постаралась вычистить кровь, но... лежите... все же мне пока до бабушки далеко, и вообще подобные раны, чтоб вы знали, считаются смертельными. И вам просто повезло.

Тихо усмехнулась свяга, сворачивая покров призрачных крыльев. И взгляд ее потеплел. А Димитрий попытался было сесть, но понял, что не способен и пальцем пошевелить.

- Я же говорила, что они сразу вскочить пытаются. Лежите, вам еще сутки шевелиться нельзя, если вы выжить хотите.

Выжить Димитрий хотел. Но вот...

- Лешек...

Надобно было позвать кого-то, но кого... и как... и...

- Снежка, он теперь более-менее стабилен. Сумеешь перенести?

И вновь задрожали, расправляясь, полупрозрачные крылья. И раздалась ткань мироздания, пропуская ту, которая принадлежала обоим мирам.

Долго ли, коротко ли...

В темном небе мгла носилась, и Лешек с нею вместе. В какой-то миг сила признала его, обняла ласково, понесла по-над миром. Она растянулась радужным мостом от Северных врат, от мрачных лесов кедровых, до кипящего Южного моря. И Лешек с нею пил горькую воду, носился меж пухлыми облаками, чтобы после нырнуть в глубокую смоляную яму.

Он заглянул в Гнилополье - иссушенное, изломанное.

Он связал разорванные нити, не возрождая мир, но давая лишь малый шанс.

Он побывал на дне Изрючей бухты, где все еще умирали корабли, пусть и затонувшие много лет тому. Он подобрал утопленников, больше не имело значения, смутьяны они ли те, кто держался клятвы. Он подарил им покой.

Он... вернулся.

Арсинор пылал разноцветьем огней, и это было прекрасно. А небо, будто подхвативши краски, наполнялось алым. Стало быть, рассвет недалече и надобно спускаться. Сила, услышав его желание, покорно спустилась, хлестанув напоследок небо плетью ветра.

Загудел небосвод.

Полыхнул огнем ярким, грохотом отозвался. Вздогнул Арсинор, того и гляди провалится сквозь землю, но ничего, устоял. А Лешек удержался на широкой конской спине. И сила ушла сквозь землю, просочилась сквозь камень, который блеснул золотыми искрами скрытых кладов. Полозова кровь потянулась к ним, да Лешек устоял.

После соберет. Коль нужда выйдет.

Сила же, оказавшись в зале, загарцевала, закружила да и встала точно вкопанная. Только ишь, ушами прядет да косится глазом огненным.

- Спасибо, - Лешек провел ладонью по горячему боку. - Ты ж моя красавица... умница...

Он спешил и не без опаски убрал руку, но сила крутанулась, рассыпаясь темным дымом, а дым обернулся пеплом, и тот, соленый, осел на коже, на одеже, на губах.

Вот тебе и...

Князя уложили на Лизаветину постель. Выглядел он, к слову, препоганейше. Нет, он и в прежние-то времена, следует сказать, красотой особой не отличался, а теперь и вовсе.

Кожа серая. Глаза запали.

Только нос клювастый торчит да волосья в разные стороны. А глаза посверкивают грозно.

- Надо... - он попытался встать, но Одовецкая не позволила. Прижала руку к груди и, поморщившись, признала:

- Надо целителя позвать.

- А ты кто? - Таровицкая сняла с платья паутинку.

- Я целитель, только... - Аглая вздохнула и, погрозивши князю пальцем, добавила: - Я ж теорию знаю, а практика, она другая. Думаешь, мне там было где практиковаться? В монастыре редко приключается что серьезное. С простудами вот шли, с переломами, а у него, между прочим, повреждения мозга.

- Лешек... надо... - князь руку стряхнул и сесть попытался, впрочем, тут же растянулся на постели с преблаженной улыбкой.

- Что ты сделала? - Лизавете было тревожно и за князя, и за наследника, который, верно, остался в подземельях, иначе зачем князь туда так рвется?

И стало быть, надо сообщить, но кому?

- Папеньке скажу, - Таровицкая ладонью пригладила встрепанные волосы.

- Погодь, - Авдотья с видом презадумчивым на револьвер уставилась. - Я с тобой. Не дело это, нынешним часом в одиночестве гулять.

И Солнцалика не стала противиться, кивнула и поинтересовалась:

- А второй где?

- Не знаю... потерялся, наверное... - Авдотья нахмурилась паче прежнего. И Лизавета тоже. Было этакое ощущение некоторой неправильности.

- Сила его позвала, - Снежка стояла у окна, обняв себя, практически закутавшись в белые крылья. Полупрозрачные, они спускались до самой земли, и, говоря по правде, гляделась Снежка жутковато. Ныне в ней, может, вовсе не осталось человеческого. Черты лица и те заострились, вытянулись, и того и гляди ударится оземь да и обернется лебедем. - Он и пошел... с силой управится, значит, вернется.

- А если нет?

- Никто ему не поможет, - она смотрела в окно.

И Лизавета глянула.

Небо было... алым? Аккурат как шелковый платок, который папенька матушке подарил. И молнии

расползались, что шитье золотое. Надо же, ни тучки, а туда же, молнии.

- И все-таки сказать надо, - Гаровицкая перебросила косу за спину. - И целителя, раз уж такое дело...

- Бабушку...

- Хорошо.

Они вышли, а Лизавета... она просто желала убедиться, что князь дышит. Села рядышком, взяла за руку. Холодная какая. И тяжелая. Да и князь не легонький, всего-то пару шагов надобно было сделать, а едва сумели. Пока еще на кровать положили.

По ладони линии расползаются.

И Лизавета их гладит.

Как тетушка там учила? Линия жизни... вот она, тонкой ниточкой протянулась ажно на запястье, значит, жизнь князю суждена долгая. И впору порадоваться, только как-то все одно страшно. А вот холм Венеры, ромейской богини, которая за любовь отвечает. И еще одна линия под ним, сердечная, ишь, толстая какая, глубокая. Тетушка всенепременно увидела бы в том знак особый, а вот Лизавета только и способна на руку пялиться.

Дышит.

Ровно так дышит, спокойно... и неприлично разглядывать спящих мужчин, однако Лизавета не способна взгляда отвести. Вот морщинки на лбу. И родимое пятнышко под левым глазом, смешное, будто мушку князь наклеил по старой моде. Пятнышко тянет потрогать, но это уж и вовсе...

- Он оправится, - Одовецкая положила ладони на виски. - Главное, чтобы теперь лежал хотя бы сутки, пока ткани не стабилизируются. Иначе кровоизлияние и...

И он умрет?

Не умрет. Лизавета не позволит. Она не хочет, чтобы люди, ей близкие, умирали. Хватит уже. А он близкий? Щетина темная на подбородке пробилась. Колет пальцы. А губы резкие. Интересно, он пощечину простил?

Лизавета вздохнула.

А князь открыл-таки глаза.

- Вот упрямец, - почти восхитилась Аглая, впрочем, рук своих с головы Навойского не убрав. - И главное, какая поразительная устойчивость к внушению... Спи уже.

Спать князь не собирался. Его взгляд зацепился за Лизавету, и губы растянулись в нелепой улыбке:

- Ты... рыжая... знаешь, у рыжих глаза должны быть зелеными.

- Почему? - тихо спросила она.

- Потому что так положено. Но твои мне нравятся больше. Темные. Как вишня. Я вишню люблю. Она кислая... а ты...

- Тоже кислая?

- Рыжая... бесстыжая...

Захотелось одновременно и заплакать, и побить князя подушкой. Тоже придумал - бесстыжая...

- Он не совсем чтобы в себе, - Одовецкая пальцы отняла. - Спутанность сознания - это нормально. Хотя... моя тетушка говорила, что люди, когда бредят, не лгут...

- И целоваться ты толком не умеешь...

Лизавета почувствовала, как вспыхнули щеки.

Целоваться? Не умеет?

- Но я научу, - князь таки закрыл глаза. - Потом... устал что-то...

- Значит, надо отдыхать.

- Буду... только ты не уходи, ладно?

- Не уйду, - пообещала Лизавета, мысленно проклиная себя и за слабость, и за язык чересчур длинный.

- Хорошо... Только в следующий раз я тебя лучше клубникой накормлю, с клубникой целоваться будет вкуснее, чем с огурцом.

Одовецкая сделала вид, что занята исключительно содержимым своего кофра, за что Лизавета была ей невероятно благодарна.

А еще Лизавету не оставляло ощущение, что она забыла о чем-то важном.

Лешек вышел из круга.

Огляделся.

Тьма была кромешной, но не для внука Полоза. Он коснулся стены, пробуждая камень к жизни, и тот слабо засветился.

- Митька! - Лешек весьма надеялся, что у старого приятеля хватило выдержки дождаться его возвращения. В пользу того говорила приятная пустота подземелий.

Ни магов-поисковиков, ни войска. Ни обеспокоенного папеньки. Ни, что характерно, самого Митьки.

Лешек прислушался к камню и, крутанувшись, шагнул туда, где почуял живое человеческое тепло.

- Митька, зараза ты этакая... - он запнулся.

Митьки не было.

В уголке, прижимаясь к холодной стене, сидела девушка вида самого разнесчастного и баюкала в руках револьвер.

- Не подходи, - сказала она, револьвер поднимая, - а то стрельну!

- Зачем?

Девушка была смутно знакомой.

Где-то он определенно видел ее, но вот где, когда? Среди красавиц? Или просто во дворце... Неважно, главное, что в подземельях девушке точно было не место.

- Митька где? - поинтересовался он.

А девушка ответила:

- Унесли.

- Кто?

- Девочки. Он раненый был. И Одовецкая сказала сперва, что он умрет...

Сердце кольнуло.

- А потом Лизавета его позвала, и Одовецкая ему голову разрежала...

Душа перевернулась.

Митька умереть не может. Он, конечно, не древнего рода, но маг, и силы изрядной. И не может он умереть, и все тут!

- Она там кости правила, - девушка коснулась пальчиками виска, но револьвер не убрала. - А потом сказала, что его можно уносить.

- И унесли?

Она кивнула, уточнив:

- Асинья... тропу открыла...

- А ты?

Девушка вздохнула печально-препечально, признаваясь:

- А меня забыли...

Ага. Забыли. Взяли и...

- Они не виноваты, - она опустила взгляд. - Просто... дар у меня такой, меня и родные - маменька трижды на ярмарке забывала. Там людей много, я пугалась, и вот... последнего раза меня два дня искали. И маменька сказала, что больше на ярмарку брать меня не станет, потому что у нее нервы слабые. А я же не виновата. Дар просто... я чуть отошла, там блеснуло что-то, а когда вернулась, то их... Не успела. И куда идти, не знаю.

Лешек протянул руку:

- Я знаю.

Ее ладошка оказалась теплой, а пальцы дрожали, и вид у девушки был на редкость неподходящий для этаких прогулок. Вон платье тоненькое, коротенькое, когда сидит, то и коленки ободранные видны. И девушка смутилась, потянула за подол, эти самые коленки прикрывая.

Зря. Лешек бы еще поглядел.

- Звать-то тебя как, чудо?

- Дарья, - сказала она и, тихонько вздохнув, добавила: - Только вы ж все равно забудете... Все забывают.

Лешек не стал расстраивать: у змей память на редкость хорошая. А еще от девушки пахло молочным янтарем и самую капельку - медом. Мед Лешек любил, особенно если гречишный.

Волосы у Дарьи аккурат такого вот колера, темненькие и завиваются.

- Папенька вот... Он же с даром тоже, от него и братьям моим передалось, но с ними, он говорил, всяко попроще будет, а я... Я когда пугаюсь, оно особенно сильно получается, непроизвольно. А пугаюсь я часто.

Она шла рядышком, и набойки туфелек цокали по камням, что копытца.

Невысокая. Аккуратная вся какая-то. Личико вот остренькое, с подбородком мягким и огромными глазами золотого колера.

Лешек даже сглотнул, до того вдруг захотелось заглянуть в них и убедиться, вправду ли золотые. Но удержался.

- Мне настойку делают. Только я от нее спать все время хочу. Не знаю, что хуже, спать или постоянно теряться. Теряться-то я с большего привыкла, приучилась сама.

- А во дворце чего делаете?

Лешек остановился и, сняв испачканный, местами драный, а то и вовсе обгоревший пиджачишко, набросил на плечи новой знакомой.

Мед. И нефрит молочный, той редкой породы, которая не каждому мастеру глянется. И еще собственно молоко, парное, с высокой шапкой пены.

- Так конкурс же... Матушка захотела. Я ведь... мне ведь двадцать три почти, и матушка говорит, что в двадцать три неприлично безмужней быть. Она хотела сговорить меня, но сперва забывала тоже, а после... Знакомиться стали, и понимаете, у нас и соседи есть хорошие, и матушкины приятельницы, только они, когда говорят, меня помнят, а взгляд отведут, и все... То есть знают, что я есть, но вот зачем я им нужна...

И правильно, и хорошо... А то знаем мы эти нравы провинциальные, сговорили б девчонку, едва десятый год ей пошел, а в четырнадцать и вовсе сговор в церкви скрепили, неразрушимым делая. И была б она теперь замужем, а не шлялась по подземельям в сомнительной компании.

Правда, тут же Лешек решил, что он-то аккурат компания наиподходящая.

- Маменька пробовала женихов и к нам приглашать, и нам ездить гостеваться... Только я...

- Пугалась?

Дарья кивнула и поникла:

- Но маменька все одно куда-нибудь да сговорила бы, только папенька ей запретил. Сказал, что мне такой муж, который, стоит за дверь выйти, и не вспомнит про супругу, не надобен. А маменька тогда ответила, что мне только в монастырь прямая дорога. И то не факт, что там про меня не забудут.

Она сказала это так печально, что сердце дрогнуло. И Лешек осторожно сжал хрупкие пальчики. Вот же... и получается, он сам ее не видел... или если видел, то забыл?

И стало быть, снова забыть может?

Он нахмурился, взывая к другой своей крови: ну уж нет, на человека, может, дар этот и сработает, а вот со змеевой кровью... будем надеяться, что нет.

- А папенька тогда ей, что, мол, никакие монастыре мне не нужны. Что он мне долю в наследстве, как и Савушке - это мой брат, средний, так вот, он долю выделит. Дом купит где жить захочу... и буду я жить. И плевать ему, что это неприлично, потому как с таким даром все одно сплетни не пойдут. Я уже и приглядела, честно говоря. Есть у нас на самой границе вдовый дом, от моей прабабки. Небольшой, но справный, мне бы хватило.

Дарья высвободила руку и потеряла кончик носа:

- Чешется... Стало быть, колдуют рядом... менталисты... не люблю их, вечно нороят в голову залезть.

- А вы...

- Тоже дар... батюшка мой еще вашему деду служить изволил, за что и награжден был. И во время Смуты тоже отличился, и братья мои на службе.

Лешек позвал камни, которые откликнулись, сменяя цвет с темно-золотого на белый. Протянулись нити силы, с трудом продавливаясь сквозь тяжелые металлические жилы, пролегшие аккурат под дворцом. Что поделать, матушкины волосы тянули к себе золото, и надо будет отвести после, перетянуть в другое место, пока жила не застыла, пока еще способна двигаться. Глянуть только сперва по карте, где там старые шахты есть, чтоб наново не бить.

- А меня вышивать вот обучали. Только я так и не научилась, - Дарья оглушительно чихнула и прикрыла рот ладонью. - Сильный, зараза... Это ваш дар?

- Еще нет. Стой здесь. И говори, пожалуйста.

А то вдруг он и вправду потеряет.

- Так... чего говорить? - удивилась Дарья.

- Рассказывай... значит, вышивать не умеешь?

- И шить не умею, и голос у меня так себе, а музицирую вовсе отвратно, хотя матушка научить старалась. После мне это все скучно было, а вот братьев, наоборот, интересно учили, рассказывали про всякое... Я к ним сбегала, а про меня забывали.

Старая сила, задремавшая было, тоже откликнулась на Лешекоев зов. Она раскрылась, развернулась тугой спиралью, потревожив и железную жилу, и совсем крохотную серебряную.

Где же ты? Не друг, а враг...

- Я долго так... и мои про меня забывали, а братовы учителя не обращали внимания, если тихо сидеть.

Никого.

Должен быть. Слушай камень превнимательно. Собирай крупички тепла, которого под землю мало, запоминай, как стучит сердце того, кто, должно быть, обнаружил, что сила больше не дичает.

Вот удивился, должно быть.

А вот человек был... Он прятался, и преумело, отгородившись от камня одеждой, и небось непростой... Но вот забылся, коснулся гранита ладонью, а тот и запомнил.

И след горел.

Лешек положил ладонь на камень. И сила отозвалась охотно, потянулась и схлынула, завихрилась, полетела, спеша к метке следа. Вздогнули подземелья, и грохот обвала разнесся по ним.

- Что это? - Дарья вздрогнула.

- Ничего, - соврал Лешек, ее пальчики аккуратно сжав. - Здесь случается.

- А врать вы не умеете.

- Не умею. Думаешь, надо учиться?

- Он все равно ушел, тот человек, - Дарья поморщилась и чихнула. - Не люблю менталистов...

А кто ж их любит?

Стрежницкий не спал. То ли совесть, внезапно очнувшись, мешала, то ли просто выпался за день, вылежался, и теперь перина казалась комковатой, пуховое одеяло - жарким, а собственное тело внезапно стало слабым, негодным.

И в голову вот лезло всякое.

- Богдан, - раздался тихий шепоток. - Что ж ты так со мной?

Он повернул голову и руку положил на рукоять револьвера. Оно-то, конечно, охрана охраной, а привычки привычками.

- Сама виновата, - ответил, чувствуя, как вялые пальцы беспомощно скользят по металлу. Ишь ты, и не сгибаются почти.

Зелья это. Выпейте. Надобно. Боль отступит. Да чтоб он хоть раз еще...

- В чем виновата? - слезливо поинтересовался голосок, от которого рана в глазу зачесалась невероятно. И Стрежницкий заскрипел зубами. Вот и где, спрашивается, эта самая охрана? Его, может статься, убивать пришли, а их будто и нет.

Спят, что ли?

- Так и ты ж меня убить собралась, - он закрыл глаза и задышал часто, быстро, заставляя себя сосредоточиться на вялой руке и треклятом револьвере, который оказался дальше, чем должен был быть. - Или не собиралась?

- Я тебя любила, - с упреком произнес призрак.

Повеяло холодом. Жутью.

А в голове прояснилось. Все ж таки боль - хорошее средство, от воздействия помогает наичудеснейшим способом.

- И дитя наше...

- Какое дитя? - пальцы таки добрались до рукояти. - Мы с тобой всего-то с полгодика вместе и побыли, откуда дитяти взяться?

- Мое... мое... - призрак отделился от стены. Он казался бледным пятном. - Разве ж не обещал ты заботиться...

Не обещал.

К обещаниям своим Стрежницкий относился весьма серьезно. И теперь подтянул револьвер поближе, а сам заскулил, надеясь, что выгладит в достаточной мере жалко, чтобы тварь подобралась поближе.

- Ты виноват, виноват... - знакомый голос очаровывал, и на глаза навернулись слезы, сердце в груди вспыхнуло, сжалось, а после пустилось вскачь. Того и гляди разорвется. Во рту пересохло, а пальцы мелко задрожали. - Искуп, искуп... искуп...

- Чем? - Стрежницкий зажмурился, изо всех сил пытаясь противостоять наваждению. А давили крепко, сминая волю; и если бы не благословенная боль в горящем глазу, он бы не выдержал. Он зацепился за эту рану, которая еще недавно злила, и держался ее, смакуя боль во всем ее многоцветье. Он дышал прерывисто и задышался, а в груди закипал кашель.

- Придет... от меня придет... помоги... сделай, что скажет... ты должен... должен... иначе... умрешь...

Призрак подобрался достаточно близко, чтобы Стрежницкий различил тонкий цветочный аромат духов. И как ни странно, запах этот придал сил.

Будут пугать? Как бы не так.

Он поднял руку. И выстрел прозвучал оглушающе, во всяком случае, сам Стрежницкий оглох, а еще ослеп и потерялся где-то, а где, и сам не знал. Мелькнули и полетели темно-зеленым шаром болота, а с ними костры и кони, люди - все, которых ему случалось встречать в жизни своей. И мир, и небо... И только чьи-то серые глаза удержали его от падения в бездну, в которой проклятую заблудшую душу уже ждали черти с кострами. Подождут...

Он пришел в себя сразу, так сказали после. А Стрежницкий согласился. Сразу так сразу. Главное, что очнулся.

И револьвер подхватил дрожащею рукой. И сполз с постели, вставши на четвереньки, поскольку ноги не держали, да и от того, чтобы героически не обмочиться, его удержало лишь чудо.

- Эй, кто-нибудь... - голос звучал на редкость сипло, надсаженно. А еще Стрежницкий распрекрасно осознавал, насколько он ныне жалок. Если бы промахнулся, небось не стали бы нянчиться, подушку на лицо и... Что бы он сделал?

Ничего.

А то и вовсе утянули бы в бездну призрачного мира...

А он не промахнулся.

И теперь сидел над телом девушки в темно-синем платье с белым отложным воротничком. Чулочки шелковые... лицо почти уцелело, пуля вошла аккуратно под левым глазом, причем глаз сохранила, а скулу разворотило. И смотреть на это было... неприятно, пожалуй.

Война...

На войне он видывал и таких вот девочек, и других, моложе, невинней. Застреленных, повешенных, сожженных, замордованных до смерти. И его людьми в том числе, но то на войне, а теперь же мир... кажется, мир... Только почему он чувствует себя поганей, нежели тогда?

Он прижал пальцы к шее, хотя с такою раной девица не могла остаться живой. И покачал головой. Как же тебя так угораздило-то?

До столика, на котором валялся сигнальный амулет, Стрежницкий полз на четвереньках. Его даже не слишком-то удивило, что охрану не встревожил выстрел. Дай бог, чтоб живы оказались...

Он добрался. И поднялся. И, амулетку стащив, сдал в кулаке.

И сел, закрыл глаза, пытаясь отделаться от шепота: «Помоги... помоги и будешь прощен...»

Хрена с два. Не за что ему прощения просить. Не за что...

Глава 2

Князя все-таки унесли.

И папенька Таровицкой, человек высокий и крепкий, хмурился, двигал бровями и губами, но ни слова не сказал. А бабушка Одовецкой, Таровицкого и взглядом не удостоившая, бросила:

- Молодец, отличная работа.

И от похвалы этой Аглая зарделась.

А потом в комнате стало тихо, и когда в ней появилась бледная девушка в пиджаке явно с чужого плеча, никто ее появлению не удивился, а Лизавете лишь подумалось, что писать статью ныне смысла нет, да и писать-то особо не о чем.

Зато князь поправится. Это ведь хорошо?

Ночью ей снилась великая снежная степь, по которой летела собачья упряжка. Огромные псы черной масти бежали легко, не проваливаясь в зыбкий снег, а широкие полозья не оставляли следов. Сидела в груди мехов драгоценных Заячья Лапа, грызла погрызенный чубук своей трубки.

Встретилась с Лизаветой взглядом. И сказала:

- Время близится. Не упusti.

Лизавета, которая вдруг обнаружила, что стоит на снегу босой, кивнула: мол, ни за что не упустит. Правда, чего...

...Она проснулась засветло.

Тихо. Прохладно.

За окном лето, но этот старый камень и в самую жару не прогревается. Вон пол совсем студеный. Прочие спят. Раскинулась на кровати Авдотья, губами шевелит, будто спорит с кем-то. Свернулась калачиком Одовецкая и так лежит, дрожит во сне, зовет кого-то, а кого, не слышно.

Маму?

Снежка лежит на спине. Прямая. И руки на груди сложила. Сама бледная и... Лизавета перекрестилась, уж больно неживой выглядела она.

А вот Таровицкая во сне подушку обняла, стиснула и под живот себе запихала.

Последняя кровать была пуста.

Дарья...

Неудобно вышло вчера, да. И уверения, что подобное случается, не помогли.

Ныне Дарья не спала. Сидела на подоконнике, сжавши кулачки, прислонилась лбом к мутному стеклу и глаза закрыла. По щеке ее бледной ползла слезинка.

- Что случилось? - спросила Лизавета тихо.

- Ничего, - Дарья шмыгнула покрасневшим носом и тихо спросила: - А сильно заметно?

- Что ничего не случилось? Изрядно.

Дарья вздохнула.

- Пойдем, - Лизавета протянула руку. - Холодной водой умоешься. И еще по полтине на каждый глаз положи, минут на десять, хорошо отек снимает.

- А моя матушка огуречный рассол пользует, - Дарья торопливо смахнула слезинку и сползла с подоконника. - Говорит, что лучше его нет.

- Может, и нет, - согласилась Лизавета. - Только где мы сейчас рассол возьмем?

Только-только рассвело. Солнце, темно-красное, налитое, еще висело над самой землей, будто раздумывая, а стоит ли вовсе на небосвод лезть, выдержит ли он, такой хрустально-хрупкий, всю тяжесть светила. Еще немного, и дрогнет, покатится, отмеряя утренние часы. И смолкнут соловьи, уступая дневным птицам...

- Я его люблю, - пожаловалась Дарья в умывальне. - Как думаешь, можно влюбиться с первого взгляда?

- Думаю, что если ты влюбилась, то, значит, можно, - Лизавета тоже умылась.

А вода леденущая.

То ли красавицам не положено, то ли новое испытание удумали, то ли горячую позже пустят. В конце концов, кто в такую-то рань несусветную встает.

- Маменька сказала бы, что это глупость и блажь, что в мужа влюбляться надо.

- А если нету?

- Тогда завести и влюбляться.

Наступил Лизаветин черед вздыхать: муж, чай, не таракан, сам собою не заводится. А если так, то неужели без любви жить? Как-то оно несправедливо.

- Я... я его раньше... на ярмарке... в Арсинор на ярмарку папенька повез... у меня кошель украли. - Дарья похлопала себя по щекам. - Давно уже. Мне было десять, и я полгода деньги собирала для ярмарки - папенька давал. А маменька не велела от себя отходить. Только она все по купцам, ей книжные лавки без надобности. Я же хотела... не подумай, у нас большая библиотека в доме, только все больше или про святых, или про полководцев. Я про магию хотела... научиться даром управлять, чтоб... знаешь, это обидно, когда тебя все забывают. А дома только по основам. Вот и хотела купить такую книгу, чтобы... понимаешь?

Лизавета кивнула.

- Вот... я и отступила... думала, что взрослая уже, да и чего мне сделается-то? Привыкла, что люди меня не видят, а тут вот... срезали. Я в лавке только и поняла... книг выбрала, платить хотела, а вместо кошельки одни веревочки. Обидно стало до слез. Я и разрыдалась. А он спросил, чего реву, и книги мне сунул. Потом сказал, что одной гулять не стоит, что опасно, и мы гуляли вместе. Он, его приятель и я...

Дарья вновь всхлипнула:

- Я ж тогда... я просто запомнила его... я людей хорошо запоминаю, а он... он...

- Тебя забыл?

Дарья кивнула:

- Так...

Лизавета прикусила губу: вот и чего сказать? Правду? А кому она нужна? Дарья и сама понимает, что дар у него особого свойства, да и без дара всякого попробуй-ка вспомни девицу, которую видел один раз в жизни и много лет тому.

- Я понимаю все, - Дарья похлопала ладонями по щекам. - Просто... я тоже не думала, что... а встретила и... я без него не хочу... он хороший. Добрый...

- Кто?

- Цесаревич, - прошептала Дарья, слезы по щекам размазывая, и без того красные, те запунцовели совсем уж болезненно. - Он надо мной не смеялся.

Да уж, изрядный повод, чтобы влюбиться.

- Только он меня теперь забудет.

- Может, не забудет.

- Забудет, - с убежденностью произнесла Дарья. - Все же забывают и... и вообще... кто он, а кто я? У папеньки род не древний, у маменьки тоже... денег у нас немного, а... да и вовсе... - Она махнула рукой и тихо добавила: - Пусть уж лучше забудет. И я бы сама... если бы могла... а он... лучше так. Для всех.

Лизавета кивнула. И она не отказалась бы забыть... У князя вот глаза светлые. А еще он хмурится забавно. И вообще... Но кто она? Недоразумение, которому титул достался, и вообще... дева старая, бесприданница, сестрами отягощенная. На таких князья не женятся.

Лизавета коснулась губ.

Дура она, а не дева старая. И сама виновата.

К завтраку накрыли в саду. Наверное, сие было даже мило, во всяком случае, прочие участницы, которых осталось с две дюжины, громко восхищались необычностью завтрака и красотой сада. Их императорское величество присутствием своим завтрак не удостоил, а вот Анна Павловна была.

Она заняла место подле пустующего кресла.

И сидела, задумчивая, отстраненная, казалось, не обращающая на девиц ни малейшего внимания, что, впрочем, никак не сказалось на их старательности.

- До чего великолепные розы! - воскликнула Залесская, обмахиваясь веером. Темно-синий, он несколько дисгармонировал с легким платьем цвета шампань.

Наряды у участниц вновь были до удивления схожи, выполнены в одном цвете и в одном стиле, что, кажется, многим было не по нраву. Впрочем, спорить с Ламановой, не говоря уже об императрице, девицы не смели. А потому силились украсить себя хоть как-то, чтобы выделиться. И вот у кого-то на волосах появилась узкая лента с искусственным цветком. Кто-то мушку к губе приклеил или вот нарисовал ярко-красные губы...

- Сразу видно, что создавал их настоящий мастер, - Марфа поднесла к губам кофейную чашку, но к напитку не притронулась. - Моя матушка училась в университете, и она говорила...

- А вы? - нарушила молчание Анна Павловна.

- Простите?

- Вы не учились?

- К моему сожалению...

- Почему?

Марфа несколько смутилась.

- Потому что дура, - тихо произнесла Авдотья, которая после вчерашнего сделалась на редкость задумчивой. - И даже папенькины деньги этого исправить не в состоянии.

- Это как-то неприлично...

- Почему?

- Тамошние нравы... простите, всем известны. И потому удивительно знать, что... некоторые не скрывают своей... - Веер развернулся и задрожал. - Своего... образования.

- Действительно, как это возможно...

- Именно... Матушка говорила, что ей с трудом удалось сохранить себя для мужа. И она не желала, чтобы я и моя честь подверглись подобным испытаниям.

- Была не уверена, что выдержит? - Одовецкая облизала пальцы и зажмурилась. - Что? В монастыре так не кормят. Знаешь, кажется, я туда не вернусь, даже если бабушка будет настаивать. Открою практику. Только сперва нужно будет получить подтверждение, подам документы, пусть соберут комиссию...

А розы были действительно хороши. Компактные кусты.

Крупные цветы, чья форма идеальна. И устойчивы наверняка что к заморозкам, что к грибкам, которые розы портят преохотно, а извести их крайне сложно. Именно поэтому с розами Лизавета и не любила работать: возни много, а толку... вот то ли дело лилии или те же фрезии, ничуть не хуже.

- Что ж, любое мнение ценно, - Анна Павловна поднялась, давая понять, что слегка затянувшийся завтрак окончен. - И вместе с тем я собрала вас здесь, чтобы объяснить суть следующего испытания. Как вы знаете, близится весьма знаменательный день: именины его императорского высочества князя Гормовского.

Девицы зашумели.

Про знаменательный день знали все и, сколь Лизавета поняла, весьма на этот самый день

рассчитывали. Правда, на чем сии расчеты строились, было не до конца ясно.

- Полагаю, вам уже известен порядок праздничных мероприятий, - Анна Павловна коснулась темно-вишневой розы и слегка поморщилась. Что ей не по нраву? Цветок, совершенный в каждой линии своей?

А мероприятия... Что-то такое Лизавета читала...

Торжественный молебен, и не только в храме Спасоземском, но и во всех церквах Арсийской империи, впрочем, вряд ли здесь потребуется помощь.

Парад на Нервской площади.

Народные гуляния с раздачей подарков от имени его императорского высочества.

Посещение Большого Императорского театра, где обещались премьеру нового спектакля.

И на следующий день большой бал, на который приглашены все более-менее видные люди империи. Это не считая малых увеселений для народа. В прошлом году вон бочки с вином выкатывали, раскладывали костры, на которых жарили мясо. А всем сиротским приютам и домам призрения выплатили по сто рублией.

- Ее императорское величество весьма озабочена тем, чтобы все прошло наилучшим образом. Приглашены многие важные для империи люди, которые, однако, порой бывают весьма и весьма далеки от дворцовой жизни. И вашей задачей будет не только сопровождать их, помогая во всем, но сделать так, чтобы ваши подопечные чувствовали себя желанными гостями.

Анна Павловна погладила темный цветок:

- Чуть позже состоится жеребьевка. Каждая из вас получит имя. И надеюсь, вы понимаете, чего от вас ждут. - Ее губы тронула улыбка.

А кто-то вздохнул и робко поинтересовался:

- А... а это прилично?

- Вполне, - Анна Павловна обратила взгляд на Залесскую. - Неприличны глупость и невежество, а от вас лишь требуется исполнить роль. Поверьте, это самая простая из ролей, которые здесь порой приходится исполнять.

...Князь Навойский испытывал преогромное желание присесть, а лучше прилечь. И целители сказали бы, что желание сие вполне естественно, а князю надлежит прислушаться к нуждам собственного тела, пока оное тело вовсе не отказалось ему подчиняться.

Виданное ли дело, ему голову едва ль не до смерти пробили, а он вместо того, чтобы лежать, окруженный заботою, побежал куда-то.

Ладно, не побежал. Пошел. Похромал, на тросточку опираясь.

- Очевидно, князю вновь примерещилось, и в состоянии ума помраченного он совершил смертоубийство девицы Лужниной, - Первцов неожиданно для себя обнаружил, что стал вдруг если не самым главным в конторе, то почти. Князь вон серый, больной, осунулся весь, того и гляди сляжет. И внезапная власть пугала. То есть нет, в мечтах своих героических Первцов не раз и не два примерял место, заменял высокое начальство, пораненное на службе едва ль не до смерти, и конторой руководил мудро, за что после и бывал жалован. В мечтах.

Наяву конторой руководить оказалось не так и просто.

Нет, Первцова слушались. Приказания его исполняли, однако не отпускала препоганая мыслишка, что приказания эти неверны... вот, скажем, взять Стрежницкого.

С одной стороны, девица застреленная имелась. И сам Стрежницкий не отпирался.

И стало быть, вина явная, а потому и действия очевидны, но теперь, перед князем, очевидность их вдруг поблекла.

- И ты, идиот, отправил его... куда?

- В... в заключение.

На щеках вспыхнули пятна. Осознавать себя идиотом не хотелось. Впрочем, кому и когда было дело до желаний Первцова.

- Куда именно? - уточнил князь и поморщился.

Хотелось наорать, а паче того перетянуть Первцова тросточкою по хребту, глядишь, и вправду ток кровяной усилится, прильет кровушка к мозгам и вернет способность мыслить ясно.

Жаль, что закон запрещает применять к чинам нижестоящим насилие.

Ничего... против ссылки закона нету.

Вот закончится это дело, и отправится Первцов на границу, годков на пару, пока опыта не наберется или не помудреет. Говорят, люди в обстоятельствах стесненных мудреют со страшною силой.

- Так... в Заложное крыло.

Димитрий осторожно кивнул. А может... конечно, Стрежницкий невиновен, тут и сомнений нет, но в Заложном крыле издревле держали узников высоких, а потому условия там были весьма себе приличные. Глядишь, и целее будет.

Правда, идти туда далеко, а придется.

- Не надо было? - тихо спросил Первцов.

- А тебя не смутило, что охрана спала? - Димитрий пролистал доклад.

Первцов пожал плечиками: мол, случается и с лучшими из нас.

- И как девица очутилась в его покоях посреди ночи?

- Ну... - Первцов потянул себя за локон. Локоны у него были отменными, крупными, аккуратными, уложенными один к другому, а главное, лысинку прикрывающими. - Может, того, преступной страсти предаться желала?

- Конкурсантка?

- Так... Стрежницкий же... ему все едино.

- Стрежницкий ныне если и способен предаться преступной страсти, то только к питию...

- Но она ж не знала! - возразил, осмелевши, Первцов. И локонами тряхнул. И платочек шейный, по новой моде крупным узлом завязанный, поправил. На платочке поблескивала булавка с птицею.

Парная ей брошь украшала карман.

И выглядел Первцов, надобно сказать, препрезентабельно.

А может, он?

Он ведь небогат, сколь Димитрий помнил. Рода среднего, но честолюбив, хотя и умом особым не отягощен. А честолюбие без ума опасно...

Если бы предложили...

- Влюбилась. Решила к возлюбленному пробраться, удивить его...

И главное, чушь эту несет с серьезным видом. Только реснички хлопают, длинные да завитые. Прежде-то Первцов куда как попроще был.

Нет, предать прямо не осмелился бы, характер не тот, а вот принять подношение за малую толику информации... И ведь, ирод такой, он даже не поймет, что важно, а что так...

- А он не признал и застрелил.

С другой стороны...

- Хорошо, - вздохнул князь Навойский, тросточку сжимая. - А Стрежницкий что говорит?

Первцов слегка замялся:

- Да чепуху всякую... кто ж ему, убийце, поверит?

Действительно... и надобно все-таки подвинуть этого красавца безмозглого. Может, прямо теперь услатить или...

- Послушай, - Дмитрий положил руку на пиджачишко канареечного яркого колеру. - Есть к тебе важное дело, государственное. Справишься, чином не обижу. Видишь, творится неладное вокруг? Надобно, чтобы ты к девицам присмотрелся, кто из них о чем говорит, кто из них короны желает. Понимаешь? А заодно чтоб им вреда не причинили.

Первцов торжественно кивнул.

Глядишь, и приберет к рукам кто этакого добра молодца. А если и нет, все одно - хоть под ногами крутиться не будет.

Дмитрий прижал ладонь к голове. Ноет. И главное, зараза, отлежаться не выйдет, потому как...

Оно не ждет.

Глава 3

- Чуяла, Марья? - Малжата Ивановна была женщиной солидной, как и полагалось быть почтеннейшей купчихе, дочери купца и матери семерых детей, которых она, к слову, успела пристроить к жизни, и ранняя гибель супруга в том не помешала. Ныне Малжата Ивановна, притомившись от дел насущных, кои вела твердою рученькой, к печали старших сыновей (они сами не отказались бы поуправлять торговлей), изволила пить кофий.

Устроилась она в гостиной, как водится у особ благородных.

За столиком.

И что с того, что столик был поболее тех, которые ей норовили всучить - ломбер, туалет. На этот туалет небось и чашку нормальную не примостыкалишь, а ведь кроме чашки самовар есть, и чайник с бабой плюшевою, и молочник, и масленка с фарфоровою затейливой крышкой. Слянки с вареньями, медом липовым опять же - поди-ка, догадайся наперед, чего душеньке восхочется.

- Пей ужо, - велела Малжата Ивановна компаньонке, которую держала, как сама верила, исключительно из жалости и еще приличиев ради. - И чего там выходит?

А еще компаньонка, будучи из девиц тех самых, благородного рождения, но нищеты изрядной, к своим сорока трем годам сжившаяся и с ролью подчиненной, и с характером Малжаты Ивановны, раскидывала карточные листы. Не сказать, чтобы совсем уж будущее прозревала, но забавно было.

И ныне вот чашку отставила, потянулась к замасленной колоде. Белые пальчики ловко перебирали листы.

Малжата Ивановна шею потянула, силясь разглядеть, чего ж там такого выпадет. И поневоле поморщилась: слухи по городу ходили самые разные, и все до одного толку нехорошего. И на фабриках появились людишки престранные, стали народец баламутить. Оно-то и хорошо, что пивовары Малжатины из опытных, понимающих, живо скрутили говорунов да городovým передали. А ведь есть и те, кто помоложе, кому голову задурить легко.

Малжата Смуту помнила, как не помнить. И голод после. И...

На стол легла черная карта, пустая. Под нею - висельникова, правда, перевернутая, стало быть, не такая уж страшная.

Надобно будет младшенького отослать, он давно за границу просился на учебу, вот пушай себе и едет. Стасичек с даром уродился, глядишь, маги своих и не дадут бить, помнят, чем оно обернулось.

Девушка в розовом платьюшке вида пренесерьезного. И подле нее рыцарь с мечом преогромным...

- Будущее не предопределено, - низким голосом возвестила компаньонка.

А может, ее замуж выдать? Хорошая ж баба, особенно когда перестает нос драть. Сперва-то и держалась так, будто бы она туточки хозяйка, а после ничего, пообвыклась, гонору поутратила. Вон Ваньшин с заводу давненько на нее заглядывается, мужик крепкий, вдовый.

- Стоит в центре дева с мыслями злыми...

И вправду легла под картой другая, змеиная, и вновь всколыхнулось: бают, что царица-матушка ихнего племени. Так ли оно, Малжата не ведала, только, мыслится, если б у царицы, как треплют, под юбками хвост змеиный был, то как бы она царевича выродила? Да и другое то дело, до которого мужики охочие, небось навряд ли заладилась бы.

- Однако стерегут ее воины...

Пошла языком плести, вона и взгляд затуманился.

Малжата взяла плюшку и прикусила. Сказывали, что давече над Арсинором небо красным-красно сделалось, будто кровью на него плеснули. Недобрая примета. Аккурат перед Смутуою самое такое случилось. Нехорошо...

Надо будет денег часть перевести в бриттский банк. Конечно, еще те мошенники, но...

И Аленке велеть, чтоб на воды отправлялась с детьми вместе, небось там оно спокойней будет.

- И будет всем кровь и разорение, - выдохнула компаньонка, листы сгребая, а второю рученькой потянулась к блюду с эклерами, цапнула один - и в рот. Стало быть, пока крови с разорением не приключилось. Жует и кривится, то ли несвежие подсунули, то ли пересластили, что частенько

бывало.

Кровь, значит. С разорением.

- А еще, - с набитым ртом компаньонка разговаривала редко, - еще баба одна... сказывают, кроликов рожать стала. По пятерых за раз!

Вот уж диво дивное...

Честный мастеровой Июлька, сидя на чурбаке, жевал тюрю и слухал, что пришлый баит. Баил, следовало сказать, красиво, прям слово за слово... Вон и молодые посели, ажно рты пооткрывали.

- А они за ваш счет веселятся! - пришлый взобрался на колоду, картузик с головы содрал, прижал к животу впалому. Рученькой ишь помахивает, сам на месте подпрыгивает, и оттого кажется, что того и гляди вовсе из шкуры своей выскочит. - Вот что вы видите? Только тяжкий груд, без продыху, без отдыху! Без права остановиться! Ваши семьи ютятся в темных углах! Ваши дети не видят света!

Июлька фыркнул и ложку облизал.

Следовало бы кликнуть старшого, чтоб гнал этого голосистого в шею, пока не донесли о речах крамольных жандармам. Они-то небось не станут разбираться, кто слухал, а кто так, рядышком сидел. Да шевелиться было лень.

Припекало летнее солнышко.

И так хорошо было, так спокойно. Еще б говоруна заткнуть, глядишь, и вовсе на душе посветлело бы. Но Июлька распрекрасно помнил Смуту и худой домишко, в котором ютились они всемером, да еще баткина сестра с детьми. Мужа ее не то посекли, не то повесили, хату сожгли...

Голодно было.

А зимою и холодно. Еще страшно, потому как сперва малышня померла, слабенькие были, хотя мамка на зиму и крапивы засушила, и сняти, и толкла кору, из которой после варила кашу, мешая с тертыми грибами. От этой каши живот становился тяжелым, ныл подолгу, зато голод отступал.

Да, малые померли.

Июлька думал, что тоже помрет. Ан нет, выжил и даже устроился неплохо. Домик у него свой, и хозяйка при нем имеется. Коровенок двух завела и про третью говорит, мол, в Арсинор молоко только ленивый не возит. А у нее и творог, и сыры клинковые соленые, и иные какие. Она, сирота сама, работы не боится.

Да и он рукастый.

И выходит-то неплохо. Платят, как и сговорились, честно, без обману, да порой и сверх того, когда надобно, чтоб работали быстрее. Так что будет и дочерям на приданое, и среднему на обзаведение. И не надобна Июльке Смута с ее огнями, небось тогда-то тоже говорили, что все, мол, едино для народа, а что вышло? Чудом выжили.

- И алое небо - предвестник великих перемен! - возвестил плюгавенький мальчонка, а после охнул, когда на макушку его опустился Михалычев кулак.

- Не зашиби, - с неудовольствием произнес Июлька, а то ж Михалыч, он человек большого тела, да и силы немереной. Вона в прошлом годе быка на спор повалил, тот, правда, поднялся после, но так то бык. В этом же оглашенном и четверти бычьей не будет.

- Не зашибу, - прогудел Михалыч, поднимая несчастного за шкуру.

Не то чтобы жалко его было, просто после обвинят в душегубстве, а у Михалыча детки маленькие. Куда ему на каторгу?

- Пойду кликну кого, - Июлька сунул ложку в сапог. Красное небо... ишь, удумали... это все от безделья, потому как человеку работающему на небеса заглядываться некогда.

В таверне «Кривое перо» по времени раннему людей обычно не случалось. Стояла она близ университета, а потому большею частью в нее заглядывали именно студенты. Они же по утрам кто спал, кто учебной маялся, а потому нынешнее сборище выглядело преподозрительно.

Хозяин, человек почтеннейший, в самом университете не один десяток лет отработавший, а потому распрекрасно знавший: коль что идет не по обыкновению, стало быть, чудить вздумали. Он покачал седою головой и, вытащивши из-под стола банку с франкским грибом, принялся протирать ее тряпочкой. Гриб, следовало сказать, за прошедший год разросся, сделался толстым, коричневым. С виду он напоминал блин, и многие сходились, что сам по себе вид этот был преотвратителен. Но вот напиток...

- А я вам говорю, что второго такого шанса не будет! - этого горлопана почтенный Минишек знал.

Свяжинский. Пятый курс.

Род старый, но не сказать что вовсе древний. Да и обеднели изрядно, Смута крепко их проредила, правда, ныне у Свяжинского трое братьев старших, стало быть, семейного наследства ему ждать нечего, в лучшем случае рублей тысячу отжалеют, и все.

- Мы должны всем показать, что с нами следует считаться! - он кулак стиснул и потряс над головой.

Огневик.

Силы много, а вот с умом сложнее. Натура прет, а сдерживать ее не привык. Все ж зря в университете розги отменили, с розгами сложную студенческую натуру понять было куда как проще.

Хозяин баночку повернул и второй бок тряпочкой оглаживать принялся.

Рядом Торский, паренек неплохой, но больно податливый, как к Свяжинскому прилип, так и держится. У самого голова светлая, но вот дружка своего во всем слушается, едва ль не в рот ему заглядывает. А все почему? Думает, что раз Свяжинские при титулах, то и ведают больше?

А вот Гормовой как в эту компанию развеселую попал?

Книжник.

И будущее ему прочат славное, хотя книжники от мира далеки, что в головах их творится, поди-ка догадайся. Взбредет этакому недорослю мир в лучшую сторону менять, так не остановишь.

Хозяин вздохнул.

Надо будет навестить старого приятеля, узнать, что ж этакого в родном-то заведении творится, что смутьяны всякое стеснение потеряли. Они б еще на площадь пошли бы советоваться. Хотя...

Вон, Гормовский знаки отвращающие чертит, полог ставит, дурачок. Против кого другого, может, полог и помог бы... хотя...

Трактирщик банку на место вернул, сыпанул изюму, до которого гриб великим охотником был, да и активировал записывающий кристалл. Сам же вышел. Чего молодым мешать?

Нехай себе говорят...

И он поговорит, после... Надобно программы уплотнять, а то ишь, свободное время на дурь всякую появилось. И развести этих молодчиков, на границу отправить, пушай повоюют, поглядят, какова она на вид, кровь человеческая. А то языками за благо мира все трепаться горазды.

- Подай, хозяйюшка, подай, добрая, - нищий завывал слезливо, но без души, и потому останавливались перед ним редко, а деньгу бросали и того реже.

Он вздохнул и поскреб задницу.

Чесалось.

Ишь, по жару и вши разгулялись, совсем моченьки не стало, а все почему? Потому как порядок исчез, который заведен был, теперь бани-то не допросишься, будто он, раз на улице живет, не человек вовсе. Небось при Басурмане баню каждую неделю топили. И всех мыться заставлял, кроме только золотушным и то потому, как Вихарка-лекарек на Писании поклялся, что им того невозможно, что помрут.

А теперь чего?

Не стало батюшки, не стало доброго, и враз разругались. Кот Самушнику, который заявил, будто

это он самолично от Басурмана избавился, кровь пустил. А после уже и Кота прирезали, двух деньков не прошло, и теперича Джума Казак за главного стал.

Силен он, этого не отнять.

Да только в одной ли силе дело. Вона, первыми коты поразбежались, почуяли, что не сладит с ими Джума, побрезгует гоняться. Может, если кого и споймает, то вздернет, но их еще поди споймай. Шлюхи плачутся, что клиентов нет, денег не носят.

Ворье мелкое разбежалось.

Кто крупней, солидней, те еще платят, да втрое меньше того, что при Басурмане шло. Джума все одно довольный. Нищих вот погнал, вроде как с них прибыток невелик, а вони презрительно.

Зато появились людишки чужие, магик этот, который на всех свысока смотрит, а Джума думает, будто бы он магиком командует. Идиот. Нет, уходить надобно, забирать накопленное и куда... может, к морю податься? Оно, конечно, чужаков нигде не любят, но проставиться обчеству честному у него будет, а там, глядишь, Боженька сиротинушке не позволит пропасть...

- Слышь, - рядом плюхнулся Игнатка, паренек ловкий, справный, да бестолковый. Ему б со своими быть, перенимать умение, а он к ворам тянется, не понимает, что дело это, может, префартовое, однако и опасное. Нищего что? Выдерут. В острог упекут. И отпустят.

А вот вора, коли поймают, прямехонько на каторгу, там уже и клеймо получишь, и от него вовек не избавишься.

- Мне вот чего дали, - Игнатка вытянул из-под полы кипу мятых листочков. - Сказали нашим разнести, чтоб они людям, значит...

Листочки были желтыми и некрасивыми.

А уж писано на них было...

- Выкинь, - нищий ловко приподнялся и, потянувшись, распрямил ногу. Ишь, затекать стала... Может, ему с безногости на падучую перейти? Хотя падучих народишко боится. Тогда за юродивого? А что, лицо чистенькое, надобно только попоститься, чтоб худоба пришла.

- Куда?

- Куда-нибудь...

Юродивый там или слепой... Слепой - тоже неплохо, особенно коль ослеп, отечеству служба, но главное, что не в Арсиноре. Теперь понятно, за что Басурмана убрали. Он бы с таким дерьмом связываться не стал и другим не позволил.

- Дурак ты, - Игнатка носом шмыгнул, соплю подбирая. - Так и будешь до смерти самой туточки сидеть...

Чем плохо-то? Тепло и мухи не больно кусают, хотя нынешним днем они, надобно признать, свирепые вышли.

- А я вот в люди выбьюсь...

- В петлю ты выбьешься, - нищий покачал головой, уже понимая, что ничего-то он не переменит. Да и надо ли? Коль охота Игнатке зверя коронного за хвост тягать, то и пускай себе. Не понимает, дурья башка, чем подобные игрища чреватые. И видать, прочел Игнатка что-то этакое, понял, если головой косматою тряхнул, оскалился и зашептал быстро так, захлебываясь словами:

- Вот увидишь, скоро все переменится... вона, на этое... именитства велено, чтоб шли на площадь. Бочки небось выкатят. А в тех бочках...

Нищий попритих, только и Игнатка понял, что лишнего сболтнул.

- Весело будет... - сказал он, листочки раскидывая. И ветер поднял, закружил, понес по-над рыночную площадью. - Только не всем... Полыхнет Арсинор, что небо давеча.

И нищий знал, кто будет гореть в том костре.

Только... не маленький уже Игнатка, а он... у него своя дорога, небось велика империя, хватает в ней жалостливого люда. Правда, сперва надо будет словечко шепнуть одному человеку, который, глядишь, и поблагодарит, если не рублем, то подорожной.

Подорожная даже нужнее.

Глава 4

- Стало быть, тезоименитство? - Лешек почесал подбородок, на котором пробилась золотистая щетинка. - Хотя, конечно, он любит пафосность, а более пафосного мероприятия и придумать сложно. Может, отменить?

- А предлог? - Дмитрий перебирал бумаги.

Докладные. Доносы именные и безымянные, порой писанные душевно, но большею частью пустые.

- Батюшка заболел, - Лешек снова почесал подбородок. - Можно объявить, что вместо праздника будут молебны, и все такое...

- Значит, беспорядки устроят в церквах. А их в отличие от площади несколько сотен...

- Думаешь...

- Кем бы он ни был, сродственничек твой...

- Не уверен, что родственник.

- Неважно, он слишком долго ждал, готовился, чтобы вот просто так взять и отступить. И да, на площади будут беспорядки... что бы мы ни делали, они будут.

- А что мы, к слову, делаем? - Лешек сел на стол и мотнул ногой. - Если, конечно, это не государственная тайна.

- Отчего же... делаем. Вот взять, скажем, вино... Стоит оно в Путейных подвалах, где и всегда. Правда, эти бочки придется убрать, и выкатят другие, но о том знать не стоит.

Лешек кивнул, принимая. Подумал. И сказал:

- Я на них погляжу.

- На которые?

- На все. Если будет отравка, я должен понять какая.

А отравка будет, не зря слухок новый появился, что царица-матушка, змеиной страсти полная, желает всех людей православных извести. И для того придумала план прехитрый, но какой - никто не знает. Слух был весьма конкретен и в то же время расплывчат. Агенты доносили, что на дорогах сталолюдно. И главное, не то чтобы паника, отнюдь, скорее город замер, ожидая. А вот чего ждал - поди-ка пойми.

- Магам отпуска даем... тем, что на границе. Там многие служат годами безвыездно.

- А отдыхать они будут тут? - догадался Лешек.

- А то...

- А граница?

- Молодежь приглядит. Небось на границе просто и понятно все.

- Справятся ли?

- А куда деваться? - Дмитрий пожал плечами. - С бунтом справились бы, стало быть, и за границей присмотрят. Но вообще там тоже спокойно. Так что, вероятнее всего, союзников у него нет, тех, которых стоило бы по-настоящему опасаться.

Лешек вновь кивнул, но как-то так, рассеянно.

- Войсковые учения вот проводим. Готовим порталных магов и армию действовать сообща... техника быстрой переброски...

И перебросят части к Арсинору, правда, в ночь перед празднеством и на дальние поля, на которых осенью ярмарки становятся. Ныне там тишь да грязь.

Глядишь, и хватит. Должно хватить.

- Без жертв не обойдемся, - Дмитрий встал. Это его и мучило. Хотелось выскочить из дворца и заорать: мол, не ходите, люди... спасайтесь... Только знал: не услышат, а коль и услышат, то...

паника никому не нужна. – Постараемся, но не обойдемся...

Патрули. Солдаты.

Маги... оцепление двойное. Менталисты, которых стянули отовсюду, откуда только можно, с одной задачей: не дать толпе сорваться. И они, одетые в штатское, будут гулять, будут сливаться с этой толпой, поднимать чарки и произносить здравицы.

Славься, империя.

Славься... сто лет, и двести, и всю тысячу...

Только не удержат, потому как тот, кто затеял игру, знает про всю эту мышиную возню, и не пугает она его, напротив...

Чего они не поняли? Чего не рассчитали?

– А из остального... В письмах покойной ничего нового. Там сплошные вздохи и стенания. Кровь на розе принадлежит девушке. В общем, тут снова пусто. С той, которую Стрежницкий подстрелил, тоже работаем.

Димитрий поморщился, потому как голова опять заныла.

– У меня такое чувство, что нас за нос водят.

– Идем, – Лешек протянул руку. – У нас есть еще время. И знаешь, мне давно казалось, что стоит побеседовать с отцом.

Милостью Божию его императорское величество Александр IV, самодержавный властитель всея Арсийской империи, а также земель Ближних и Дальних, островов Венейских и трех морей, пребывал в том меланхолично-мрачном настроении, которым травились пиявки.

Они, посаженные на высочайшее чело, дабы оттянуть дурную кровь, а с нею и мысли беспокойные, ибо именно в них, по разумению многих, и заключались болезни, наливались краснотой и отваливались. Целители качали головами, а франкский аптекарь, удостоенный высочайшей чести продемонстрировать тайное свое знание, цокал языком.

– Видеть? – он с восторгом поднимал очередную раздувшуюся пиявку и крутился на пяточках, дабы все собравшиеся сполна смогли оценить ее страшный вид. – Вот она, болезнь! Внутря!

Пиявка отправлялась в банку.

Придворные охали. Вздыхали.

И переглядывались со значением: мол, недолго уже осталось царю, коль от крови его пиявки дохнут. А стало быть, пришло время не только подумать о будущем, но и сделать что-нибудь, дабы это самое будущее не упустить.

– Папенька! – цесаревич кинулся к постели, выбивши щипчики из рук аптекаря.

Те щелкнули, отправляя в полет очередную красную пиявку. Кто-то охнул. Кто-то взвизгнул.

– Не помирай, папенька! – цесаревич шмыгнул носом и кулачком его вытер. А писарчук, за его императорским высочеством к самой постели пробравшийся, платочек сунул.

– Не буду, – пообещал император, глаза прикрывая.

– И пиявок не губи, – цесаревич отколупал начавшую набухать пиявку и сунул ее в руки писарчука, а тот, не удержавши этакое подношение, выронил, к вящему неудовольствию аптекаря. – Все ж живые твари... жалко их...

– Сии твари есть зосдать Господь, дабы здоровить сильно! – воскликнул франк, пиявку подымая. Ее он отправил в банку к дохлым товаркам. – Они пить дурная кровь. И когда выпить весь, ваш отец жить!

– Совсем весь кровь? – уточнил Лешек, пытаясь скovyрнуть черную склизкую тварь, которая непонятным образом оказалась на собственной его ладони.

– Весь!

– Если весь кровь выпить, тогда что останется?

Пиявка не поддавалась, выказывая неестественную для своего вида прыть.

Придворные зашептались, то ли обсуждая новую для себя мысль, то ли Лешека, то ли аптекаря, который на цесаревича взирал с немалою укоризной.

- Не, - Лешек пиявку таки ухватил. - Нельзя, чтобы вся кровь пиявкам...

Он вручил ее несчастную аптекарю, и та, ловко крутанувшись, плюхнулась на белое запястье последнего, приняла жадно. Небось не кормили для пушого эффекту.

Император же застонал.

И Лешек, взявши батюшку за руку, завопил:

- Папенька, не помирайте пока! У меня именины!

И надо полагать, сия фраза вскорости разлетится по двору, а то и не одна, этак к вечеру будут пересказывать речь, которую цесаревич изволил произнести над бранным телом батюшки. Впрочем, чем бы они ни тешились, абы в заговоры не влезали...

- Подите все прочь, - его императорское величество приподнялся на подушках. - Думать буду... о делах... государственных...

Лицо его было красно и раздуто. Бородка всклочена, а серьга в ухе поблескивала как-то слишком уж ярко, будто маслом ее натерли.

Но главное, послушаться батюшку не посмели, и вскорости приемный кабинет его опустел, осталась лишь банка с пиявками, которые из этой банки норовили выползти.

- Гадость какая, - пробормотал Лешек, банку двумя пальчиками поднимая. Он перенес ее на слегка запывлившийся столик и водрузил поверх бумаг. Кажется, кто-то что-то там просил, то ли титулов, то ли земель, то ли еще каких неотложных милостей.

- Не скажи, - его императорское величество потер шею. - Ишь, взопрел...

Он стянул через голову рубаху, которой и обтерся.

- Вот никогда не любил этой заразы... - Александр поскреб плечо, на котором расцвела красная сыпь. - Зато вышло, по-моему, убедительно...

- А это...

- Матушка твоя расстаралась. Сказала, полезно будет кровь почистить.

- Ага... от этой чистоты вон и пиявки дохнут, - проворчал Лешек, но больше для порядку, поскольку матушка точно не навредит, да и он сам не чувствовал отравы.

Его императорское величество устроился в кресле, плеснул себе компоту, яблочного с клюквой, до которого весьма охоч был, пусть и являлся сей компот питием обыкновенным, лишенным всякого изящества, и велел:

- Говори уже...

Лешек ущипнул себя за ухо и вздохнул, ибо разговор предстоял непростой:

- Папенька... Я вот как-то никогда и не спрашивал особо, как получилось, что ты, гм, как бы это выразиться, в императоры вышел... Но теперь... Ты же читал Митькины доклады?

Читал, тут и думать нечего.

Его императорское величество мог притворяться болезным, однако чтобы вот так взять и на самом деле пустить дела самотеком, тем паче такие, которые большою кровью грозятся, невозможно это. А значит, слышал.

И думал. И додумался наверняка до того, до чего и Лешек.

Вон отвечать не спешит, крутит в пальцах кубок резной, губу покусывает, думает, стало быть.

- Родственничек, значит... - произнес император презадумчиво. - А сходи-ка в кабинету, там альбом стоит... знаешь где.

Лешек знал.

Альбом, обтянутый черною кожей, украшенный тиснением, стоял на обычном своем месте. В руки он дался, но упреждающе кольнул иглою силы, мол, не шали. Весил альбом изрядно и толщины был немалой.

Батюшка, впрочем, принял его с легкостью.

Провел ладонью по гладкой коже, коснулся кованых уголков, откинул застежку и велел:

- Садись...

Первый снимок Лешеку был знаком. Он стоял на батюшкином столе промеж прочих, выделяясь из них какой-то особой невзрачностью.

- Папенька мой. И матушка. - Снимок был темным, почти выцветшим, и потому лица и покойного императора, и супруги его казались размытыми. - Тогда только-только начали дагеротипические карточки делать, но получалось худо. Помнится, батюшка сказывал, что они час позировали. Хотя если живописцам, то порой и поболее выходило.

Темные пальцы погладили изображение.

- Я копию заказал, уже когда магики научились создавать. Оригинал сгинул. Папеньку моего Господь щедро наградил детьми... Мой старший брат Николай.

На снимке был пухлый мальчонка в матросской рубашке, который ничем-то не напоминал императора. Впрочем, вот и другой, с которого на Лешека взирает надменный юноша в гусарском доломане. Он хорош собой и знает это.

- Его растили наследником, что, впрочем, не смогло изменить характера. Николаша был мягким человеком, доверчивым и полагающим, что Господь всегда заступится за невиновных.

Не заступился.

- Впрочем, иногда он становился удивительно упрям. Как правило, в крайне неподходящие для того моменты... - батюшка усмехнулся. - Алиса... Они встретились случайно, и с первой же этой встречи ощутили изрядное родство душ. Хотя, помнится, родители не слишком обрадовались.

Прошлое открывалось.

Великая императрица была полновата, строга с виду и... неприятна? Пожалуй. Этой вот строгостью, а еще манерой своею поджимать губы, будто бы заранее не одобряла она все, чему становилась свидетельницей.

- Он изводил матушку просьбами. Да и не только он. Алиса... я не скажу, что она была дурной партией. Ее родство с бриттской королевой давало надежду, что мы разрешим некоторые конфликты в южных морях. Нас влекли колонии, а еще многие полагали, что этот брак объединит две державы. Впрочем, наши целители предупреждали, что в роду юной принцессы имелись неприятные случаи... нездоровья. И родители склонны были ему верить. Они до последнего выступали против этого брака, но Николай, повторюсь, умел проявлять упрямство.

И женился-таки на своей Аликс.

Правда, брак этот не принес ожидаемых предпочтений.

- Я не знаю, была она плохой императрицей или хорошей. С матушкой они не больно ладили, но матушка моя имела довольно властную натуру, она не могла терпеть, когда кто-то перечил ей. Аликс же обладала неуступчивым характером. Она все делала по-своему. И за это ее невзлюбили.

Настолько, что нелюбовь эта выплеснулась в революцию? И сейчас история повторяется? Или же ее повторяют.

- Она родила моему брату пять дочерей и сына. К сожалению, мальчик изначально был нездоров, как того и опасались. Я знаю, что Затокин не единожды навлекал на себя гнев моего брата, когда осмеливался откровенно говорить, что мальчик не доживет до восемнадцати, а если и так, то здорового потомства он не оставит. Мой несчастный племянник был милым ребенком...

Нынешний снимок качества лучшего, и Лешек разглядывает худого мальчонку, окруженного сестрами. Белые платья их лишь подчеркивают болезненную бледность наследника. И глядит он прямо, серьезно, будто желая что-то сказать.

- При нем неотлучно находились целители, однако с возрастом сил требовалось больше, а травы, сгущающие кровь, не помогали. Затокин настаивал, чтобы наследником объявили кого-то иного. Он говорил, что мальчику нужны покой и тишина, что не стоит его мучить, но нужно лишь дать

возможность прожить отведенный Господом срок достойно. Как понимаешь, мой брат не готов был принять это. И дважды отсылал Затокина, впрочем, возвращал вновь, поскольку Одовецкая не желала оставаться при дворе, а иных целителей подобного уровня не было...

Одовецкая? Та самая?

И отец кивает:

- Они всегда стояли на страже нашего здоровья. К слову, Затокин был ее мужем, но брак их закончился разводом. Помнится, в свое время изрядный скандал вышел, когда суд отказался отдать ей ребенка... - Отец замолчал и тряхнул головой. - Не все наши законы справедливы. С другой стороны, каким бы дрянным человеком Затокин ни был, даром Господь его не обделил, равно как и умением и честолюбием. Мы с братом по-разному относились к этому человеку, а поскольку императором был Николай, то... Затокин служил при дворе, заведовал лечебницей, которую основала Аликс, и вел исследования...

- Какие?

Снимка почтеннейшего целителя, который предпочел умереть, но не оставить подопечного, в альбоме не было, и Лешек дал себе зарок, что всенепременно поинтересуется у княгини.

- Да не буду врать, точно не знаю - меня в те годы здесь не было. То ли мор, то ли еще какая-то зараза... Хотел найти способ остановить ее. Знаешь, как бритты от оспы спасаются? Вот что-то в этом духе. К сожалению, уцелели лишь обрывки...

Мор? Интересно...

- Когда моего несчастного брата привели к отречению, он не пожелал все же покинуть страну, хотя возможность такая была. Он полагал, что трон перейдет к Алексею, при котором назначат регента, возможно Мишку, которому доверял всецело...

Однако вышло иначе.

- Я знаю, ему предлагали бежать. А если он не желает, то вывезти хотя бы Аликс с девочками, но она пожелала остаться подле мужа, а девочки...

Пять царевен, старшей из которых уже подыскивали супруга, а младшая только-только выросла из детских платьев.

- Никто не верил, что их действительно убьют. Николашу - возможно, но он мужчина, он знал, чем чреваты подобные ошибки, однако чтобы всех... Я их нашел, Лешек, всех нашел, кто был в том доме, кто...

Отец замолчал и потер шею, которую обвивала темная вязь наколки.

- Мог кто-нибудь выжить? - тихо спросил Лешек.

А отец, подумав, ответил:

- Не знаю... впрочем... - он прикрыл глаза, а ладонью накрыл снимок, будто желая спрятаться от мертвецов. - Когда я лишь принял корону, мне писали время от времени люди, клялись, что они помогли бежать. Появлялись даже девушки. Одна выдавала себя за Настеньку, другую пытались выставить Татьяной...

- И?

- Кровь не так уж сложно проверить. Особенно нашу кровь, - его императорское величество покачал головой. - Те люди были не слишком умны. Однако я не исключаю саму возможность. Но даже если представить, что кому-то из них удалось спастись...

Кому?

Не наследнику, который нуждался в постоянной опеке целителей. Он бы не ушел далеко, и это понимали прекрасно. Тогда...

Ольга? Татьяна? Хохотушка Машенька? Или Анастасия?

Почему одна? И куда она подевалась? Ладно Смута, которая заставляла прятаться, но потом, после? Стоило бы объявиться и... Подтвердить кровное родство несложно, и великой княжне нашлось бы место в Арсиноре, достойное ее происхождения.

Почему же?.. Не поверила? Испугалась, что, не желая делиться властью, отец избавится от

племянницы? Или...

- Георгий... - отец перевернул тяжелый лист. - Он всегда был самым ярким из нас.

Смуглый и темноглазый, выглядевший немного иным, не похожим на прочих царевичей, Георгий смотрел строго, и вместе с тем строгость эта казалась притворством.

- Из него получился бы куда как лучший император, нежели из Николая, и даже Николаша признавал это, но ему было пятнадцать, когда Жора заболел. Никто сразу не понял, даже Затокин. Просто кашель, просто простуда... Оказалось - чахотка.

Отец поглаживал снимок.

А Лешек смотрел.

- Сперва ее удавалось сдерживать, даже появилась надежда, что еще немного, и она вовсе отступит. Порой у целителей получалось, однако здесь все пошло иначе. Она вернулась, и у него стали гнить кости. Мы только и могли, что избавить его от боли. Гоше пришлось покинуть Арсинор. Он жил у моря и, сказывали, в последние годы много пил, ко всему мешая выпивку с морфием. Не мне судить. Эту чахотку магия почти не брала. Одовецкая была при нем в последние годы, но и ее умения не хватило. Мой брат умер еще до Смуты. Однажды просто захлебнулся собственной кровью.

- Дети?

- Болезнь сделала его... неспособным к зачатию.

Еще лист. И снимок.

Трое братьев, похожих и в то же время разных. А рядом - еще один, на сей раз вполне знакомый.

- Мишенька... Пожалуй, и из него вышел бы лучший император, нежели из Николая. В этом и парадокс, Николай был самым... непригодным, но являлся наследником. Мишенька до последнего держался подле брата. Я знаю, ему не раз и не два предлагали корону, его готовы были поддержать многие, да и супруга его не прочь была бы, знаю, стать императрицей.

Отец отвлекся, чтобы перевернуть страницу.

Женщина была узколица, узколоба и откровенно некрасива, впрочем, что-то в неправильных чертах ее лица все же притягивало взгляд.

- Неприятнейшая особа, к слову. Вышла замуж за Мишеньку, еще не получив развода с первым своим супругом. Скандал с трудом удалось замять. Она никогда не скрывала, что желает власти. Но людям, как ни странно, нравилась. Ее салон быстро стал знаменит. Пожалуй, она была полной противоположностью Аликс. Яркая. Успешная. Эксцентричная. Она позволяла себе посмеиваться над Аликс. И не стеснялась распускать сплетни, что, впрочем, сложно доказать, но Николаша писал, что едва не разругался с Мишкой из-за этой... Аликс, как понимаешь, вовсе не горела желанием принимать Наталью Сергеевну, тем паче вводить ее в ближний круг. А влюбленный Мишенька не понимал, отчего его дорогую Натали игнорируют. Одно радует, детей у них не было. Когда все произошло, Мишеньку сослали в Пермь. А он, вместо того чтобы заявить о правах на престол, отправился туда... могилы до сих пор не нашли.

Женщина смотрела с вызовом. И...

- А она?

- Она? - отец задумался, и крепко. И вскоре вынужден был признать: - Убили Мишеньку и его секретаря. Брасова исчезла... честно говоря, думаю, ее тоже убили. Не тот у нее характер, чтобы держаться в стороне.

- Как ты сказал?

- Брасова. По первому супругу... Она сама из простых, но замуж вышла удачно. Оба раза. А еще она была достаточно умна, чтобы понимать, что ее здесь не любят. Пожалуй, у Мишеньки, будь он порешительней, имелись неплохие шансы. Но он полагал, что верность превыше всего. И пусть брат отрекся, но оставался Алексей, которого можно было бы короновать, а раз так, то собственные права свои Мишенька полагал недостаточными. Его убили прежде Николая, верно опасаясь, что, как только известие о расстреле дойдет до Мишеньки, он не станет более притворяться покорным.

Еще снимок. Вновь старый и смутный...

- Мой дядя, кузены, великая княжна - она была в немалых летах и нравом отличалась на редкость неуступчивым. У них у всех был шанс уехать, но никто и не думал, что все так повернется. Смуту

полагали временной. Как же, война, которая тянулась столько лет, народ устал, вот и бунтует, но на всяких бунтовщиков войска сыщутся, и надо лишь погодить.

Пожилая женщина, чьи черты лица кажутся смутно знакомыми. И мужчина в старого кроя платье, рядом с ним – мальчик. И снова мужчина, но другой.

Незнакомые чужие люди, которые могли бы быть родней.

- Их убили в Алапаевске, якобы неизвестная банда. Охрану расстреляли, а их увезли. После смутьяны объявили о побеге...

И снова снимки.

- Арсинор... расстреляли прилюдно, о чем и написали в газетах...

И еще один.

Кровь, кровь и снова кровь... Их вырезали, всех тех, кто был связан друг с другом незримыми узами родственной силы. Вырезали, не понимая, что пролитая кровь взывает к отмщению, а сила пробуждается, готовая выплеснуться.

И выплеснулась. Пролетела по людям, изменяя их, побуждая лить еще больше крови.

Лешек закрыл глаза и велел себе успокоиться. Тот, кого он ищет, где-то здесь, он сокрыт за снимками.

- У них детей быть не могло, во всяком случае, известных и признанных... - отец закрыл альбом и провел руками по лицу. - Мне повезло. Я не знаю, что делал бы, если бы остался здесь. Но я уродился на редкость слабым, больным, и никто из целителей не давал мне и года жизни... кроме Одовецкой.

- Той самой?

- Княгиня у нас одна, Лешек. Как тебе ее внучка?

- Пугает.

- Чем?

- Меня целители вообще пугают, - признался Лешек. - Есть в них что-то этакое... жуткое до невозможности. Вот, бывало, глядят, и думаешь, то ли они лечить тебя хотят, то ли вскрывать...

- Твоя правда. Значит, не глянулась.

Лешек вздохнул.

Молодая Одовецкая пахла морской солью и еще сталью, а железо... оно было в камне, но все одно было чуждым камню.

- Она тогда не была столь известна. Разве что скандальным разводом, после которого от нее отеклась собственная семья. Кажется, некоторое время она жила при монастыре, а после уж ее пригласили и на меня глянуть. Мне повезло...

Отец замолчал, впрочем, ненадолго.

- С позволения матушки Одовецкая увезла меня к морю. И не знаю, что она сделала... знаю, стоило это ей немало, потому как не бывает бесплатных чудес, но я выжил. И прожил этот клятый год, а потом еще один и еще... до пятнадцати лет я жил, как будто каждый день мой был последним. И сам понимаешь, что хотя матушка меня и навещала, но никто, даже она, всерьез не рассчитывал, что я не только выживу, но и когда-нибудь примерю корону. Да, меня учили. Грамоте и счету, языкам немного и прочей малости, без которой и вовсе не возможно обойтись. А в остальном я был представлен сам себе. И не скажу, чтобы сие меня сильно расстраивало.

Глава 5

Он помнил берег моря. Песчаную косу, которая вытянулась, раскинулась, подставляя белесый бок ветрам. Помнил само море, когда синее, когда сизое, порой спокойное, ластящееся. Бывало, подобрется к самым ногам, лизнет кожу и отступит играючи, маня за собой. А после брызнет соленой искрой и покатится, покатится, слизывая и песок, и ветки.

Море приносило дары.

Пустые раковины, куски досок и однажды даже бутылку, про которую цесаревич Александр сочинил целую историю. В ней было место пиратам, сокровищам и храброму юнге...

О море он читал.

И слушал напевы его, часы проводя на берегу. И никто из челяди, которой полон был маленький их домик, не пытался помешать цесаревичу. Разве что Одовецкая имела обыкновение выходить с книгой. Она садилась в плетеное кресло, поправляла шляпку, открывала книгу и делала вид, будто читает.

- О чем ты думаешь? - спросила она как-то, когда читать надоело. А может, дело было не в книге, но в письме, заставившем Одовецкую морщиться, будто бы у нее болело что-то. Письмо цесаревич видел, и то, как Одовецкая его читала... И гримаса ее ему не понравилась.

- О море. Что за его краем? - цесаревич бросил камушек, и тот ушел в воду, вместо того чтобы прыгать.

- Смотри за каким краем.

Одовецкую он, мальчишка диковатый и, по мнению многих, чересчур уж разбалованный волей, пожалуй, любил. Она никогда не пыталась занудствовать, как его учителя. Не охала и не ахала, как престарелая кормилица, не говорила, что он мал еще и чего-то там не понимает.

К титулу, о котором, справедливости ради, вспоминали не так уж и часто, она тоже не взывала.

- Хочешь, я принесу тебе книгу?

- Хочу.

И на следующий день они читали вдвоем. Только Одовецкая в своем кресле, а Александр - сидя на земле. Книга была о дальних землях и людях удивительных, что на тех землях жили.

- Понравилась? - спросила княгиня, когда он закрыл книгу.

И цесаревич кивнул. А после добавил:

- Жаль, я никогда не увижу их...

- Почему?

- Потому что я болен и умру.

- Кто тебе сказал? - спросила она.

- Все говорят. Когда думают, что я не слышу. Я не глупый, я все понимаю. У меня большое сердце, и оно не излечится.

Она посмотрела внимательно, кивнула себе, собственным каким-то мыслям, и сказала так:

- Верно. Ты родился с больным сердцем. И живешь с ним. Бывает, что младенцы появляются на свет раньше положенного срока, и, само собой, это не может остаться вовсе без последствий. Однако младенцы растут. Наш организм способен на многое, нужно лишь дать ему время.

Тогда он мало что понял, а Одовецкая усмехнулась и продолжила:

- Вспомни... не так давно тебе тяжело было ходить. Ты быстро уставал. И эта привычка сидеть возникла потому, что, когда ты добирался до берега, на большее у тебя не оставалось сил. Ты садился, и мы отдыхали. Ты больше не устаешь, во всяком случае, не так сильно, но привычка осталась.

- И я... не умру?

Не то чтобы смерть пугала. Александр слабо представлял себе, что это такое, просто все вокруг

шептались, глядели с жалостью, и даже фон Гроттер, старый учитель арифметики, стоило сослаться на здоровье, смягчался, но...

- Когда-нибудь умрешь, - Одовецкая поднялась. - Однако надеюсь, что случится это еще не скоро. Я уже говорила твоей матушке, что в моем здесь присутствии особой нужды нет. Твое сердце работает нормально, возможно, физически ты слабее сверстников, выглядишь много моложе и росту невысокого...

Это звучало обидно.

- Но все это поправимо. Правильное питание и умеренная физическая активность помогут...

Он запомнил.

И начал бегать по утрам. К косе и обратно. Нянюшки всполошились, а учителя единым фронтом выступили против Одовецкой, требуя прекратить этакое безобразие. Но княгиня лишь усмехнулась:

- Не делайте ребенка более больным, чем он есть...

Потом был матушкин приезд. И отец, который разглядывал Александра с некоторым, как показалось, удивлением.

Возвращение в Арсинор, показавшийся сперва волшебным, а после душным...

Ваше императорское высочество, так не подобает... Нельзя. Невместно. Никак не возможно.

Сети запретов, уложений и правил, в которых Александр задышался. И боли, вернувшиеся вдруг. И Одовецкая, сделавшаяся мрачной.

- Вы уж решите, вам сын живым нужен или титулованным, - бросила она кому-то.

И море вернулось.

А с ним наставники, другие, более требовательные, но и... способные. И Александру понравилось учиться, однако о море он не забывал, и как только представилась возможность...

Ему не мешали.

То ли из опасений, что болезнь вернется, то ли просто привыкли, что он делает чего душа пожелает. Главное, что «Быстрый» с достоинством принял молодого офицера Александра Дышина.

Он увидел и край моря, и земли, и людей, эти земли населяющих. Он нырял в горячее море, касался теплого дна и каменных цветов, в которых прятались удивительные рыбы. Он плавал с акулами и заглядывался на касаток.

Чувствовал под ногами палубу китобоя. Выходил на сизые льды.

Море помнило. Хранило. И отпустило, когда пришло время.

- Я не сразу-то узнал, про Смуту-то... мы аккурат в Яшмовом заливе зимовали, ждали, когда по северу навигация откроется. Там-то тишина мертвая. После уж прошли проливом Ветров, выбрались по весне к Марсану. А тут новости... революция в Арсийской империи. Бунты. Низложение государя, - отец поднялся и, подойдя к окну, остановился подле него. Оперся могучими руками на подоконник, и показалось, что тот затрещит, прогнется, не выдержав весу монаршего. - Следом и о расстреле. Я поверить не мог долго, что оно так вышло, что Николаша допустил...

Его императорское величество стиснул кулак.

- Само собой, я велел собираться, благо были люди, знавшие, кто я. Да и бритты крепко перепугались. Одно дело - Смута, кого она обошла, а другое - революция, небось у них на островах тоже далеко не все довольны. Помогли перебраться через Капское море, пристать в Гармне... Там дальше уже проще. Связаться с нужными людьми, сложнее всего было убедить Вышнюту, что я и вправду нашей крови. Нет, он знал, что цесаревич Александр не помер, как многие говорили, но вот знать - одно, а знакомым быть - другое. Ничего, сговорились, а там уже...

Война.

Долгая и кровавая, захватившая весь и без того ослабленный край. Она прокатилась, пронеслась железным зверем, разоряя земли. И длилась, длилась, и не было ей ни конца ни края. Гуляла

казачья вольница, перекидываясь от законного императора к смутьянам и обратно. Пользуясь тем, что власть ныне у оружных, грабила и мучила.

Не дальше ушли разбойничьи ватаги.

Иные стянулись, объединили одичавших людей, движимых одним лишь желанием – убивать всех.

Ярились смутьяны, силой устанавливая власть свою.

Да и императорские войска отнюдь не всегда могли позволить себе такую щедрость, как милосердие.

– А потому я долго ждал. Я отправил людей раскопать могилу брата... Правда, – щека у императора дернулась, – они сожгли тела, а потому мало что уцелело. Я не буду лгать, что узнал... и да, верно, могло случиться чудо, и расстреляли не Николашу, но... кого тогда? И куда подевался он? Девочки? Нет, я ждал. Я искал. Я надеялся найти хоть кого-нибудь... Сам понимаешь, без наследников династия слаба, а искушение устроить новую смуту велико.

Лешек кивнул:

– Значит...

– Я не говорю, что невозможно... я все ж так и не решился задать вопрос Книге. Хотел, верно, но столько крови было пролито, что я просто-напросто не смог еще, собственными руками... Ждал. Платил магам. Искал. Но впустую. Сейчас вот думаю, что стоило поговорить с теми, кто был при цесаревнах. И говорить не мне. Сам понимаешь, я все ж не тот человек, с которым стали бы обсуждать дела сердечные.

– Сердечные? – Лешек нахмурился. Вот только дел сердечных стародавних ему для полного счастья не хватало.

– А сам подумай, если бы спаслись все, незамеченным оно бы не осталось. Да и пятерых удержать от глупостей куда как сложнее, нежели кого одного...

Лешек, подумавши, вынужден был признать правоту отца.

И вправду... с одним человеком сладить проще. И увезти куда, и укрыть, и после...

– Да и почему она не объявилась? Я, конечно, не был частым гостем при дворе, но девочки меня знали, не стали бы опасаться. Значит, дело не во мне... – Александр отступил от окна, развернулся, заложив руки за спину, и прошелся вдоль стены. На ней, отделанной темно-зеленой тканью, висели абордажные морские сабли, пара кистеней и даже шерстопер, которому скорее место было бы в оружейной, нежели в царевом приемном кабинете. – Дело в собственном ее нежелании. А отчего оно могло возникнуть? На что женщина поменяет и долг свой, и права, и саму свою жизнь? Только на любовь. Девочки... они были очень романтичными.

– И ты думаешь...

– Ольга, – император остановился напротив кирасы, начищенной до блеску. Поставленная на высокий постамент, она вполне сочеталась с батальным полотном. – Она никогда не скрывала желания выйти замуж по любви. Не раз и не два просила маменьку о свободе. Настенька была слишком юной, Татьяна – чересчур привязана к родителям. Машенька же была неотделима от дворцовой жизни. Балы, украшения... Она часами могла перебирать ткани, выискивая, что бы подошло для нового ее наряда. А вот службу в госпитале терпеть не могла, хотя и не перечила Аликс. Ольга же... она как раз прониклась идеями не то чтобы сразу равенства, все ж чересчур несколько. Скорее уж она держалась с простыми людьми просто. Она сумела бы выжить вне дворца. Вне двора, к тому же старшая. Пусть не все, но знала она многое.

А знания вполне могла передать сыну. Или дочери.

– Еще меня беспокоит Брасова. Все ж таки теперь я начинаю думать, что исчезновение ее вовсе не случайно. Могла ли она забеременеть от Мишеньки? До того у нее не получалось, несмотря на все старания, однако она отличалась завидным упорством. Была довольно умна. И полагаю, достаточно нагла, чтобы претендовать на трон, но притом осторожна. Она понимала, что если покажется, если даст заподозрить, то я не оставил бы ей дитя. Не с ее амбициями, не с ее характером.

– Ты...

Отец укоризненно покачал головой: мол, за кого ты родного батюшку принимаешь.

– Я бы позаботился, чтобы мой племянник ни в чем не знал нужды. Да видит Бог, я был бы премного рад, если бы он появился. Слишком мы слабы теперь, чтобы разбрасываться родной

кровью.

Вот только кровь эта, похоже, думает иначе.

- А знания? - Лешек перевернул страницу и уставился на женщину с некрасивым лицом. Что в ней было такого, что заставило цесаревича, второго после наследника претендента на трон, лишиться разума, связав себя узами брака с особой столь сомнительного происхождения, а достоинств и вовсе невеликих?

Умна?

По снимку не скажешь. Но будь и вправду умна, неужели бы стала дразнить императрицу? Или расчет был на то, что после отречения Николая трон предложат его брату? Возможно такое?

Вполне.

И тогда она с удовольствием помогла заговорщикам, только не рассчитала.

Но все же...

Крючковатый нос. Глаза близко посажены. Брови редкие и лоб узкий, пусть и высоким глядится. В бусинах глаз видится раздражение, а тонкие губы кривятся в подобии улыбки.

Менталист?

Но неужели кровь не защитила бы дядюшку? Или? Надобно все же наведаться в архивы, полистать родовые книги, посмотреть, кем была по крови эта женщина. А то, мнится, что-то многого Лешек не знает о старой крови и не менее старой силе.

- Знания... - батюшка постучал пальцем по щеке. - Тут-то, конечно, вопрос... Но видишь ли, Мишенька шел вторым за Николаем, и его тоже учили. На всякий случай. Это я был бестолочью и покойником, почитай, живым... Нет, Мишенька знал куда больше меня. А вот что он открыл ей, того не ведаю...

- А он мог?

- Почему бы нет? Она жена венчанная, хотя и... Маменька до последнего была против, потому и венчались они тайно, а это само по себе говорит о многом. Мишенька всегда был послушным сыном, но, поди ж ты, взбунтовался. И после разводиться отказался наотрез. Любил он ее крепко, а любовь слепа...

Еще глуха и хрома на обе ноги.

И вот на кой Лешеку этакое-то счастье?

Глава 6

Лизавета маялась.

Душа требовала немедля отправиться к князю, убедиться, что он если и не здоров всецело, то всяко здоровей вчерашнего, а вот разум подсказывал, что нужды в том нет. Небось его уже и целители окружили, и слуги, и... и какое право имеет она, девица весьма сомнительная, явно оказавшаяся при дворе по случайности, вопросы задавать.

Погонят еще.

Или, что хуже – гнали ее много откудова, этого Лизавета не боялась, – сам он глянет с прищуром да и поинтересуется преехидненько:

– А чего это вы, девица Гнёздина, в чужих покоях забыли? Не иначе как репутацию свою подпорченную.

Вот тут-то Лизавета и не выдержит.

Нет, топиться она не пойдет, благо местный пруд, преизящный в правильных своих формах, для утоплений годился мало, но вот страдать будет не чета прежнему.

У пруда Лизавета и остановилась, глядя в полупрозрачную воду его, в толще которой сновали упитанные рыбины. Были они яркими, серебристыми, золотистыми и вовсе алыми – вправду, маги тут хорошие работают – и двигались неторопливо, степенно, словно бы осознавая собственную исключительность.

– А, Лизок, – этот голос заставил вздрогнуть и ухватиться за зонтик.

Зонтики, к слову, всем выдали вместе с нарядами, и если те хоть как-то отличались, то зонтики были совершенно одинаковыми – изящными, кружевными и до жути неудобными.

– Страдаешь? – осведомился Освирцев, перебираясь через низенький кустик лапчатки. И ведь едва не поломал, медведь этакий. А главное, чего ему тут понадобилось?

– Нет.

– А говорят, страдаешь.

– Кто говорит, плюнь ему в рожу, – посоветовала Лизавета и зонтик сложила, взвесила в руке, принаравливаясь. А что, слабой женщине и зонт оружие. Не то чтобы она ожидала от Гришки какой пакости, хотя... вон глазки поблескивают, щеки разругались и разит от него. Как в таком виде Освирцева вовсе пустили? – Что ты здесь делаешь?

– Конкурс освещаю, – он отряхнул брюки, пиджачишко однобортный поправил. Шейный платок с крупной булавкой тронул. – Слыхала, что на балу победительницу и объявят?

– Нет.

– А еще цесаревич наш, дурачок блаженный, ей руку и сердце поднесет.

– На блюде?

– На каком блюде? – моргнул Гришка недоуменно.

– На серебряном, мыслю. Или на золотом. На медном как-то цесаревичу неместно сердце носить.

– Все-то ты шутишь, все-то скалишься, – он сделал шагок, а Лизавета зонт подняла, упреждая. И захихикал. – Шутница ты, Лизавета... Правда, мужчины на таких не женятся. Жена должна быть спокойною, тихой, незлобливой...

– Кому должна?

Вот что-то разговор этот совсем не клеился, и Лизавета поглядела по сторонам. Пусто. Ишь ты, загулялась она. А ведь почти все красавицы в парке остались. Правда, парк дворцовый таков, что в нем целый эскадрон красавиц растворится без остатку.

– Скажи, – Гришка облизнул мясистые губы, – а верно ли бают, что ты, Лизавета, покровителя нашла?

– Какого?

- Так откуда я знаю? Тайного. Иначе б ты в жизни до финалу не добралась. Небось девиц куда как посимпатичней отослали, а ты держишься... Так как оно?

- Отлично, - Лизавета взялась за зонт обеими руками. Так оно сподручней, если бить придется. Зонта, конечно, жаль, но себя куда как жальче. А этот ирод знай скалится и подступает, к воде тесня.

Рыбины в пруду засутились.

- А если я тебе скажу, что скоро твой покровитель без головы останется?

Пьян.

И не только пьян. Вон лицо бледное, а глаза темные, зрачки расплзлись, и кажется, Гришка плохо понимает, где он и что творит.

- Это почему же?

- А потому, что затевается... интересное... я чувю, Лизок...

Он руку выкинул, норовя Лизавету ухватить, но ныне, нетрезвый и не в своем уме пребывающий, был медлителен и неуклюж. Она с легкостью ускользнула и уже сама зашла за спину, ткнула зонтом.

- Чего творишь! - взвизгнул Гришка, едва на ногах удержавшись.

- Так что затевается-то? - Лизавета перевела разговор на другую тему.

- Ш-шалишь... затевается... откуда мне знать? Только Соломончик давеча из городу отбыл вместе с семейством... приболел он... ага, как же... иродово племя... они что крысы, при малейшем волнении готовы сбежать. Ничего, пусть бегут. Газетенка его никчemuшная скоро с молотка пойдет... будет знать, как людям правильным перечить. А ты иди сюда, потаскуха!

Он прыгнул, но Лизавета вновь увернулась и, оказавшись вдруг за спиной Освирцева, от души огрела его зонтом. А тот, к радости немалой, оказался крепким, столкновение выдержал и, более того, даже не хрустнул. В отличие от Гришки, который аккуратно хрустнул и, покачнувшись, растянулся на пыльной траве.

И вот чего с ним делать-то?

А с другой стороны, речи крамольные вел? В заговоре почти сознался? Вот пускай его и допрашивают. Правда... Лизавета прикинула, что до дворца она этого героя не дотащит, а бросать его тут - еще очнется, сбежит... разве что... поясок у платья имелся, а узлы вязать она в детстве научилась изрядные.

Так что долежит.

Архивы при дворце имелись, и преобширнейшие: и Морской, и Военный, и даже Дворянский, занимавший без малого отдельное здание. Хранились там не только родовые книги, копии грамот жаловальных да карт земельных, благодаря коим многие споры разрешались малою кровью, но и личные письма, и дневники, и многое иное, не всегда пригодного для оглашения свойства.

Имелся, впрочем, и еще один архив, расположившийся в подземельях, благо было там сухо и прохладно, аккуратно то, что бумагам для сохранности и надобно. Укрытый от глаз досужих, защищенный завесой хитрых проклятий, был он доступен лишь тем, в ком текла известная кровь. А уж хранил не только бумаги. Впрочем, ныне Лешка меньше всего интересовали что регалии царские - венец Мономахов поблескивал рубинами, манил, - что артефакты древние.

Бумаги.

Книги родовые, казавшиеся на первый взгляд копией тех, иных, хранившихся в открытом архиве. Да только...

Пожелтевшие листы были хрупки, невзирая на пропитавшую их магию.

Имена.

И вновь имена...

Девица из рода... сочеталась браком с... третьего дня арсения месяца... Господь благословил...

первое дитя... четвертое в роду, ибо у отца имелось трое бастардов мужского рода, прижитых с санными девками и одной актрисой.

Книга была полна и, пожалуй, хранила изрядное количество чужих тайн.

Взять хотя бы род Вяземских, прервавшийся во время Смуты. Основная ветвь сгинула в революционных пожарах, но если вспомнить, что у Михаила Вяземского трое братьев имелось...

Двое стали смутьянами и конец свой нашли на поле брани, а вот младшенький пошел в маги и ныне себе поживал весьма неплохо, выбившись в профессора. Надо будет предложить ему титул, авось не откажется. Лешек понадобятся верные люди.

Или вот Ястрежемские, сановитые, но малочисленные. Ныне от рода осталась престарелая тетушка, предпочитающая время проводить в молитвах, нежели при дворе. Правда, сказывали, что сие происходило не от богомольности, а исключительно в силу на редкость неуживчивого характера. Компаньонки и те от старухи сбегали. Обрадуется ли она, узнав, что у братца ее была связь с одной особой не самых великих чинов и что особа та родила двоих детей, которые...

Не обрадуется.

Но и роду исчезнуть не позволит.

Ах, многое хранилось на желтых страницах. И теперь Лешек переворачивал их, прислушиваясь к отклику. Книга сама писала историю древних родов, связанных с нею узами крови, и узы эти было не разорвать, не ослабить даже. Магия, темная, не самого доброго свойства, еще работала.

Впрочем, к Книге давно не обращались, не поили кровью, а потому спала она, и Лешек мутило от мысли, чего будет стоить ее пробуждение.

Оставить бы, как оно есть.

Уйти.

И самим искать. Это ведь просто, надобно внимательней быть. Войска начеку, маги упреждены. Бунту не позволят случиться, и если так, то рано или поздно, но отыщут они смутьяна.

Рано. Или поздно.

Книга шелестела мертвыми страницами, и все-то до одной были заполнены. Она словно красовалась, чуя близость того, кто мог призвать ее к ответу. Ну же, цесаревич, неужто не осмелишься? Ведь пришел же, а значит, есть вопросы. И ответы найдутся, они хранятся тут, протянулись, застряли в сети крови, попробуй-ка вытащи. Если хватит духу.

Страницы развернулись.

А вот и первое древо.

Некогда могучее, но многие имена в кроне его поблекли. Лешек положил ладони на темную хрупкую кожу. Закрыв глаза. Вздохнул. И неровные буквы задрожали, поползли, словно мурашки, по стволу... Имена? Нужны новые имена? Будут.

Только куда им стать-то? Небось тесно стало, все страницы исписаны, а новых... ты ведь все принес, цесаревич? Ты ведь знаешь, что делать?

Лешек знал, но...

Он ведь надеялся управиться и без того, однако Книга пила его силу, и только. Разве что чернила чуть потемнели.

Не выйдет.

Он оторвал руки и оперся ими, дрожащими, о столешницу. Огляделся. Сплюнул под ноги, благо пол земляной и не такое выдержит.

Взял...

Троих хватит?

Из городской тюрьмы. Душегубы, которых петля ждала за дела былые... петля – это честно, но Лешеку нужны ответы. И не только ему.

Можно ли откупиться от Смуты малой жертвой? И не будет ли та напрасною?

И не потому ли отец так и не набрался духу спросить? Книгу оживляли в последний раз еще тогда, во время Смуты, и делали это грубо, взламывая запоры кровью. О том, сколько тогда пролилось, Лешек старался не думать.

Ястрежемской он про племянников скажет.

А пока...

Их было трое.

Первый – огромный, вида, как и подобает, самого разбойничьего. Смуглокож. Расписан шрамами и наколками, по которым можно прочесть всю историю его жизни.

Насильник. Убийца.

На руках его крови немало, впрочем скоро и на Лешековых появится. Он потянул за цепь, и замороченная жертва сама шагнула в круг.

Сама улеглась.

Сама руки раскинула, позволяя закрепить себя заговоренными цепями. И только тогда Лешек снял с груди его амулет. Душегуб очнулся.

Моргнул.

И...

- Ур-рою, - просипел. Горло его было перебито, но срослось, и способность говорить он сохранил, пусть голос сделался низким, неровным. Он дернул цепи, ибо выглядели те тонкими, несерьезными, и подался вперед, налегая всей тяжестью тела, пытаясь разорвать. Но колечки лишь зазвенели.

А в блеклых глазах появилось недоумение.

Лешек вздохнул и развернул грамотку. Приговор удалось зачитать ровно, хотя Лешек до последнего в себе сомневался.

Все равно бы казнили.

Все равно...

Он завыл, этот негодный человечиска, который сам не щадил других. И ведь не просто убивал. Купца Смержицкого запытал до смерти, а после и супругу его, чего с дочерьми утворил...

Тут он выл и дергался, пока Лешек рисовал ножом на коже знаки.

И заскулил, когда удалось снять первый пласт кожи.

Книга приняла его с благодарностью. Вспыхнули буквы, налились алым, поползли живо, обмениваясь друг с другом новостью: пришло время...

Лешек снял новый пласт кожи. И еще один. Он слушал крики, хотя и взял с собою затычки для ушей, но использовать их было как-то... неудобно, что ли. А потому Лешек всецело сосредоточился на деле.

Умирал Сиплый долго.

И покаяться успел.

Только грехи его искупить было некому. А Книга напилась крови, правда, не настолько, чтобы утолить вечную свою жажду.

Со следующим получилось быстрее. А вот третий оказался слабеньким, и Лешеку пришлось поддерживать жизнь в изуродованном его теле.

Книга толстела.

Она принимала новые страницы, сама встраивая их в хитросплетения старых. И удивительное дело, не становилась толще, зато Лешек сполна ощутил и страх, и отчаяние, и боль... И сам почувствовал себя освеженным. И наверное, так было надо, но когда все закончилось, он раскрыл страницы и велел:

- Покажи.

А она подчинилась.

Человек с завитыми, уложенными на пробор волосами стоял над телом. В одной руке он держал луковку серебряных часов, в другой – тросточку с рукоятью в виде гусиной головы и вид имел пресерьезный.

- Значит, утверждаете, что он был жив? – поинтересовался он у Лизаветы, не скрывая, впрочем, своего недоверия.

- Утверждаю, – мрачно заметила Лизавета.

И Таровицкая ободряюще похлопала ее по руке. А Одовецкая подошла к телу.

- Не прикасаться! – велел человек с завитыми волосами. Впрочем, грозный оклик на Одовецкую впечатления не произвел. Она положила ладонь на грудь мертвеца и прислушалась.

- Отрава.

- Вы чините препятствия следствию!

- Это какие? – Авдотья нахмурилась.

- Разные!

Человек обвел девиц настороженным взглядом, задержавшись на Снежке, которая закружилась, раскинув руки. Лицо ее сделалось задумчивым, мечтательным даже, а за плечами появилась тень лебяжьих крыльев.

- Ушла душа... улетела... ее позвали, она и улетела...

- Подите... – человек топнул ножкой, но впечатления сие не произвело, причем не только на девиц, но и на других людей, окруживших поляну. Те выглядели попроще и изо всех сил делали вид, что заняты исключительно поиском иных улик. – Куда-нибудь да подите...

- И вправду, Лизанька, идем, – сказала Таровицкая.

- Вы, а не она...

И вот тут Лизавета поняла, что влипла. Что не отпустит ее этот куделистый, чем-то похожий на пуделька человек, имени которого она не знает. Она вообще хотела князя позвать, но ей сказали, будто он болен и не принимает, зато нынешний типчик был здоров.

Ишь, бровями шевелил.

Лизавету взглядом сверлил. И тросточкой своей по ноге похлопывал.

- Она задержана.

- С чего это вдруг? – тон Таровицкой изменился.

- По подозрению в убийстве.

Лизавета закрыла глаза: вот только этого ей не хватало! А ведь он был жив. Однозначно жив. Лежал себе, правда, тихонько, но дышал. Лизавета его еще от пруда оттянула немного, чтобы, не приведи господи, не утоп, пока она гулять изволит.

- Вы белены объелись? – осведомилась Одовецкая. – Я же говорю, он умер от отравления сложным органическим ядом. В состав его входит проскура бледная, которая растет только...

- Не имеет значения, – человек злился и от злости начинал подпрыгивать на месте. – Вы вообще кто?

- Княжна Одовецкая.

- Княжна Таровицкая...

- А я просто Пружанская, – сказала Авдотья и добавила: – Папенька у меня в генералах, может, слышали? Не хотите послужить? Он говорит, что служба из любого идиота человека сделать способна.

Человек густо покраснел и оглянулся. Впрочем, собственные его люди сделали вид, будто не

слышат и не видят.

- Вы...

- Мы понимаем, - мягко произнесла Дарья, появляясь из ниоткуда. И Лизавета вздрогнула. - Что у вас служба. И вы обязаны поступить согласно регламенту...

Голос ее был вкрадчив и мягок, Лизавета сама удивилась, как это не понимала она, что у человека и вправду служба, и регламент этот, от которого и на шаг отступить невозможно.

- И что выглядит ситуация преподозрительнейшим образом, - Дарья подступила ближе, оказавшись между Лизаветой и куделястым. - Имело место нападение на одну из конкурсанток. Девушка повела себя храбро, сумела дать отпор, скрутить изменника...

Куделястый слушал.

Кивал.

И подпрыгивать перестал.

- Однако пока она искала помощи, его убили. Наверняка сообщники. Вы же понимаете, что Лизаньке идти некуда, что она во дворце, под защитой ее императорского величества. И если вдруг случится вам ее задержать, то слухи пойдут... Нам же не нужно, чтобы слухи пошли?

- Ишь, морочит, - пробормотала Авдотья.

- Тем более что пострадает репутация императрицы. Стоит проявить благоразумие. Лизавета никуда не исчезнет. За это готовы поручиться столь достойные особы...

Достойные особы кивнули, а Снежка, спрятавши крылья, вид которых несколько смущал людей, добавила:

- Путь ее предопределен.

- Поэтому с вашей стороны будет весьма благоразумно предоставить Лизавете свободу, ограничив ее, скажем, пределами дворца... - Дарья очаровательно улыбнулась, а куделястый моргнул.

И кивнул. Нерешительно так.

- А вы в это время найдете истинных злодеев...

- А попытаетесь на Лизавету все спихнуть, я папеньке пожалуюсь, - проворчала Авдотья. - И он вам яйца оторвет...

Последнее замечание, пожалуй, было лишним.

Глава 7

В заключении Стрежницкому, пожалуй, нравилось. Стены тут были толстыми, окна – узкими, в такое и захочешь, не протиснешься. А главное, дверь имелась железная, на четырех запорах. За дверью стояла охрана, впрочем, в нее Стрежницкий не больно-то верил.

Уже наохраняли.

А в остальном... тихо. Спокойно. Не жарко.

Камеры располагались в старой башне, которая была построена на совесть. И толстые стены ее не пропускали летнюю жару. Были покои невелики, состояли из гостиной и спальни, к которой примыкал крохотный закуток. В закутке стояли лоханка, потемневший от возраста умывальник и шкафчик с ночной вазой. Что поделать, когда дворец реконструировали, на башне решили несколько сэкономить.

Стрежницкий поднялся – постель, стоило признать, тоже была не сказать чтобы мягка. Перины слежались, пуховые одеяла отсырели, а от простыней отчетливо пованивало плесенью. Но разве подобные мелочи могли испортить настроение?

Шепоток унялся.

А голова, конечно, болела, но не сказать чтоб так уж сильно. И целитель сказал, что рана рубцуется нормально, стало быть, воспаление и смерть в ближайшее время Стрежницкому не грозят. Он дошел по стеночке до двери, а там и в гостиную выбрался.

Опустился в кресло и ноги вытянул.

Надобно будет попросить, чтобы одежонки какой-никакой принесли, а то виданное ли дело – в одной рубахе сидеть. Вон пол леденючий, еще и сквозит.

И вид nepотpeбный.

Меж тем засовы заскрипели, застонала дверь, впуская гостя, а Стрежницкий даже привстал, приветствуя оного.

– Отдыхать изволишь? – с некоторым недовольством поинтересовался князь, выглядевший так, что Стрежницкий язык себе прикусил, чтобы не посоветовать отдых в соседней же камере. Небось тут их хватает.

Князь огляделся. Поморщился.

И, упав в соседнее кресло, тросточку отставил и голову руками обхватил. Пожаловался:

– Болит.

– Выпить нет, – сочувственно ответил Стрежницкий.

– А помогает?

– Не-а... но на душе становится легче.

Князь осторожно кивнул.

– Где это вас? – Стрежницкий и сам бы выпил, к примеру воды, но треклятая слабость изрядно мешала.

– Да сходил в подземелья... неудачно.

– А...

– А ты, как погляжу, и на месте приключения находить умудряешься.

Стрежницкий виновато развел руками и пожаловался:

– Твой молодчик меня и слушать не захотел. Добре хоть, сюда упек, а то сперва хотел прямо в тюрьму. Теперь меня убийцей считать будут.

– Всенепременно будут, – пообещал князь Навойский, голову запрокидывая. – Пошто девицу застрелил, ирод?

– А пошто она меня пугала?

Суда Стрежницкий не боялся, да и вины за собой не чувствовал. Девицу было немного жаль, но сама виновата, небось ее никто в покои чужие волоком не волок да и внушать честному человеку всякие глупости не заставлял.

- Рассказывай, - велел князь.

Стрежницкий и рассказал. А что, ему не жаль.

- Я тут посижу, - сказал он в завершение. - Только пусть одежи принесут какой. И книг, а то без книг тут тоска смертная... и вообще... скоро это все закончится?

- Должно...

Князь раздумывал.

Небось тоже ломал голову, с какой такой напасти девице Стрежницкий понадобился и какое к этому отношение имеет покойная Марена. Оно ведь как, будь Стрежницкий ближником царевым, тут бы можно было использовать, но ведь он во дворе так, овца паршивая...

- Как закончится, - Стрежницкий лицо потрогал, - женюсь... найду какую небрезгливую. Или личину вот закажу себе. Думаешь, сделают?

- Думаю, лучше и вправду небрезгливую поищи.

Это-то верно, только где ее взять, такую, чтоб не брезгливая, не пужливая, да еще и характер его, Стрежницкого, препоганый выдержать способна была. Нет, лучше уж прикупить кого из бедных, благо денег у Стрежницкого имеется.

Он ей поместье. Наряды. Выезд, и драгоценности, и что там еще надобно для счастливой семейной жизни. А она Стрежницкому сыновей пару - матушке на радость и ему в утешение. Стрежницкий слышал, будто дети, если с уродством рядом живут, к нему привыкают легче, нежели взрослые. Глядишь, и не станут сыновья батьку родного чураться.

- Уеду...

- Хрен тебе, - князь Навойский кукиш скрутил и под нос самым неблагородным образом сунул. - А не уеду. У меня людей нормальных и без того немного. Будешь моим заместителем.

Стрежницкий несколько растерялся, но палец в дырку сунул и заметил:

- Мне, за между прочим, мозги прострелили.

- У тебя, за между прочим, они хотя бы изначально имелись.

Спорить с начальством было себе дороже. Но Дмитрий, чувствуя внутреннее несогласие подчиненного, миролюбиво предложил:

- Покои во дворце выделим нормальные. И дом поблизости. Хочешь?

- У меня есть.

- Видел я, что у тебя есть, того и гляди рассыплется. Ладно, тогда реконструкцию за государственный счет. Только за реконструкторами следить сам станешь, чтоб все не разворовали.

На том и договорились.

Глазницу Стрежницкий почесал кончиком пальца и вздохнул: а девицу в невесты искать придется. Вот только где их ищут-то?

Покойная лежала в мертвецкой и была все так же мертва, как и накануне. За прошедшую ночь тело успело задеревенеть, а заодно уж раны почернели, сделавшись еще более уродливыми. Вот же...

Дмитрий узнал Лужнину, которая происходила из рода весьма почтенного, но не древнего.

Впрочем, некогда состояли Лужнины в тесном родстве с Уложевичами, а те уж верной опорой трона считались. До того верной, что старший сын их, Игнат, взял да и погиб вместе с царским семейством, хотя уж его-то возле арестованных не держали.

Сам прилип.

И вот теперь не отпускала Дмитрия мысль, что не просто так прилип. Он ведь магилом был, и не

из последних, впрочем, как почти все приближенные, только если Затокин целительством занимался, то Уложевич – огневик. С огневиком из древнего роду сладить не так просто.

Мог ли он?.. Из любви, не иначе.

Только вот к кому? И что это за любовь, которой хватило лишь на одного человека? Или так оно и задумывалось? Бывший император был известен своим упрямством, возможно, до последнего момента он и не верил, что опасность есть. А императрица всецело доверяла мужу.

Но тогда дети? Детями они не стали бы рисковать. А значит...

Димитрий осмотрел тело, впрочем, не особо рассчитывая что-то да обнаружить. Вздохнул. Присел на стул. И приготовился ждать, заодно уж размышляя о том, что могло бы случиться.

Скажем, любовь.

Одобрили бы ее? Навряд ли... все же пусть Игнат из рода древнего, да этого мало, чтобы претендовать на руку цесаревны. Тем паче что батюшка всерьез рассчитывает передать престол сыну.

Или брату.

Да и ходили слухи, будто старшие уже сговорены. А существующие договоренности рушить не дело, не из-за какой-то там любви.

Стало быть, сомнительные перспективы.

– Доброго вам дня, – Святозар Бужев стал выглядеть не в пример лучше. Он по-прежнему горбился, шел, прихрамывая сразу на обе ноги, и если бы не сучковатая палка, заменявшая ему трость, всенепременно упал бы. Но лицо разгладилось, да и гной из глаза исчез.

И пахло от святого отца травами.

– Доброго, – вздохнул Димитрий и, осененный внезапной догадкой, спросил: – А ваш отец не собирался вас женить, случайно? На ком-нибудь из царевен?

И по тому, как вздохнул Бужев, понял: угадал.

А ведь что может быть проще... иллюзия преемственности. И тот, кто желает оставить трон себе, должен был бы подумать о подобной возможности.

– Не только нас, – сказал Святозар, клюку отставляя. – Позвольте? Единственно, я хочу, чтобы вы поняли, что я тогдашний был... иным человеком. Не хуже, не лучше, просто другим. Мирским. Подверженным всем страстям и искушениям.

Он проковылял к столу и провел пальцами по спутавшимся волосам:

– Бедное дитя... Вы хотите, чтобы я призвал ее несчастную душу?

– Было бы неплохо.

Святозар замолчал, прислушиваясь к чему-то, и лишь губы его шевелились:

– Боюсь, не получится. На ней стояла печать, и принята она была добровольно.

– Что за...

Он, казавшийся немощным, с поразительной легкостью перевернул тело и ткнул пальцем в темное пятно над лопаткой, которое Димитрий принял за родинку.

– Вот. Если присмотреться, вы увидите руны... древний язык, ныне почти забытый. Знаете, большая часть наших особых сил связана именно с рунами. – Печать святой отец погладил нежно. – Они, с одной стороны, дают небывалое могущество, с другой – изрядно ограничивают. Эту печать можно поставить лишь с полного согласия человека, согласия истинно добровольного, а не вырванного ложью или муками.

– И что она?..

Димитрий взял со стола лупу на ручке. Родинка распалась на несколько, темные знаки, будто букашки, норотившие слипнуться в один комок. И главное, чем больше их разглядываешь, тем меньше понятно, что это. Ишь, шевелятся, переползают, меняя вид свой. И выглядит сие столь уродливо, что Димитрия мутит.

- Клятва абсолютной верности. Она не позволяет предать того, чьею рукой поставлена печать. А заодно уж обеспечивает спокойное посмертие. Душа уходит... правда, есть мнение, что она сгорает после смерти, ибо только так можно обеспечить полную сохранность тайн.

Святозар опустил тело и потер руки:

- Я не могу призвать ее душу к ответу, но тело находится в отличном состоянии и можно попытаться считать его память. Не всю, но наиболее значимые моменты, если вам нужно.

Димитрий вздохнул.

Нужно.

- Только я должен предупредить. В этом ритуале я могу быть проводником, а вот смотреть придется вам. И это будет... не совсем приятно.

Димитрий вздохнул снова и рукой махнул, мол, давайте, чего уж тут.

- Понадобится время. Наша магия основана на ритуалах, а сами понимаете, в отличие от чистых энергий они требуют тщательной подготовки.

- И крови.

- И крови. И порой боли. Хуже, когда радости... помнится, Радонецкие редко пользовались родовыми способностями, поскольку всякий раз, обращаясь к силе рода, они утрачивали толику эмоций. К старости становились на редкость неприятными людьми.

На стол лег давешний нож.

- Свечи найдутся?

- Найдут, - пообещал Димитрий. - Радовецкие...

- Вымерли еще задолго до Смуты. Кажется, младший их отрекся от рода, сказав, что не собирается становиться чудовищем. Честно говоря, не знаю, получилось у него или нет.

Он взял кружку и, полоснув руку, позволил крови течь.

А ведь красная.

Обыкновенная с виду. Густая, тягучая, и ничего-то в ней не ощущается ни древнего, ни загадочного. Кровь как кровь.

- Понадобится изрядно... А вы велите, чтобы свечи принесли, и непременно восковые.

Димитрий отдал распоряжения.

Будут восковые.

И какие нужно, такие и будут. Главное, понять, коим боком эта девица к Стрежницкому и чем это Богдашка так заговорщикам насолил, что все извести пытаются.

- А касаясь царевен... да, папенька не особо скрывал своих намерений. Полагаю, в том и состояла его ошибка. Многим во Временном правительстве пришлись не по нраву его планы. К тому времени отец набрал достаточно влияния и войск, чтобы рассчитывать на удачу. С ним сложно было бы сладить.

- В отличие от царского семейства...

Святозар перехватил запястье тряпицей:

- Мне... неприятно осознавать, тем паче, полагаю, мое нынешнее признание не останется лишь в этих стенах...

Димитрий чуть наклонил голову.

- Я слышал, что его императорское величество проявил редкостное упрямство, преследуя всех, кто был так или иначе виновен в гибели его братьев... и прочих членов семьи. И потому мне не стоит рассчитывать на милосердие. Но с другой стороны, на моих руках и без того крови хватит не на одну смертную казнь...

Он отодвинул циновку, топнул, будто проверяя крепость пола, и, опустившись на четвереньки, вычертил первый символ.

- Мне случилось побывать там. Меня отправил отец с предложением, не сомневаясь, что оно будет принято. Как же... бывший император должен был осознавать, в сколь неоднозначном положении оказался. И отец предлагал выход, который устроит, как ему казалось, всех. Он женится на старшей дочери. Нам с братом тоже достается по невесте. Новая династия не имеет права рисковать, так он выразился. Взамен он обещал его императорскому величеству спокойную и тихую жизнь, достойную его положения, и безопасность. Возможность уехать, если он сочтет нужным. Или остаться, но под защитой нового императора.

Кровавые знаки ложились на пол ровно. И лишь Святозар время от времени останавливался, чтобы размяться. Смуглые пальцы его отчетливо подрагивали, и он сжимал и разжимал их, восстанавливая кровообращение.

- И что вам ответили?

- Разговор прошел... не самым лучшим образом. Его императорское величество пришел в ярость и... пожалуй, я впервые ощутил, что такое их родовая сила. Это как... не знаю... на той проклятой пустоши, где я, на беду свою, выжил. Небывалая мощь, готовая стереть меня с лица земли... И да, я испугался. Я был живым человеком, более того, человеком, полагающим, будто будущее принадлежит ему. Я видел его столь явно, что позабыл, что все в руках Господа. Я отступил, сказав, что даю на размышление неделю. Мне казалось, что этого времени хватит, чтобы Николай остыл, да и супруга его, как мне показалось, отнеслась к нашему предложению весьма благожелательно. Во всяком случае, мой доверенный человек сообщил, что после моего ухода она долго оставалась подле мужа...

Доверенный, стало быть. Кто?

Хотя... чего гадать. Высочайшее семейство не оставили бы без надзора, и другое дело, что надзор этот был не только со стороны Бужева.

- И когда их расстреляли?

- На четвертый день. Полагаю, пришла телеграмма... мы остановились в Ебурге. Мутный городишко. Глава его кланялся, заверял в преданности, а в глазах его читалось желание отравить и меня, и всю свиту. Мы несколько... загуляли, это верно. Тогда смерть ходила рядом, а это заставляло острее ощущать саму жизнь. Вот мы и...

Он завершил рунный круг.

- Но однажды ночью в мои покои постучались. Доверенный человек... не смотрите так, у вас тоже, полагаю, хватает подобных людей. Так вот, он сообщил, что по решению революционного комитета царское семейство было предано смерти.

Святозар подошел к телу и, перевернув на живот, принялся рисовать кровавые знаки на коже.

- Я сперва не поверил. Это было... понимаете, пусть мой отец и присоединился к смутьянам, пусть даже где-то я сам разделял идеи, а вернее, полагал, будто мы можем пойти на некоторые уступки черни, с тем чтобы сохранить собственную власть. Все одно, я прожил жизнь под императорским крылом, я воспитывался в почтении и понимании, и наш род... не знаю, сказали ли вам, что вассальная клятва сохраняется и при отречении. Я не мог причинить вреда его императорскому величеству. Более того, если бы у Николая хватило духу приказать, я бы немедленно вывез и его, и все семейство. Я бы просто не выдержал давления этой клятвы, подчинился бы...

Знаки протянулись от затылка к пояснице.

- А потому новость для меня была не просто удивительной. Она оглушала. Она... впервые, пожалуй, я осознал, насколько изменился мир.

- И что вы сделали?

- Натянул что под руку попало и коня потребовал. Полетел... один, к слову, и полетел. Мои соратники оказались не совсем в том состоянии, которое располагало к прогулкам. Помогите, будьте любезны... вот так придержите.

Прикасаться к мертвой девушке было неприятно. Но Дмитрий послушно перевернул тело на бок, тяжелое, застывшее, что полено зимнее.

- Я увидел... - Вздох. - Вы первый, кому я рассказываю. Даже мой отец... его не слишком интересовали подробности. Он пришел в ярость, ведь это убийство ударило по всем. До того момента наши соседи блюли нейтралитет, однако смерть венценосного семейства... Спустя неделю бритты высадились на южных берегах. Ну да вы знаете... Я спешил. Помнится, уже там, в поместье, я понял, что одет лишь в рубаху и подштанники... спаситель и герой. Но со мной была моя ярость. И

моя клятва. Она требовала покарать...

- И вы...

- Покарал, - Святозар усмехнулся и провел окровавленным пальцем по лбу девушки. - Все же... наша магия порой заставляет нас действовать не совсем разумно. Помню, мне навстречу вышел человек в черной кожанке. Он что-то там кричал про суд, постановление, смерть узурпатора. А я смотрел на него и думал, что он... скотина. Вот просто скотина, и все тут. Я сжег его. Это оказалось просто... там все было... нестабильно. Сами понимаете, что смерть мага, которым Николай не перестал быть после смерти, не могла не отразиться на мире, тем паче погиб и наследник, и силу было некому перенять. Она гуляла, свободная, дикая. Злая. И я стал лишь проводником... помню смутно, что в меня стреляли. Кто-то пытался задержать, кто-то... Я спустился в подвал. Сила звала меня... она требовала, тянула... в этот треклятый подвал.

Он остановился. Отвернулся.

Вытер грязные пальцы о не слишком чистую одежду.

- У дверей лежала женщина... из комнатных, оставшихся с Александрой... рядом Куржеватый, камердинер. Ему сперва прострелили колени, а уже потом добились. Их я помню хорошо. Сознание на время вернулось. И комнату помню, вернее, подвал с голыми стенами, на которых появились темные пятна. Мальчишку совсем юного, ровесника цесаревичу... и самого цесаревича. Лежал возле отца... и таким вдруг взрослым показался. В него всадили пять пуль. А Николаю хватило одной. Его убрали первым, должно быть, поняли, что он опаснее прочих...

Святозар дернул шей.

И коснулся пальцами щеки.

- Аликс обнимала девочек... Почему-то там было много людей, куда больше, чем должно было быть... И я понимаю, о чем вы хотите спросить. И... я не знаю. Понимаете, тогда я был не совсем в себе... не совсем собой. И позже, возвращаясь к тому, что случилось, я сам себе не мог дать ответа. Аликс... наследник, император... Татьяна и Ольга определенно... а вот остальные... повторюсь, там были люди, и много, но...

Вздых.

- Я сжег эту комнату со всеми, кто в ней находился. Я... мне вдруг подумалось, что с этих людей станется отсечь головы и выставить их, увезти в доказательство, ибо многие не захотят поверить в смерть императора на слово. А я не мог, понимаете? Не мог позволить подобного... я просто... это стало сильнее меня. Огонь просто вырвался и смел все, что было там...

Вместе с доказательствами чего бы то ни было.

- Я очнулся уже по-за домом, в голом поле... без коня, без одежды. Обессиленный. Я шел к дороге, понимая, что если встречу не тех людей, то меня убьют. У меня не будет ни малейшего шанса спастись. Однако встретил я свою охрану. Благо очнулись... им сообщили новость. Да что там им... эту новость напечатали во всех утренних газетах...

- Во всех?

- А то... я тогда тоже подумал, что в печать они ушли, еще когда Николай был жив. Так что мой отец переоценил свое влияние. Я же допустил преступную неосторожность. Быть может, явись я туда тайно, не афишируя своего присутствия... возможно, они остались бы живы. Помогите перенести ее в круг. И еще, я должен предупредить, что чужая память опасна...

Глава 8

Предупреждению Димитрий внял.

Он положил девушку лицом вниз. И сам сел, где велено. И положил руки на ее виски, холодные и отчего-то казавшиеся мягкими. Он закрыл глаза, позволяя вычертить на своем лбу знаки.

Могла или не могла спастись цесаревна?

Тела отыскивали, вернее, останки. И если прежде предполагалось, что жгли их бунтовщики, дабы затруднить опознание, то теперь очевидно: виноваты младший Бужев и та дикая сила. А неочевидно одно: почему Николай не сопротивлялся?

Он ведь пусть и не император, но маг. Императрица тоже.

И дети... Итого семеро магов древнего рода и изрядной силы просто позволяют взять и убить себя? Ладно, надежда на скорое разрешение неприятностей, однако... там, в подвале, когда зачитывали приговор, да и без приговора было же очевидно, что не для беседы приватной их пригласили.

Почему он не ударил? Не ради себя, так хотя бы ради спасения детей?

- Постарайтесь не заблудиться...

Или не мог? Хотел, но... Что, если...

Голос Святозара звучал словно бы издалека. Он дрожал, то растворяясь в туманной зыби, в которой вдруг оказался Димитрий, то почти развеивая ее.

Не заблудиться.

Хорошо говорить, а как не заблудишься, если кругом этот вот белесый клочковатый туман. И будто кто-то ходит, хлюпает, вздыхает... Эй, есть тут кто?

Есть, есть, есть... кто, кто...

Кто?

Девочка в белом нарядном платьице. Она кружится и кружится... и смеется...

- А ты дурка! - кричит кому-то, и становится обидно. Почему ей все, а мне ничего? Мне? На Димитрии тоже платьице, только не белое, а в клеточку. Он наказан. Ему велено сидеть в детской и переписывать начисто упражнение, а Беленка пойдет к гостям. И будет стишки читать.

И все станут хвалить. Папенька же рублем пожалует, а маменька пряником... Несправедливо!

Так. Стоп. Это не его мысли. И не его тело, слишком пухлое, какое-то неуклюжее... детское.

Воспоминания, но явно не те, на которые Димитрий рассчитывает. А потому высвобождается из них, не без труда, само собою, но все же...

Он вновь оказывается в тумане.

- Не понимаю, чего ты хочешь? - сестрицын голос полон скрытой издевки. - Ты еще слишком мала...

- Но тебя же берут!

- Я в отличие от некоторых умею себя вести.

- Это ты меня за столом толкнула!

И компот выплеснулся на скатерть и на новое платье, его испортив. Маменька огорчилась, а отец нахмурился. Вновь будет думать, что вторая дочь у него неудачная, толстая и неуклюжая. Сестрица же щелкает по носу...

Не то. Прочь.

Туман. Ну же, в нем и вправду легко заблудиться, а с другой стороны, стоит сделать шаг, вокруг Димитрия встает бурая стена. Это не пламя, но держит она изрядно. И бурые же нити вырастают из его ладоней, уходя куда-то в туман.

Держат.

Дальше!

- Не представляю, что с ней делать... девочка - совершенная дичка...

- Отправлять. Пускай учится, - отец говорит громко, не стесняясь быть подслушанным. - Дар у нее изрядный...

- Но деньги...

- Деньги есть, и ты это знаешь.

Маменька замолкает, а Димитрий сжимает кулачки. Ну же, соглашайся... дар ведь и вправду есть, открылся недавно, изрядно напугав гувернантку, которая вдруг пришла в себя на четвереньках и гавкающей. До чего смешно было...

- Ты хочешь уполовинить Стешенькино приданое?

- Не только Стешенькино, - отец спокоен, он всегда спокоен, и порой это спокойствие пугает. - Оно, если помнишь, и Элизе принадлежит...

- Именно. Если разделить на двоих, то крохи выйдут, а ты хочешь их и этого лишить. Ладно, Элиза с даром, она в любом случае жениха найдет, но Стешенька... Девочка вошла в возраст...

- Она только на год Эли старше.

А в висках бьется гнев. Снова она. Снова...

Всегда она и только она, такая хрупкая и изящная. Умная. Вежливая. Ее хвалит гувернантка, а наставники восхищаются остротой ума. Она умеет одинаково ловко решать задачи, рисовать на картах и вышивать лентами. А еще музицирует весьма прилично, пишет экспромты и даже пробует себя в скульптуре.

Ее собираются вывозить в Арсинор.

А Димитрию...

Не ему... ей остается смириться. Она ведь всегда смирялась.

Чужая память.

Теперь с нею легче управиться.

- Найдем кого, пусть научит основам, а там пройдем освидетельствование и ограничители поставим, - матушка говорит убежденно. - Притыцкие так сделали...

- И что в том хорошего? - отец ворчит, но согласится. Он всегда и во всем с матушкой согласен, и от этого становится еще обидней. - Лишать девку шанса...

- Какого шанса? - матушка едва ль не визжит, что совсем неприлично. - Одумайся... в этом университете, если хочешь знать, совершенно невозможные порядки! А Элька не особо умна, не говорю уже о хитрости. Быстренько окрутят, а после бросят. Вот принесет в подоле...

- Авось не принесет.

- Если и нет, то дальше что? Дар у нее есть, но куда с ним... в менталисты коронные? А дальше что? Кому нужна будет жена, способная мозги из головы вытащить?

- Ты преувеличиваешь.

- Я? Это ты... на что ты ее обрекаешь? Служить короне до самой смерти? Ни друзей, ни... Тебе ли не знать...

- Успокойся, - примиряюще сказал батюшка. - Небось и на нее свой охотник сыщется, а если дар и вправду яркий, то есть те, кто не испугается, а наоборот...

Прочь. Не то.

Хотя обида ярка. И стало быть, маменька уговорила. Конечно, отец обещал подумать, всего-то нужно, что годик потерпеть. Чай, университет не убежит. А пока у Эли будет время подготовиться.

Вон наставника пригласили.

И цепку на шею повесили, мол, для ее же блага, а то ж дар, он такой, опасный без должного контроля. Цепка душила. И ночью Элиза просыпалась оттого, что того и гляди задохнется. Она умоляла матушку, но та оставалась непреклонна.

Нельзя. Дар...

Дальше слезы, уговоры...

Но матушка лишь отмахивается:

- Дорогая, не понимаю, на что ты жалуешься. Жених ждать, пока ты доучишься, не станет. А партия наичудеснейшая. Тебе стоит порадоваться, что тобой заинтересовались Ветрицкие...

Стоп. Ветрицкие.

Древний род. Богатый. И сестрица кривится, не скрывая злости: уж она бы... но у нее дара нет.

- Постарайся все не испортить, - матушка сама нащипывает щеки и хмурится. Стало быть, выглядит Элиза не так чтобы хорошо. Ничего. Она привыкла к собственной некрасивости.

А Ветрицкий хмур. Он старый.

Как папенька. Но по нему не скажешь, смотрится молодо, что заставляет сестрицу жеманничать. Впрочем, Ветрицкий в отличие от иных кавалеров не испытывает восторга и не спешит лишиться разума, но машет рукой и говорит:

- Замолчите.

И Стеша замолкает.

Ее глаза вдруг стекленеют, и сама она...

- Не стоит волноваться, это ей не повредит. Она будет уверена, что весь вечер меня очаровывала, а я поддавался. При внушении главное - использовать понятные людям образы. Позволите?

Он потянул за треклятую цепочку, и Элиза склонила голову.

Первый вдох дался ей... тяжело.

А Ветрицкий нахмурился:

- Стало быть, ее в принципе не снимали? Когда ваш батюшка написал мне, я, признаться, не думал, что все настолько... серьезно. Дышите. И если больно - кричите.

Она не кричала.

Стиснула зубы, пытаясь справиться и со слабостью, и с головокружением, чем заслужила одобрительный кивок.

- Ваш дар успели изуродовать, благо не окончательно... Но это я носить запрещаю. Ясно?

Элиза кивнула, Впрочем, сумела сказать:

- Маменька...

- Ваша матушка пытается лезть в дела, в которых ничего не понимает. Но я сумею донести до нее свое неудовольствие.

Рядом с ним было...

Спокойно? Пожалуй. И сестрица, в кои-то веки замолчавшая, радовала премного.

- Итак, мне интересно, чего вы сами желаете? - жених предложил руку, и Элиза ее приняла. А заодно задумалась: чего она желает?

Никто и никогда не спрашивал.

Никто и никогда...

А она сама...

- Не знаю, - честно ответила она, хотя с ответом ее как раз таки и не торопили. Ветрицкий же кивнул, соглашаясь будто, что вот так, с ходу, и не поймешь, чего пожелать. - Я... наверное...

научиться, как вы... и стать хорошей женой...

Элиза запнулась. Вздохнула. И призналась:

- Только вряд ли получится...

- Почему?

- Я ведь... я не слишком красивая. И глупая. И неуклюжая. И музицировать не умею.

- Поверьте, - он позволил себе легкую усмешку, - я в состоянии купить себе театр, если уж потянет музыку послушать. Вы милая девочка, но пока слишком девочка...

И Элиза подавила вздох разочарования. Значит, откажется, и тогда сестрица преисполнится уверенности, что случилось это исключительно благодаря ее красоте, а матушка окончательно в Элизе разочаруется и точно в монастырь отправит.

Сбежать.

И...

- Не спешите. Свою долю глупостей вы еще исполните, - Ветрицкий остановился и, подняв пальцами Элизин подбородок, заглянул в глаза. - Не стоит смущаться. Это нормально. Молодость порывиста и искренна в своих устремлениях. А что не всегда оные разумны, это ведь не их вина... я бы предложил вам следующее: учиться.

Помолвка состоится, и договор будет подписан. А значит, Элиза, можно сказать, замужняя жена, потому как такие договоры не разрывают просто так, и если подпишут, то маменька позволит переехать...

- В переезде пока нет нужды. Я отправлю к вам учителей. И компаньонку. Полагаю, она сумеет оградить вас от излишнего внимания вашей... родни. Попытаемся восстановить ваш дар...

- А если...

Если дар не восстановится, будет ли этого достаточно, чтобы помолвку разорвать?

- Не переживайте... вы очаровательны. Юны. И неглупы. А потому я в любом случае буду рад назвать вас своей женой...

Память.

Память сминается под пальцами, она словно теплый воск, и Димитрию сложно ею управлять. Он пытается. Он не думает о Ветрицком. Кажется, тот недавно погиб... Несчастный случай или что-то вроде? Или не в случае дело, но...

Дальше. Вдох. Выдох.

Учеба. Дни, слипшиеся в одно. Компаньонка, оказавшаяся такой милой... только для Элизы. Она и вправду как-то сделала так, что маменька перестала к Элизе придирается, вдруг озаботившись приданным Стешеньки и вовсе ее судьбой.

Ей нужен жених не хуже.

Вот только кому надобна невеста без дара? И Стешка понимает. И злится. И давится неспособностью своей эту злость обуздать.

- На редкость несдержанное и неразумное поведение, - компаньонка говорит с легким акцентом, хотя и чисто, и Эля кивает. - Женщина, которая так себя ведет, не может рассчитывать на удачную партию. К счастью, внешность на самом деле решает мало...

Дальше.

Приезды Ветрицкого. Прогулки по полям. Букет из ромашек и колокольчиков. Разговоры...

- Его императорское величество давно уж отошел от дел, - Ветрицкий говорит с ней как со взрослой. - Это печально, поскольку ныне судьба империи оказалась в руках людей недостойных... если вовсе людей.

Она слушает.

Бестолковая влюбленная девочка, готовая ради ласкового слова в омут кинуться. Она и кидается, пропитываясь духом этой нелюбви к короне.

Ей кажется, что ей доверяют.

Как же...

- Ее императорское величество, если подумать, тоже не виновата... все же в природе своей она далека от человека. Более того, кое в чем они, несомненно, людей превосходят... - Ветрицкий в Арсиноре бывал часто, привозя из поездок подарки, причем не только для Элизы, и разговоры.

Их Димитрий изучал особо тщательно, уже не испытывая ни брезгливости, ни угрызений совести, но лишь страх пропустить что-то и вправду важное.

К примеру, легкое внушение.

Да, девочка была менталистом, но юным, неопытным, что стоит слегка подтолкнуть такую в нужном направлении? Сделать чувства к Ветрицкому ярче, приглушив остальные.

Пусть оживает лишь рядом с ним.

Привыкает, что отныне весь мир ее - в нем лишь. А заодно...

Ее явно готовили.

К чему?

К представлению? Она, как супруга наследника древнего рода, обязана была бы предстать перед императорской четой. Кто ждет от наивной сельской девочки удара?

Память сопротивляется.

Она хранит свет, и любовь, и растреклятые колокольчики. Еще аистов, что выплывали в гнезде и трещали, трещали, запрокинув головы.

Первый робкий поцелуй.

- Вы мое счастье, - говорит Ветрицкий, и Элиза задыхается от избытка эмоций.

А Димитрия мутит от фальши.

- Мне придется уехать, душа моя, - он целует бледные ручки. - Но скоро я вернусь, и, полагаю, мы сыграем эту чертову свадьбу... я больше не готов ждать.

Это признание заставляет Элизу вспыхивать от стыда. И предвкушения. И сердце бьется часто-часто...

- Слушайся Катарину, - велит Ветрицкий. - Она тебе дурного не посоветует...

Он уехал и не вернулся.

Хмурый папенька.

Маменька в слезах и с платочком. Стешка, не скрывающая радости, и от этого втрое больно.

- Мне жаль, - отец отводит глаза. - Это был несчастный случай...

- Это было убийство, - Катарина слегка картавит. И говорит тихо, уверенно, и Лиза сразу верит ей.

- Кто?

- Стрежницкий.

Имя незнакомо. Оно колючее, гадкое, и Элиза повторяет его шепотом, пробуя на вкус. Имя вязнет на зубах. Имя вызывает отвращение, глухую злость, до тошноты, до...

- За что?

- Цепной пес короны, он не сам, он лишь делал, что велят... Не переживай, девочка моя. Ветрицкий о тебе позаботился...

Он и вправду оставил духовую грамоту, по которой Элизе отошли поместье и пара деревень, немалое денежное содержание и гарнитур из желтых алмазов.

- Он собирался делать подарок к свадьбе, - сказала Катарина, которая как-то сама собой осталась в семье, благо положенное ей жалованье Ветрицкий выплатил на десять лет вперед. - Вам бы пошло несказанно. Не стоит плакать. Вот увидите, жизнь сложна и непредсказуема... Полагаю, у вас будет возможность восстановить справедливость.

Эта мысль прочно засела в Элизиной голове.

Справедливость.

Ветрицкий ее заслуживает, потому что он самый лучший... был... За что убили? И кто? Она, конечно, не могла узнать сама, но Катарина, верная Катарина...

- Гнилой, ничтожный человек. Во время Смуты ему удалось выбрать верную сторону, - она теперь была подле Элизы денно и нощно, надежно ограждая подопечную и от матушки с ее безумной идеей немедля выдать Элизу замуж, а еще отнять алмазы, ибо у Элизы траур, а Стешеньке нужнее, и от самой Стешки, и от всех иных забот. - Он многое творил такого, о чем ныне говорить не принято... Сказывают, он собственноручно удавил невесту...

- Свою? - спросила Элиза и поняла, до чего нелепо звучит этот вопрос.

- Свою. Это очень грустная история... о любви и доверии... Так уж вышло, что я знала несчастную Марену и потому от души ненавижу Стрежницкого.

Стоп. Вдох. Выдох.

И осторожно, не спеша, не разрушая тонкого полотна чужой ожившей памяти. Катарина... ее лицо расплывчато, и сложно сказать, красива она или нет. И вовсе разобрать хоть какие-то черты. Голос и тот будто бы меняется.

Высокая? Низкая?

Цвет волос, цвет глаз, все ускользает, будто бы Димитрий смотрит на нее сквозь закопченное стекло. Морок? Определенно.

- Мы были близки, как сестры... ближе, чем иные сестры...

Стешка давеча скандал закатила, что у Элизы платья лучше. Так ей из Арсинора привезли, по последней моде. Ветрицкий мерки отвез Ламановой, заказал гардероб для будущей жены. И сердце сжалось болезненно...

- Я ей говорила, что опасно доверять этому проходимцу... Откуда он взялся? Появился вдруг, вскружил голову, уверил, что они будут вместе до конца жизни. Женское сердце слабо, сама знаешь...

И Элиза кивает.

Знает.

А еще болит оно, ноет.

- Она прошла с ним через многое. Она стала верной подругой. Была ранена, защищая его. Выжила, несмотря ни на что... А он ее удавил.

- Почему?

Катарина пожала плечами:

- Надоела... Видишь ли, дорогая, мужчины не склонны ценить самоотверженных женщин. Она узнала о нем кое-что нелицеприятное. В последнем своем письме она говорила, что пребывает в сомнениях, что любовь в ней борется с чувством долга. Полагаю, он помогал смутьянам, представляясь верным сторонником короны...

- Это...

- Предательство. Да, но, возможно, она готова была бы принять его и таким - что поделаешь, любовь ослепляет...

Димитрий согласился.

Еще как ослепляет, а уж приправленная изрядной толикой воздействия, вообще способна сделать влюбленного слепым, глухим и неспособным думать.

Девочку было жаль.

Немного.

- Полагаю, она попыталась воззвать к его совести, за что и поплатилась. Мне стоило немалых усилий выяснить ее судьбу. И да, я пришла в ужас, я желала не мести, но справедливости...

- И почему?

- Потому что к тому времени Стрежницкий успел прославиться. Как же, герой... о нем говорили как о человеке самоотверженном, подающем пример слабым. И тут я. Кто бы поверил мне? Тому несчастному письму, в котором и доказательств не было, одни лишь намеки.

Теперь голос звучал ровно, а речь была тиха, убаюкивающая. И Элиза поддалась ей, она прикрыла глаза, почти засыпая.

- Ничего, деточка, я так ждала, мы все ждали... И время пришло. Ты ведь поможешь мне? Мы восстановим справедливость...

От памяти почти ничего не осталось.

Верно, время выходит, ведь мертвое должно остаться мертвым. А потому Димитрий торопится. Он листает дни, прослушивая беседы, которые сводятся к одному: девочку учили ненавидеть.

Воплощение зла. Подлец. Соблазнитель женщин. Бретер, вызывающий на бой лишь тех, кто заведомо слабее. Убийца на службе короне.

Как узнали?

Димитрий спросит. Позже.

- Скоро уже... - Катарина стала ближе, чем родные, и, пожалуй, лишь она одна понимала всю боль юной души.

Конечно, понимала. Она и не давала этой ране зарости, наслаивая на одни чувства другие. Это ведь просто - разжечь интерес до влюбленности, а ее выставить любовью. И плеснуть горя, отчаяния. Довести до грани.

- Ты должна принять участие в конкурсе, - Катарина держала Элизу за руку. - Это наш шанс...

Единственный.

Ведь она никогда не выйдет замуж, чтобы не опозлить память о Ветрицком.

- Куда тебе на конкурс? - матушка, впрочем, имела свое собственное мнение. - Ты посмотри на себя! Ты исхудала, вся потемнела, тебя и близко не допустят. А вот Стешенька...

- У Стеши нет дара, - сухо напомнила Элиза. - Это противоречит условиям. Что до меня, то я... вольна в своем выборе, даже если вы будете против.

Матушка обиделась и занемогла. Стешка устроила скандал, а Катарина наняла экипаж.

- Скоро, дорогая моя, скоро мы окажемся во дворце, но действовать придется осторожно. Мой бедный брат слишком спешил, за что и поплатился... Вот увидишь, у нас с тобой получится.

Память извернулась и выплюнула Димитрия. Он оказался вновь в тумане, непроглядном, густом, что войлок. Он трогал этот войлок, и пальцы проваливались в него, но сам Димитрий оставался на месте.

Неужели заблудился? Проклятье. Он должен вернуться!

Туман молчал.

Должен... ради империи, которая вот-вот рухнет, потому что все думали, что заговорщикам нужна власть. Она нужна, но не только она... Менталисты сходят с ума чаще остальных. Проклятый дар, обратной стороной которого становится одержимость.

Туман все еще молчал.

Лешек! Он должен услышать... он должен понять... почувствовать...

Кровь...

Они смешивали ее, резали руки кухонным ножом, который Дмитрий стащил у старшей кухарки. И смешивали. Над огнем и еще над водой. Братья навек... братья...

Ну же, Лешек, отзовись.

Туман молчит и сердце тоже. Значит, надо иначе... Как? Вернуться самому. Ведь где-то там осталось тело, спеленутое кровавыми рунами. И Дмитрию всего-то нужно - найти его...

И еще рыжую.

С темными, что вишня, глазами. С умением ее всегда оказываться не там, где нужно. Сосредоточиться... и нет, она не услышит.

А кто?

Та, которая ходит меж мирами.

- Асинья! - закричал Дмитрий и не удивился почти, когда туман обернулся вихрем белых перьев. Крылья распахнулись, а из пустоты на Дмитрия взглянули синие нечеловеческие глаза.

И он взмолился:

- Выведи...

Глава 9

Матушка пряла пряжу.

Иногда находило вот на нее. Усаживалась у окошка, приоткрывала ставенки, впуская в жаркие покои свой летний ветерок. Она трогала каменную кудель с каменными же нитями, прикасаться к которым дозволено было лишь некоторым людям.

Толкала.

И волчок крутился сам собою, а белые пальчики знай себе тянули нить, тонкую да звонкую, уже не каменную, но и не такую, к которой привыкли люди. Матушка слегка наклоняла голову, а порой и песню заводила, правда, со словами непонятными.

После, когда пряжи вдоволь станет, она уберет кудель, а на место ее кросна поставят. И тогда заскользит по ним заговоренный челнок, из камня ткань выплетая. И будет та ткань тонка, тоньше шелка, но и прочнее гранита. Ни стрела ее не возьмет, ни даже пуля...

Батюшке она рубаху сшила. И Лешеку.

И стало быть, не только ему надобно, если матушка вновь прясть села.

А нить-то белая, полупрозрачная.

Женская?

- Заходи, дорогой, - она выпустила кудель из рук, но та плясала, сама нить вытягивая. - Присядь. Выпей вот.

Она сама поднесла Лешеку ковшик резной, наполненный до краев самых водою. И была вода та студена, а еще горька без меры. Лешек пил, давился, но все равно пил, до самого дна, до...

- Больно? - матушка заглянула в глаза и волосы тронула, ласково, как в детстве. А Лешек уткнулся головой в живот ее, вдохнул родной запах и с трудом удержался, чтобы не разрыдаться. - Кровью пахнет... стало быть, ходил?

- Ходил.

- Узнал что?

- Узнал... ты тоже знаешь, верно? Без тебя она бы не укрылась, так? Почему ты ей помогла, а отцу... он...

- Он бы не отпустил, - она перебирала светлые прядки, вытягивая из них печаль и горе. - Он был одержим мыслью род восстановить и никогда бы не позволил ей уйти, держал бы здесь, в клетке этой.

- Но ты...

- Я сама в клетку пошла. Мой выбор, и только мой. А она другого желала.

- Свободы?

Это Лешек, пожалуй, мог бы понять, но слишком жива была еще память. И люди, погибшие, стало быть, зазя... Если матушка знала, если...

- И свободы в том числе. Она уцелела чудом. Она уцелела, а прочие нет. Она сбежала на свидание, позволила случиться любви. Решила, что если батюшка больше не император, то и она не цесаревна, а стало быть, может позволить себе такую роскошь, как любовь... Правда, матушки все одно опасалась. Говорила, что больно та была строга...

Императрица отстранилась и ладонью вытерла слезы. Слезы? А Лешек не заметил, что плакал. Надо же... как мальчишка... а ведь он будущий император и права не имеет ни на слезы, ни на что другое. Глянул в каменные глаза матери и попросил:

- Расскажи...

- Так не о чем рассказывать особо... - императрица выпустила его и подала шелковый платок. - Утрись и присядь. Однажды... я только-только во дворце появилась. Все иное, незнакомое. Мир этот. Люди, которые меня и боялись, и ненавидели. Я не была готова ко всему этому, терялась и, признаюсь, испытывала преогромное желание немедля покинуть это место.

Что бы было тогда?

Отец смирился бы? Или оставил бы проклятую корону? И так, и так – плохо...

– Он мне помогал. Он знал, насколько все... нехорошо порой бывало, однако мужчине тяжело воевать с женщинами, и во многом мне пришлось справляться самой. Потому я благодарна несказанно Одовецкой за ее помощь.

Матушка вернулась к кудели.

И нить заплясала, задрожала, меняя цвет на темно-синий.

– Однажды в покоях моих появилась девушка, что было удивительно, поскольку покои эти охранялись весьма и весьма тщательно. Однако, как выяснилось, дом, построенный на крови, этой крови многое позволяет. Она назвалась цесаревной Ольгой, и я ей поверила.

– Сразу?

– Она не лгала, – матушка задержала нить меж пальцами. – Белый с лазоревым – это красиво?

– Пожалуй...

– Она просила передать Сашеньке, что жива и что возвращаться не желает. Чтобы ее не искали, поскольку она знает способы скрыться и... в том не будет никому выгоды. Она вышла замуж. За человека, которого сама полагала простым. И желала лишь жить с ним в мире и согласии. Она боялась, что твой отец не устоит перед искушением, откроет Книгу и узнает правду. А узнав, попробует ее вернуть...

– А возвращаться она не желала.

– Категорически. Она понимала, что супруга ее никогда здесь не примут. И мне это было понятно. Как и опасения, что с неудобным супругом этим может произойти несчастье, пусть даже не по воле твоего отца, но по молчаливому сговору тех, кто пожелает породниться с нашим семейством.

И Лешек, подумав, кивнул. Пожалуй, что так... сколько вон на матушку покушались даже после того, как он на свет появился и был законным наследником объявлен. А уж супруга цесаревны точно не пощадили бы, тем паче если он крови простой...

Люди хрупки. Слабы.

– А еще она ждала ребенка и не желала, чтобы тот становился заложником в дворцовых игрищах. Его бы признали наследником, а там уже...

– И ты рассказала отцу?

– Нет.

– Почему?!

– Потому что пожалела ее...

– А его?!

– Он пережил смерть и брата, и племянников. Он отомстил за них. Отплакал. И отпустил. А скажи я, неужели бы он удержался? – Кудель на мгновение замерла, чтобы заплясать скорее, сильнее. – Ты знаешь, что он стал бы искать и нашел бы. И никому от этого не стало бы хорошо.

Пожалуй, в чем-то матушка была права.

– А теперь что? – тихо спросил Лешек.

Она же, потянув нить, уже темно-золотую, янтарную, сказала:

– А теперь... теперь тебе решать.

И улыбнулась этак хитровато. Конечно, решать ему... и вот как решить, а главное – что? И прав ли Лешек в своих догадках? А если не прав, то...

– Я слышала, – матушка легко сменила тему, – ты давеча не один с прогулки вернулся...

Лизавета маялась.

Во-первых, чувствовала себя изрядно виноватой. Пусть Гришка был еще тем засранцем, лишенным не только чести и совести, но и мало-мальского ума, однако смерти он не заслуживал. Тем паче такой... Вот если бы она, Лизавета, не оставила бы его одного, беспомощного, то, глядишь... Во-вторых, не отпуская ощущение, что весьма скоро тот господин, который явно был не против назначить Лизавету виновной в этой нелепой смерти, решит-таки, что был прав в своих устремлениях.

И что тогда?

Доказывать, что она не травила Гришку?

А кто травил?

- Интересненько, - Аглая Одовецкая терла пальчики. Она стояла, поднявши руку, и терла, терла, хмурилась. Нюхала эти самые пальчики. - Яд-то редкий, дорогой... зачем его тратить на этакое убожество?

- А с чего ты решила, что убожество? - Таровицкая хмуρο поглядывала в сад, но при том не делала попыток подняться с резной скамеечки. Более того, со стороны она выглядела весьма пристойною барышней, занятою исключительно девичьим делом - веночком. Пальцы ее двигались, тонкие стебельки переплетались...

- Бабушка сказала...

Таровицкая вздохнула и закатила глаза.

- Он газетчик, - Одовецкая все же вытерла пальцы о юбку. - А они вечно гадости пишут...

- Неправда! - Лизавете стало обидно.

Да, она писала гадости, не без того, но ведь она лишь рассказывала о людях, которые оные гадости совершают. Почему тогда получается, что люди эти несчастные, а газетчики - сволочи?

Или совершать гадости можно, а рассказывать о них - никак?

- Правда, правда, - Авдотья цветочки перебирала с видом преудивленным, будто не могла понять, как вышло ей собрать этаким венчик. - Папенька тоже говорит, к нему как-то один приезжал, все ходил по городу, вынюхивал, выглядывал. Оказалось - шпион.

- И что вы сделали? - в голосе Одовецкой слышался немалый интерес.

- Как что? Повесили, и дело с концом...

Лизавета потрогала шею. Подумалось, узнай подруженьки о ее работе... Нет уж, лучше, чтоб не знали. Да и какие из них подруги? Случайные. Жизнь свела, жизнь и разведет. Закончится конкурс, и разойдутся, разлетятся пути-дороженьки. Лизавета домой вернется.

И научится вышивать крестиком.

Или вот крючком вязать. У тетушки изрядно выходит. Будет писать сестрицам письма, радоваться, что у них-то жизнь сложилась, а сама... что сама? Поплачет да успокоится...

- Если он газетчик, - Таровицкая выплетала узор из васильков и ромашек, вставляя тонюсенькие веточки вейника, - то мог что-то узнать такое, чего знать ему не полагалось.

- Узнал, - сказала Лизавета. - Он мне говорил... я потому его... он сказал, что скоро тут весело станет.

- Вот так прямо и сказал?

- Не то чтобы прямо... я так поняла.

- Знаешь его?

Лизавета кивнула. И уточнила:

- Не слишком близко. Он ко мне сватался.

Авдотья фыркнула. Таровицкая бровку приподняла, а Одовецкая головой покачала, явно не одобряя. Вот только что именно она не одобряла - намерения ли покойного или же саму мысль, что к Лизавете могут свататься, - осталось неясно.

- Он и раньше был... не особо вежлив, - раз уж начала говорить, то следовало продолжать. - Сказал,

что все равно мне деваться некуда... а скоро... что-то произойдет. Нехорошее. И полагаю, на празднествах...

- Произойдет... - задумчиво произнесла Таровицкая и пальцами щелкнула. Вспыхнул белым пламенем цветочный венок да и осыпался пеплом.

- Всенепременно произойдет, - согласилась с нею Одовецкая. - А знал он, выходит, много... и Стрежницкого арестовали...

- Что? - Авдотья вздрогнула.

- Не слышали? - Аглая явно удивилась. - Об этом ныне только и разговоров... он конкурсантку убил...

- Быть того...

- И признался. Она то ли сама к нему пришла, то ли заманил коварно. Главное, что он ее застрелил. А стало быть, повесят скоро.

Авдотья побледнела. Покраснела. И встала.

- Куда? - поинтересовалась Таровицкая. - Тебя к нему не пустят... правда...

Она отряхнула ладошки от пепла:

- Если Лизанька князя попросит...

И все уставились на Лизавету. А та сглотнула. Нет, она не против князя попросить, только его ж сперва отыскать надобно...

Когда Дмитрий открыл глаза, первое, что он увидел, - ясные, прозрачные очи Асиньи. Она коснулась лба его ледяным пальцем и заметила:

- Нельзя часто дорогами мертвых ходить. Утянут.

- Не буду.

- Будешь, - возразила свяга. - Скоро... уже... мертвецы ждут справедливости. Их много сюда пришло. А меня не слушают.

Святозар сидел в уголочке, скрутившись, закрывши лицо ладонями, и сквозь пальцы его текла кровь, и казалась она не красной, но черной. Правда, пахла все равно кровью.

- А с ним что?

- У него свои мертвецы, - сказала свяга, отступая. Теперь она казалась почти человеком, во всяком случае, хрупкой этой девушке не было места в подвале. - Когда граница истончается, он слышит их голоса.

Дмитрий сел.

Голова кружилась. Перед глазами плясали мошки, да и вовсе ощущения были препоганейшими. Он сглотнул, попытался было подняться, но тело, вялое, будто слепленное из воску, двигалось медленно. И Дмитрий только и сумел, что на живот перевернуться да худо-бедно ноги подобрать. Он и дышал-то через раз, открытым ртом, втягивал гнилой тяжелый воздух.

- Я могу позвать кого, - сказала равнодушно свяга. - Когда душа уходит из тела, оно немного умирает. Если уйти надолго, то оно умрет совсем.

А теперь пришла боль.

Вспыхнули огнем кончики пальцев, мышцы скрутила судорога, и кажется, Дмитрий не сдержал рвотные позывы... главное, чтоб не на мертвеца... девчонку было жаль.

Ветрицкие.

Надобно спросить... надобно...

Он дополз до края круга и уткнулся лбом в пол. Пробормотал, давясь слюной:

- Ты... жив... некромант...

От голоса его Святозар вздрогнул и отнял руки от лица. Да уж, проклятая магия никого не красит – кожа потемнела, налилась синевой...

– Я могу тебя забрать, – сказала Асинья, протягивая то ли еще руку, то ли уже крыло. – Если хочешь уйти...

– Нет.

– Но ты хочешь?

– Да, – святой отец рукавом вытер кровавые сопли. – Но нельзя. Еще нельзя... Ты узнал хоть что-то?

Димитрий старался не смотреть на тело, на символы, что прорезали кожу свежими ожогами.

Еще и родным объяснить придется. Они и без того в ярости, крови Стрежницкого требуют, а в то, что красавица их сама пыталась бедолагу извести, не поверят. И главное, Ветрицкого Богдан не убивал, это Димитрий знал точно, не смог бы – кровь не та, сила не та, а одной шпагой такого, как Ветрицкий, не одолеть...

Надо выяснить, что там произошло.

Лешек наблюдал за девушкой издали.

Она сидела на скамеечке, раскладывая разноцветные камушки одной ей понятным узором. Вот башенку строит, ставя один на другой, вот... вздыхает.

Поворачивается. Пожимает плечиками.

Неказистая, пожалуй... именно что неказистая, ничего-то в ней, если разобраться, и нет. Сама худенькая, едва ли не болезненная, одно острое плечико чуть выше другого. Ручки тонкие из рукавчиков выглядывают, и сама она глядится так, будто только-только из детской выглянуть позволили.

Вот ножки поджала. И распрямила. Огляделась. Помахала в воздухе. Улыбнулась своим каким-то мыслям.

Окликнуть?

Неудобно выйдет... или наоборот? Он выбрался из кустов, в которых постыдно скрывался от внимания конкурсанток и выбывших из конкурса девиц, а также родственников их многочисленных, зачастую полагававших, будто выбытие это есть результат интриг наиковарнейших. Девицы трепетали, родственники требовали справедливости или хотя бы внимания, а у Лешака от этого голова болеть начинала.

– Доброго дня, – поздоровался он, тросточку за спину пряча. Надобно сказать, что тросточка ныне была наимоднейшая, сделанная в виде длиннущей, не иначе журавлиной, ноги, на которую по какой-то хитрой задумке водрузили слоновью голову. Была она в захвате неудобна, а еще огромные бивни, того и гляди, норовили за карман зацепиться.

– Доброго, – Дарья моргнула и порозовела. – А вы...

– Гуляю. Не желаете ли со мной?

– Я... – она окинула взглядом горку из камней. – Не складываются. Я загадала, что если сложится, то все будет хорошо, а они... неровные.

– Это вы просто складывать не умеете, – Лешек подошел.

В узких штанах ходить было тяжело. Шажки приходилось делать коротенькие, да и все одно не отпускало ощущение, что того и гляди штаны треснут.

– А вы умеете? – Она слегка нахмурилась.

– А то... подержите, – он сунул ей слона с журавлиной лапой и взялся за камень. Сила отозвалась легко, и камень встал на камень, и следующий, и еще один.

Башенка вышла невысокой, но вполне устойчивой.

– Вы...

– Только никому не говорите, – Лешек прижал палец к губам. – У вас свой дар, а у меня свой.

Она рассеянно кивнула и убрала прядку золотистых волос за ухо.

- А вы...

- Дарья, верно? И вас все время забывают, - Лешек не удержался, так щеки ее вспыхнули. - Маменька на ярмарке, а папенька...

- Вы помните?!

Почему-то это прозвучало почти как обвинение.

- Виноват, - развел Лешек руками. - Но если вам будет легче, то могу соврать, что нет...

Она покраснела еще сильнее и кулачки стиснула. Мотнула упрямо головой и сказала:

- Врать нехорошо.

- Вот и я о том же... А вы что тут скучаете? - Лешек предложил руку, и ее, после недолгого колебания, приняли.

- Просто... думаю о всяком... знаете... почему-то многие считают, что над нами издеваются...

- И вы?

- Нет... Мне кажется, что Аглая права и в этом есть смысл. Хозяйка должна уметь принимать гостей... любых... И раз так, то нет ничего дурного в том, чтобы показать свое умение. И это не оскорбительно.

Она шла неспешно и трость по-прежнему держала, правда, так, будто собиралась этой тросточкой кого-нибудь да огреть.

- Похвально, - одобрил Лешек.

Они шли по узенькой дорожке, по обе стороны которой поднимались стены розовых кустов. Порхали бабочки. Птички чирикали. И солнце припекало вовсе немилосердно. На крохотной шляпке Дарьи поблескивали серебряные ниточки, и смотрелось сие премило.

- А скажите, - не то чтобы молчание утомило Лешека, напротив, с нею и молчать оказалось на диво удобно, - как я выгляжу?

- Вы?

- Я.

Она замялась. На худеньком личике читалось явное сомнение.

- Вы... вы хорошо, - вздохнула Дарья, сдаваясь в борьбе с собою же. - А вот костюм не очень. Он какой-то слишком...

- Тесный? - Лешек повел плечами, чувствуя, как похрустывает ткань.

- И золотой... чересчур.

Глава 10

Князя они все же отыскали. Был тот в собственных покоях, возлежал на постели, окруженный сомнительного вида девицами, которые Лизветиному появлению не обрадовались. К чести, следовало отметить, что не обрадовались они не только Лизвете, но всем гостям, нарушившим покой больного. И более того, одну Лизвету вряд ли б вовсе на порог пустили, Таровицкую вот тоже задержать пытались, но она рученькой махнула, ноженькой топнула и сказала, что за грубость всенепрременно папеньке пожалуется. А Одовецкая вовсе потребовала проводить ее к больному.

Она ж целительница.

А Лизвета уже при них, стало быть.

Как бы то ни было, охрана их пропустила, лакей, протиравший ломберный столик ветошью, вовсе сделал вид, что посторонних не замечает, а больше в княжеских покоях никого не было. То есть кроме самого князя и девиц.

Трех.

- Что здесь делают посторонние? - поинтересовалась одна, щупавшая князю лоб. Причем этак весьма по-хозяйски щупавшая, будто бы это был ее личный лоб и личный князь.

Девушке захотелось вцепиться в волосы.

- Мы не посторонние, - Авдотья огляделась. - Мы с визитом.

- Князь не принимает, - заявила другая, светловолосая.

И главное, волосы завитые.

Уложены.

Глаза блестят.

Губы бантиком и алою помадой подкрашены. А вид нахальный-пренахальный. Третья и вовсе руки в бока уперла, ноженькой топнула и велела:

- Убирайтесь, пока я стражу не вызвала...

- Сама убирайся, - велела ей Одовецкая, отстраняя старшую. - Что вы тут наворотили? Кто сочетает заклятье успокоительное с регенерирующим? Это же чему вас учили?

То есть вот эти девушки - целительницы?

- А еще эфир добавили... - Одовецкая наклонилась и понюхала князя. - Господи, дай мне силы... Я сейчас бабушку позову, пусть посмотрит, чему ныне целителей учат.

Девушки переглянулись.

Одна плечиком повела, вторая фыркнула, третья лишь глаза закатила.

- Ее давно в университет звали... - Одовецкая что-то рисовала в изголовье пальчиком, - но она все отказывалась. Нет, это надо додуматься, после нервного потрясения в глубокий сон погружать. Да вы понимаете, что он от этого сна может не очнуться! Если еще и сонным настоем накачали... Вы его убить хотели?

- Сильно умная, да? - поинтересовалась старшая, впрочем, голосу ее не хватало решительности.

- Умнее некоторых, - Таровицкая подошла к постели и, ткнув в князя пальцем, спросила: - Так он что, спит?

- Спит, - подтвердила Одовецкая.

- И долго спать будет?

- Понятия не имею. Они на нем все снотворные заклятья перепробовали. Там все так смешалось, что... боюсь, бабушку все же придется звать. Сами мы его не разбудим.

- Нам... - темненькая сглотнула. - Нам велено было сделать так, чтобы он успокоился, и мы...

- И вы применили все, чему вас учили, и сразу, - с ехидцей завершила фразу Одовецкая. - Наверное, стоит порадоваться, что кровопускание ныне не в моде, иначе всю бы кровь сцедили. Из

благих побуждений, да...

- Да кто ты...

- Никто, - на раскрытой ладони Таровицкой появился огненный шар. - Но сдастся мне, мы имеем дело с заговором.

- К-каким?

- С покушением на жизнь...

И недвижимость, которую ныне явно представлял собою князь. Лизавета бочком шагнула к постели, уж больно бледным выглядел Навойский. А наволочки с кружевами. На таких спать неудобно, тетушка тоже раньше все пришивала для красоты пушей, только после сама же призналась, что красота эта ночью колется.

- Да что они себе позволяют! - взвизгнула блондиночка, тряхнувши кудрями. - Явились... говорят тут незнамо что... Да гоните их в шею.

- Попробуйте, - Авдотья за револьвер хвататься не стала, просто по стеночке стукнула, и стеночка та задрожала. Выходит, тоже маг?

И земли наверняка, если камень так отзывается.

И...

- Кыш пошли, курицы, - сказала Одовецкая, - а то и вправду бабушке нажалуюсь. Отправят вас тогда переучиваться, что и не мешало бы, да больно средств государственных жаль...

- Государственные не потратятся. Учат за свои, - уточнила Лизавета тихонечко. А девицы кивнули, подтверждая, что именно за свои.

- Тогда и жалеть не стоит...

Они все же ушли. Удалились.

И наверняка лишь затем, чтобы после вернуться с подкреплением. Жаловаться станут, как пить дать... а еще целительницы.

Лизавета вздохнула и подошла-таки к кровати.

Князь дышал. И морщился во сне. И...

Одовецкая его ущипнула, он и рукою дернул.

- Рефлексы сохранились, чувствительность тоже... хорошо... очень хорошо, - Одовецкая похлопала князя по щекам. - Просыпайся...

- Ты же...

- Мало ли чего я сказала. Если б эти курицы были в себе уверены, то ответили бы, что заклинания разного вектора обладают способностью к взаимному поглощению, а оставшийся потенциал перераспределяется в заданных контурах.

- Не умничай, - Таровицкая огонь пригасила. - А ты иди, буди красавца...

- Чего это я? - Лизаветины щеки предательски полыхнули.

- А ему твои глаза нравятся. И вообще, видела? Будешь глазами хлопать, точно уведут. Целительницы такие как поисцелят, то вовек не расхлебаешь... - кажется, это она вовсе не про князя говорила. Но Лизавета предпочла сделать вид, будто не поняла ничегошеньки, впрочем, не она одна.

Как будят князей?

Колокольчиком?

Или подносом, на котором кофейник с легким завтраком, чтобы можно было прямо в постели? Или еще как-то? Лизавету прежде жизнь с князьями, тем паче заморенными этой самой жизнью, не сводила. А тут и смотрят все с немалым любопытством.

- Гм... просыпайтесь, - робко сказала она, дернув Навойского за палец, а тот, скотина этакая, даже не пошевелился, всхрапнул только и губами шлепнул.

- Нет, - со знанием дела произнесла Авдотья, устраиваясь в кресле у окна. - Так оно не выйдет. Ты сказок не читала? Целовать придется.

- Почему это? - Таровицкая как ни в чем не бывало заняла второе кресло, скинувши на пол несколько крохотных подушечек.

- Спящих красавиц только поцелуями будят.

- Так то красавиц...

- Хватит уже, - Одовецкая укоризненно покачала головой. - У него просто сон глубокий, а вы смущаете...

- Его смутишь, пожалуй...

- Не его...

- А она, если сильно смущаться станет, так в старых девах и останется, - отрезала Авдотья и, поднявши в ладонь фарфоровую безделушку, взвесила ее на ладони.

- Ничего страшного, - Лизавете с грустью подумалось, что участи старой девы ей в любом случае не избежать. Проснется князь сейчас или позже, да только... Кто он?

И кто она?

Вот именно...

Авдотья взвесила безделушку, а после как запустила в кровать, гаркнув:

- Подъем!

Князь и вскочил.

Кубарем скатился с кровати, лоб едва не расшибши. И, вставши на четвереньки, закрутил головой, заворчал...

- Ты сдурела? - поинтересовалась Таровицкая.

- Папенька мой порой обходы делает. Иногда попадают несознательные личности, которые спят на посту. А тут только так понять можно, сам заснул или заклятье какое наслали.

- Этак и заикой сделать можно, - Одовецкая подала князю руку, но тот лишь упрямо головой мотнул и, вцепившись в кровать, поднялся на колени.

После и сел.

- А мы вот... - Лизавета прижала ладони к щекам, надеясь, что хоть так уймет пожар их. - Мы к вам в гости пришли...

- Вижу, - мрачно сказал Навойский.

А быть старой девой, если разобраться, не так уж плохо... кошки, вышивка и сплетни с соседями. А главное, никаких тебе грозных князей, которые смотрят так, будто прямо тут казнить станут.

Он не спал.

Вернее, это не было похоже на сон, скорее уж на оцепенение. Димитрий еще держался, когда прибыли целители. Кажется, требовал, чтобы сперва они Святозару помогли.

И Асинью отправил приглядывать.

Или сама она ушла?

После князь отключился, чтобы очнуться уже в собственных покоях, где стало на редкость душно. Пахло ванилью, а его трогали, ворочали. Хоть бы кто напоить догадался, можно и не водой. Головная боль окрепла, разлилась, вытеснивши способности чувствовать хоть что-то.

Его раздели. Уложили.

Опутали коконами заклятий, погружая все больше в то прежнее оцепенение. Он слышал голоса...

- Папа велел присмотреть... и присмотреться, - женский и незнакомый, вызывающий очередной приступ боли. - Навойский неплохая партия...

- По-моему, он пока пациент, и это не совсем этично.

Голосов было много. Они то спорили. То соглашались друг с другом, а главное, не желали оставить Димитрия в покое.

А уже потом появились другие. Он ощутил прохладную ладонь на лбу и силу, от этой ладони исходящую, и стало легче дышать. Он и задышал, а потом вдруг что-то ударило по лбу и грозный голос велел вставать.

Димитрий подчинился.

И он ненавидел попадать в ситуации преглупые, а ныне, стоящий на четвереньках, окруженный девицами, которые разглядывали его с немалым любопытством, Димитрий чувствовал себя на редкость глупо.

- Знаете, - сказала Авдотья Пружанская, которая целиком в папеньку пошла, пусть и был генерал Пружанский невысок, полноват и с виду мягок, как свежий каравай. - А мы тут с просьбой...

И потупилась.

Димитрий тряхнул головой, пытаясь отделаться от боли.

- Нам бы Стрежницкого повидать...

- З-зачем?

- Просто...

- Обойдетесь, - он был зол.

- А я говорила, - заметила Таровицкая, - что целовать надо. Целованные мужчины куда добрее нецелованных...

- Это ты по личному опыту судишь? - Одовецкая не удержалась от шпильки.

- Куда без него. Когда маменька на службу отъезжает, с папенькой и говорить невозможно, а вернется, поцелует, глядишь, и опять человеком становится...

- Я не ваш папенька, - пробурчал Димитрий, кое-как подымаясь. Вспомнилось, что вид у него на редкость неподходящий для встречи гостей.

Тем более таких.

Рыжая вот смотрела.

С укоризной.

С обидою непонятной. И на что обижалась? Сама ведь пришла, а что он взопревший, в рубахе мятой, которая к коже прилипла, так Димитрий не виноват... и...

- Я знаю, - Таровицкая вздохнула и пожаловалась: - А нас тут в убийстве обвинить пытаются...

- Не удивлен, - Димитрий понял, что до ванной комнаты, где должен был быть халат, он не доберется. И вовсе не сумеет пока и шагу сделать, потому как ноги не слушаются. Шелохнешься, равновесие утратишь мигом и полетишь тогда рожею да в пол.

- Мы не убивали!

- Удивлен.

- Я не убивала, - наконец заговорила рыжая. - Я его оглушила только... и связала, чтобы не убежал. А когда вернулась, он уже мертвым был. Он говорил про бунт и... вообще смуту... и...

Она запнулась, замолчала и покраснела так премило.

А Димитрий вздохнул.

Что за жизнь? Поболеть и то без трупов не дадут.

- А ваш заместитель, такой кучерявенький, - Таровицкая покрутила пальцем у виска, - решил, что

Лизавета его убила...

- Его, между прочим, отравили, - вмешалась Одовецкая.

- Заместителя? - не без надежды поинтересовался Дмитрий, правда, сбыться оной было не суждено.

- Газетчика!

Плохо.

Отвратно просто... газетчиков убивать никак не можно, ибо вони поднимется... небось сразу заговорят про невинные души и кровавый режим, который борцов за всеобщее народное благо душит.

Ну или травит.

Объявят мучеником, тут и думать нечего.

- Рассказывай, - Дмитрий ткнул пальцем в кресло, а сам попытался сделать шаг, но удержался на ногах с немалым трудом. - Твою ж...

- Это скоро пройдет. Остаточный паралич, - Одовецкая сдавила пальцами запястье. - Вам стоит пока присесть. И вообще, вы понимаете, что с вашим образом жизни вы не то что до ста, вы до пятидесяти лет не дотянете? Вы истощены...

Все же целителей Дмитрий недолюбливал.

Занудны они.

- А может, - он поморщился, но силу, которую вливали - прохладную, мятную, - принял, - вы все же Стрежницкого навестите... проверите... заодно и подлечите...

- Так вы ж возражали? - Авдотья поднялась первой.

- Передумал...

- Экий вы передумчивый. - Таровицкая тоже встала и, расправив юбки, произнесла: - Полагаю, у вас хватит совести о Лизавете позаботиться? Она точно никого убить не способна...

Глава 11

Его было жаль.

Вот нельзя мужчин жалеть, это Лизавета давным-давно усвоила. Не любят они того. И вовсе злятся. А потому жалость к ним надобно скрывать, а лучше и вовсе делать вид, будто все в порядке.

Но князя все равно было жаль.

Какой-то он... неприкаянный.

И девицы эти... бестолковые. Подушек кружевных натащили, а переодеть не переодели.

- Может, - когда все вышли, в комнате стало тихо-тихо... - вам помочь до ванной добраться? А то ведь...

Взъерошенный.

И волосы темные слиплись прядками. Одна ко лбу приклеилась. А на щеке щетинистой красный отпечаток кружева...

- Я... пожалуй... сам... - он сделал шаг и замер, к себе прислушиваясь. А Лизавета встала. Не хватало еще, чтобы из-за гордости своей, которая нынче с глупостью граничит, он упал. Этого точно не простит... нет, не падения, а того, что Лизавета его видела.

- Сам, - согласилась она, подставляя плечо. - Конечно. А я так... просто...

Заворчал. Насупился.

Как дите малое, ей-богу. А еще князь грозный, страх Божий и все прочее по чину... за уши его бы оттащить да в угол на горох поставить, пока не осознает, что невозможно себя загонять вот так.

- От воды станет легче, - зачем-то пообещала Лизавета. - И... может... я не хотела вас будить. Просто мы беспокоимся.

Он ступал осторожно и старался на Лизавету не опираться, но его все одно покачивало. И наверняка это было на диво неприлично, если кто узнает, то репутация Лизаветина...

Леший с ней, с репутацией. Нужна она старой деве как собаке дудка. Зато хоть вспомнить что будет.

- Не стоит, - неожиданно мягко произнес он. - Вам бы вовсе... уехать...

- Куда?

- На воды.

- Зачем?

- А зачем туда все ездят? - князь остановился, переводя дыхание.

- Не знаю. Я ни разу не была.

- Вот... надо исправить...

И смотрит этак с насмешкой.

- Исправлю. Как-нибудь потом...

Когда сестры доучатся, а тетушка, избавившись от груза забот, воспрянет. Глядишь, и сердце ее заработает ровнее. А то... конечно, Одовецкая не подруга, тут и думать нечего, слишком далека она от Лизаветы, но если она переселенцев лечила, может, и тетушку глянуть не откажется?

Ее, конечно, смотрели, но те целители явно не чета Одовецкой.

Решено.

За спрос ведь не спросится...

И тогда, глядишь, случится чудо. А где одно, там и другое. Они отправятся на эти растреклятые воды. Снимут маленький домик у моря. Будут гулять каждый день вдоль берега, разглядывая других приезжих, обсуждая наряды их и далекие столичные новости.

Да.

Это будет хорошо.

- Потом... - Димитрий оперся рукой о стену. - Погоди, рыжая, я сам тебя отвезу... потом.

- Хорошо, - не стала спорить Лизавета.

К чему больному человеку настроение портить? А сказка... и большим девочкам их хочется. Только в любой сказке надобно меру знать.

- А еще сказывают, - старик огладил ладонью бороду, которая была бела и обильна и вид старику придавала преблагостный, - что самая верная примета - небо кровавое. Как вспыхнет над Арсинором, так и быть беде...

Слушали его со всем вниманием.

И ковш поднесли с крепким ядреным квасом, и хлеба горбушку, а к ней луковичку красную, которую старик куснул, не поморщившись даже. Зажевал, закусил хлебушком и вновь квасу отпил.

- Стало быть, встают нелюди, желая род человеческий извести под корень...

Где-то заплакал младенчик, всхлинула баба какая-то дюже чувствительная, а Мишанька, прозванный Хромым, подумал, что надобно с этой ярмарки поворачивать. Вон и женка бледная сидит, и детишки притихли, уцепились за материну юбку, только глазищами хлопают.

В путниковом доме было чисто.

Тараканы и те показывались редко, ибо хозяйка местная знала: только попусти, и мигом расплодится проклятое рыжее племя. Оттого и гоняла, что тараканов, что постояльцев, ежели последним вздумается чистоту рушить. И, зная крутой ее нор, а также порядки заведенные, многие предпочитали останавливаться в домах иных, попроще.

Там и пива нальют. И стопку поднесут.

А что солома воняет и крысы под ногами бегают, так рабочему человеку того ль бояться? А вот Мишанька у Захватской останавливаться любил.

Пахло здесь хорошо.

Лавки были чистыми. Соломенные тюфяки свежими. Ни клопов, ни иной погани, разве что тараканы, так от них поди-ка избавься... Правда, ныне у Захватской было людно. Оно и понятно, ярмарка ко дню наследникова тезоименитства - это не просто так. Вот и тянулся народец со всех концов империи, вез товар свой.

И Мишанька привез.

А заодно семействе прихватил свое, чтоб и в столичных церквах помолились, и на параду глянули, которая всенепременно, сказывали, будет. Авось свезет и самого царя-батюшку покажут. Вон Маланья даже платок новый расшила.

Правда, теперь сомнения одолевали Мишаньку: не развернуть ли телеги?

Товар... товар - дело такое, завсегда покупателя найдет, а коль и нет, то шкура собственная всяко дороже.

- И польется кровь по улицам, а нежить клятая хохотать станет! - завершил старик, подбирая пальцами колючие крошки. - И только одно люди честные христианские сделать могут: потребовать от царя, чтоб гнал он змеюку свою, а иначе быть беде...

Зашумели мужики.

А Захватская тихо сказала:

- Шел бы ты, старый, со своими разговорами.

Как ни удивительно, а спорить старик не стал, поднялся, клюку подобрал да и направился к выходу шаркающей походкой.

- Что творишь, хозяйка! - попытался заступиться кто-то. Да только Захватская, пусть и вдова, спуску никому не давала. Полотенчиком хлестанула и, обведши взглядом честное собрание,

произнесла:

- Чего творю? Дури не даю плодиться. Ишь ты, чтоб в доме моем...

- Правду же...

- Правду? Какую правду? Давно ли ты, Полушка, с голым задом ходил да побирался? А тепериче вон коняшку завел, на ярмарку ложки свои возишь. А будет смута, заберут у тебя коняшку, и ложки свои с голодухи грызть станешь, если забылся... Что, память поутратили?

Глаза ее покраснели.

- Небось привыкли уже... А ты, Заверзя, когда твоя младшенькая прихворнула, куда потащил? В цареву лечебницу? Или вот Анфимка...

Многих она знала, со многими говорила, и люди слушали, кивали, отходили, сами себе удивляясь. Жена и та отмерла, дернула Мишаньку за рукав, поинтересовавшись тихо:

- Авось обойдется?

Он же, прислушавшись к себе - вот у матушки евоной чутье было особое, почти собачье, - покачал головой: нет, не обойдется.

- Жалко-то как...

Жена от жалости всхлипнула даже, и тут же за нею зашморгали носами детишки. Только не помогло. Не поедет Мишанька на ярмарку, будет другой год, другие именины, глядишь, поспокойнее. А зерно и в Завязцах сдать можно.

- В Кульбици, - решил он сам для себя. - Там тоже ярмарка, недалече, туда завернем... По платку куплю. И по петушку сахарному, а будете тихо себя вести, то и орехов в меду дам...

Лучше уж на орехи потратиться, пушай порадуются малые, а то ж оно непонятно, как еще эта жизнь да сложится. Надобно будет на болота прогуляться, старые схроны проверить, не обветшали ли. И землянку вырыть, может, и не пригодится, но...

Береженого и Бог бережет.

- Доколе, товарищи, спрашиваю я вас, будет чиниться эта несправедливость?! - очкастенький паренек влез на бочку и оттуда потрясал кулаком. Кулак был тощенький, но гляделся паренек грозно. - Доколе сатрапы будут пить кровь народную?! Радоваться вашим бедам?!

Народец, сперва не особо слушавший - вещали на Бальшинском заводе частенько, - загудел. Анфимка чуть отодвинулся, локти растопырил, выбираясь из толпы.

Ишь ты, обе смены стоят.

И мастера, вместо того чтоб охрану кликнуть, шеями крутят, что гусаки. Стало быть, уплочено... или и сами слушают? Может, и так. У Ефиминюка на хозяина обида крепко зреет за то, что сыну в станке руку порезало. Целитель ее отнял, мог бы и срastить, да только хозяин платить отказался, мол, сам виноват, полез, куда не просят.

И денег не дал.

Жадноват Туревский, что тут скажешь. Народишко берет любой, нормальные мастеровые у него не задерживаются, потому как понимают, что за каждую копеечку Туревский и вправду три шкуры снимет, а то и все четыре. Вот и ищут места иные.

Туревский же злится.

И Ефиминюк бы ушел, когда б не контракта на двадцать годочков. Старшенького учить брался, ага... толку-то... сын доучился и сгинул в степях, ни слуху ни духу, а бумага осталась и удавка с нею на ефиминюковской шее.

Нет, мастера Анфимка жалел. Понимал.

И других тоже... только попадаться с ними не собирался.

- Посмотрите на себя! Оглянитесь вокруг! Все, что вы видите, создано вашими руками! Или руками собратьев ваших по труду! А те, кто ныне мнит себя хозяевами, я вас спрошу, что сделали они?!

- Ходьма отсюда, - шепотом сказал Анфипка мастеру, и тот вздрогнул, взглядом полоснул и отвернулся.

А сказывали, младшенькая у него чахоточная.

- Ходьма, ходьма, - Анфипка ухватился за рукав кожанки, потянул за собой. - Скоро драка будет, нечего нам в ней...

- Трусишь? - неожиданно зло поинтересовался Ефиминюк.

- А то... - Анфипка моргнул. - Я ж махонький, затолкут и не заметят. И тебя затолкут. А коли нет, то хозяин после спросит...

- И что? - А глаза-то черные, дурные, никак вновь горе приключилось.

Вот же... беда-беда, иные дома стороной обходит, а к другим вяжется. Привяжется, да так, что после и не отвадишь.

- И ничего, - примиряюще сказал Анфипка. - Посадит он тебя. А оно тебе надобно? Или семье твоей... вона, молодшенькую лечить надо.

- Как?

- Обыкновенно... слышал, что на пустошах было? Там сама целителей отравила и всех исцелила. Чахоточных тоже.

Ефиминюк выдохнул судорожно и увести себя позволил. Вовремя. Сзади раздались свистки, стало быть, охрана все ж заметила непотребное. Сейчас попытается добраться до болезного на бочке, только рабочие злы. Хозяин нормы поднял, а денег платить меньше стал, многим едва-едва на еду хватает.

- Надобно к целителю хорошему обратиться... и не зыркай... я тебе говорю... приходи ко мне вечером, поговорим.

- Что толку говорить...

- Это если двоим, то толку нет, а вот если сести. Пустим шапку по кругу, глядишь, и наберется хоть сколько-то...

Кто-то кричал.

Что-то падало, громыхало - драться на заводах умели и любили. Раздался протяжный гудок, созывая смену. И стало быть, скоро будет еще веселей, только от этакого веселья Анфипка предпочитал держаться в стороночке.

- Не люблю я так...

- Любишь аль нет, дело пятое, - сказал он рассудительно. - Тут не о гордости думать надобно, а о детях. И со средним, глядишь, чего скумекаем. Живут безрукие, и безногие, и безглазые... и всякие люди живут. И ему надобно научиться. И научится, небось парень неглупый. Зазя ты его в университету не пустил...

Мастер лишь вздохнул. Анфипка же, рукав выпустивши, продолжил:

- Сколько тебе еще осталось?

- Два месяца...

- Вот отбудешь и найдешь другое место. Тебя вон Бахтины давно зовут, даже контракту перекупить, слышал, готовы были... Заживешь человеком. Если продержишься. Продержишься? Вот и ладно. А вечером приходи, поговорить и вправду надобно. Неладное затевается.

На Суходольном рынке всякого водилось. Торговали тут и домашнюю птицей, и скотом, который били и разделявали тут же, на радость сворам местных одичалых собак. Парное мясо кидали на выскобленные доски прилавков, над которыми висели пучки полыни. Впрочем, от мух они помогали слабо. Чуть дальше тянулись рыбные ряды.

И скобяные.

И впрочем, всякого товару тут имелось, большею частью копеечного, ибо почтенные купцы

заглядывали на Суходольный рынок редко. Да и что тут делать, когда по одну сторону рынка выстроились дома доходные, правда, старые, почитай развалившиеся. Квартирки, некогда просторные, ныне перегораживали – когда досками, когда ширмами, а когда и вовсе веревками с постельным бельем. С другого берега рынок подпирали хибары, где ютился люд диковатый, погрязший в нищете и оттого злой. Некогда, правда, старались Суходольщину причесать, пригладить, даже торговую лавку в два этажа возвели, но в первую же ночь на ней витрины побили камнями, а спустя неделю и вовсе подожгли, невзирая на заклатья и защиту особенную. Городовые и те на Суходольщину заглядывали редко, лишь по превеликой надобности, соблюдая с местным людом взаимный нейтралитет. И ныне он был нарушен.

Человек, забравшийся на бочку, был в меру пьян и в меру мят, аккурат чтобы не выделяться. Алая шелковая рубаха пестрела многими пятнами, штаны зияли свежее дырою, а вот сапоги были хороши, хромовые. И местечковая шпана заприметила их, оттого и окружила пьяньего, полагая, что будет неплохо довести доброго человека если не до дому, то хотя бы до подворотенки тихой, уютной, аккурат такой, где и отдохнуть можно. А кто ж в сапогах отдыхает-то?

– Люди добрые! – пьянчужка вскарабкался на бочку, а с нее и вовсе на широкий каменный карниз, оставшийся, как и первый этаж, после пожара, лишившего Суходольщину аптекарской лавки. – Послушайте, люди добрые, что творится-то!

Голосок у него был заунывный, неприятный, и люди остановились.

– Давеча иду я и слышу, будто кто-то говорит: «Окстись, Егорушка, оглянись вокруг! Погляди, во что мир божий превратился...»

Две толстые старухи перекрестились, закивали, признавая, что прав ирод, не тот нынче мир стал.

– А все почему? Потому что люди добрые слово Божие отринули! Признали над собой не сына человеческого, как то издревле заповедано, но нелюдь! Змею в обличье человеческом...

Шпана переглянулась и отступила.

На всякий случай.

А то после объясняй околоточному, что к речам крамольным отношения не имеешь, но только стоял рядом, сапоги выглядывал. Сапоги-то пускай и ладные, а каторги все одно не стоят.

Старухи же закивали чаще.

И иной люд подтянулся. Что поделать, жизнь на Суходольщине была бедной не только на деньгу, но и на события. А потому взглянуть воочию на смутьяна многим любопытственно было.

– И явилось мне видение! – мужичонка вдруг распрямился, дернул себя за рубаху, та и развалилась пополам, только бабы охнули, вещь хорошую жалея.

Впрочем, охали недолго, ибо под грязной шелковой рубахой оказалась другая, из простого сурового сукна шитая. Вытащил ее человек, перепоясался веревкой и продолжил. Куда только пьянчужка прежний подевался?

Стоит уже на бочке монах не монах, но всяко человек серьезный, которому и поклониться спина не обломится. Вот и кланялись. А он крест вытащил, целует прилюдно.

– Вот как сейчас вас вижу, так и ее увидел... Богородицу с младенчиком на руках... стоит, слезы роняет... одна прозрачная, другая – кровавая. И гляжу, и понимаю, что по нам всем Матушка Небесная, Царица Всевышняя, плачет... что за души наши пропащие молится, как и я вас помолиться прошу...

Кто-то на колени бухнулся.

А человек заговорил быстрее, жестче. И казалось, слова его полетели по-над рыночную площадью, обрывая и вялую торговлю, и грызню промеж людьми, собаки и те попритихли, будто почуяли неладное.

– Сказано мне было: «Идите и исправьте все, ибо иначе быть беде! Разверзнутся недры земные и выпустят гадов числом сто по сто тысяч и еще двести».

Кто-то охнул испуганно.

Старуха руку к сердцу прижала, покачнулась, переживания принимая.

– И войдут они в дома людские, и пожрут всех, и старых, и малых, и винных, и безвинных. И не будет никого, кто спасется! Ибо сказано, что спасение человеческое – в руках наших...

- Что делать-то? - крикнули из толпы, а над головой говорящего будто венец из света зажегся, и всем-то стало понятно, что человек этот воистину велик.

- Делать?! А скажу я так! Отринуть страх! И взять в руки оружие. И идти. И попать гадину в обличье человеческого, не позволить ей ядом землю арсийскую отравить, ибо иначе наступят времена страшные. И мор пройдет, и глад, и всякий живой позавидует мертвым...

Городовой-то явился, но уже вечерком, когда люди попритихли, а давешний проповедник исчез, будто бы его и не было. Исчезнуть-то исчез, этому Авсюта Яковлевич только радый был, ибо в своем околотке этаких знаменьеведуших видеть не желал, да вот слово оброненное осталось.

О чем он и сочинил доклад. Подробный.

Правда, крепко сомневался, что с того доклада будет толк, а потому велел женке и дитям собираться. Сама давно к мамке просилась навеститься, вот пуцай и едет... а именины? Что именины? Без нее обойдутся...

Глава 12

В старых бараках, где некогда селились гуртовщики, погонщики и иной дорожный люд диковатого свойства и невеликого состояния, ныне было тихо. Разве что трещал костерок в железной бочке и подремывал над ним человек, которого на первый взгляд можно было бы принять за глубокого старика. Седые волосы его торчали из-под беретки, вываливалась клочковатая неопрятная борода, а вот лицо оставалось в тени.

- Скучно, - из полумрака, в котором утопали нары, выбрался еще один человек. Этот был молод и обряжен в одежду новую, даже несколько фасонистую. Поскрипывали сапоги с отворотами, а в пальцах мелькал ножичек. - Не, ну тоска смертная... может, пульку распишем?

- Ищи дурака, - старик сунул в огонь кочергу, поворочил угли. - Велено сидеть? Так и сиди... небось ты сидишь, а деньга капает...

- Кому капает?

Ножик-рыбка кувыркнулся в воздухе да и ушел по самую рукоять в земляной пол. Натоптанный, тот был гладок и на первый взгляд вовсе мог показаться каменным.

- Кому надобно, тому и капает, - из-под лохматых бровей недобро блеснули глаза. - Вона, глянь на других... отдыхают, пока время есть.

- Ага...

- А ты бестолочь.

- А то ж...

Молодой присел у огня, вытянул руки, будто бы греясь. В бараках и вправду было сыровато, сказывалась близость к реке. От сырости этой щипало в глазах, да и нос забивался почти сразу, но, с другой стороны, заказчик и то побаловал. Случалось сиживать в местах и поплоше. А тут, если разобраться, настилы имеются, некоторые даже почти и не гнилые, тюфяки соломенные, одеяла. Еду возят дважды в день... и ничего не просят.

Благодать.

Правда, Шкения от этакой благодати готовый был на стены лезть, но терпел, унимал строптивую свою натуру. Небось у старого Мороза не забалуешь. Про него еще тогда, на каторге, когда Шкения в поход зимний намылился, упредили, что Мороз не за так с собою молодняк тянет, что приглядится и, коль по нраву будешь, возьмет в ватагу, а нет... мясо в тайге никогда не лишнее. Тогда ему удалось и к Морозу прибиться, и коровой не стать. Правда, о том недалеко по сути времени Шкения старался не вспоминать и тайком даже в церкву заглянул, поставил свечу за упокой душ... надеялся, поможет.

А Мороз знай себе ворочает кочергу, думает...

И на что подписались?

Ребята, когда Мороз уходил, шептались, что будто бы дело-то простое, пошуметь, народец попужать, а после пустить огоньку в купеческие кварталы, благо и огонь им выдадут такой, чтоб полыхнуло знатно. И уже там, когда пойдет гулять петух да огненный, никто спрашивать не станет, пустыми дома горели или как еще...

Шкения сперва обрадовался, а после... недаром еще старый городской, светлой ему памяти, пока жив был, то и весь участок свой в порядке держал, и Шкению тоже, говорил, будто бы у Шкени чутье крысиное. Сперва-то обидным казалось, а после понял, это ж самая что ни на есть похвала.

Крыса - зверь осторожный.

И ныне чутье твердило, что не будет все так ладно, как им расписали. И пусть уплочено задатку по три рубля, да пропиты они и забыты давно. Прочие-то сидят спокойненько, лопают кашу, жиром заправленную, да добычу делят, еще не добытую, про приметы позабыв.

А Шкене беспокойно.

- Что? - Мороз протянул яблочко, которое Шкения взял не без опаски. - С Мороза бы случилось и кочергою по руке загребушей огреть. - Беспокойно?

И улыбается себе в бороду.

- Непокойно, - не стал отпираться Шкения. - На дурное подписать хотят... на... не знаю... только от тут, в грудях, свербится...

- Уйти хочешь?

А яблочко наливное, с бочком полосатеньким, чуть придавленным. И крошки табачные прилипли. Шкения поспешно головой замотал: знал он, как от Мороза уходят.

- От и верно... держись рядышком. И другим языком не трепи...

- Значит...

- Уговор есть уговор. Подрядились, надобно делать, а то ж честные люди не поймут, - Мороз протянул руки к огню. Поговаривали, что в первый свой побег с каторги он по молодости померз крепко, еле-еле магии откачали. Небось знали бы, кем станет, сами б добились. Как бы то ни было, теперича Мороз мерз даже в самую летнюю жару, вона, в шубейку старую укутался, только нос и торчит. - Запомни, дуралей, как бы оно ни повернулось, а заказы отработать надобно.

Шкения кивнул, в яблоко вгрызаясь.

Отработает.

Только... в гущу самую лезть не будет, лучше уж без добычи остаться, чем без головы.

- И... когда? - осмелился спросить он, раз уж у Мороза настроение разговорное случилось, то грех было не воспользоваться.

- Скоро... вот, почитай, как наследника поздравлять станут, так самое и оно...

Шкения подавил вздох.

В политику лезть не хотелось бы. Политические - народец дурной, бесноватый, можно сказать, и никогда не поймешь, чего у них в головах творится. Да только разве ж спросит кто, чего там Шкение охота?

Определенно. Отлынивать он не станет, но и вперед не полезет... ни за какие такие яблоки.

Мороз, будто догадавшись про этикие, вора честного недостойные мысли, лишь головой покачал: мол, что с тебя, дурня, взять.

Верно.

Ничегошеньки.

Стрежницкий к госте отнесся настороженно.

- Живой? - поинтересовалась Авдотья для порядку.

Стрежницкий кивнул.

И глаз потер.

- Все-таки по рукам дам... - она устроилась в единственном креслице, огляделась и сказала: - Как-то тут... неудобно.

- Тюрьма же.

- И что? Тюрьма тюрьмой, а половички могли б и вытряхнуть. Картину повесить какую...

- Стрелецкой казни?

- Все шутишь? - с легкой укоризной произнесла она. - Небось как самого на эшафот поведут, тут тебе не до смеха будет.

- От когда поведут, тогда и заплачу, - Стрежницкий ногу за ногу закинул, что далось нелегко. И то ладно, он хотя бы сидит, а не на карачках ползает или в перинах помирает, как в прошлый раз.

Вот чего он не любил, так это выглядеть жалко.

- Она тебя убить пыталась, - Авдотья разглядывала его и не морщилась, и только от внимания этого становилось слегка не по себе. - Девушка эта. Иначе зачем тебе ее убивать?

- Может, оттого, что я сволочь кровожадная?

- Это тебе кто сказал?

- Это все говорят.

- Не верь, - она отмахнулась и мягко спросила: - Очень чешется?

- Очень, - Стрежницкий даже руки за спину убрал, потому как после этого вопроса зуд сделался вовсе невыносимым. И главное, свербела не глазница, а внутри, и потому хотелось неприлично сунуть палец в дыру и почесать, что было бы не только неразумно, но и, как он подозревал, довольно-таки опасно.

- Терпи.

- Терплю.

Она поднялась, подошла и встала рядом, осторожно коснулась волос. И это прикосновение было до того неожиданным, совершенно неправильным, что Стрежницкий замер.

- Я целитель так себе... но могу позвать Одовецкую. У нее наверняка что-то есть, чтобы не зудело. Хочешь?

- Хочу.

А она с места не сдвинулась.

Красивая.

Пожалуй, прежде он не замечал, до чего она красивая... да и вовсе не смотрел на нее как на женщину, благо иных хватало, попроще...

Понятней.

А тут дочка старого приятеля... диковатая, по столичным меркам и вовсе чистая варварка. Верхом носилась по пустошам местным, женского седла не признавая.

Лис пугала.

Тетеревов стреляла. Она вовсе стреляла отменно, вспомнилось вдруг, как Пружанский хвастался, что без промаху бьет... он сына хотел, вот и вырастил. Правда, в женском обличье.

Слишком уж женском.

- Бестолочь ты, - вздохнула Авдотья. - Помираешь и помираешь... помер бы, я бы, может, и успокоилась... а так... никаких нервов не напасешься.

И за волосы дернула. И отступила, будто дразня.

Надобно гнать такие мысли дурноватые. Пружанский не простит интрижки, а на больше... ей кто-то другой нужен, чтобы и деньги, и титул, и совесть, что важнее. А Стрежницкий как был паршивой овцой, так ею и останется, теперь уже не переделаешь.

- Помру, - пообещал он зачем-то. - Когда-нибудь...

- Только попробуй! - Авдотья показала кулак и всхлипнула. - Я папеньке пожалуюсь. И он тебя... он тебя с того свету достанет!

Зная Пружанского, можно было сказать, что и вправду достанет.

Почему-то это вдруг успокоило.

С Весницким, как выяснилось, получилось до невозможности глупо. Димитрий, перелистывая страницы, не мог отделаться от мысли, что нелепость этого случая достойна того, чтобы войти в учебники. Был Весницкий весьма охоч до девиц определенного поведения, причем по извращенному вкусу своему предпочитал он вовсе не молоденьких, но таких, которые постарше и подурней. Что уж влекло его в изъеденных франкской хворью шлюхах, Димитрий понять не мог, как ни пытался, однако же, как после выяснилось, Весницкий был завсегдатаем в прибрежных тавернах, где собирался самый цвет городского дна...

Пил. Играл. Выискивал себе развлечение на ночь. И платил щедро, это да... В тот раз что-то пошло

не так. То ли опиум оказался крепче обычного, то ли яду в ром плеснули, главное, когда потасовка началась, Весницкий не использовал силу, за что и был наказан: небось череп и магу проломить могут, не посмотрят, что сильный и рода древнего.

Тело нашли у воды, раздетое, разутое, лишенное даже белья. И опознать-то опознали по родовому клейму, а там уж завертелось. Виновных нашли и даже казнили, а род предпочел сделать вид, что ничего-то особого и не было.

Как не было в роду и девиц, ни по имени Катерина, ни по какому другому. Вернее, имелась, конечно, супруга Весницкого-младшего, а у нее две сестры, но обе пребывали в холодных стенах дорогого пансиона.

Его, конечно, проверят, но Димитрий подозревал, что ничего проверка эта не покажет.

- И что у нас есть? - Лешек перекатывал меж пальцами полупрозрачный белый камушек, будто молока капля застыла. - Есть моя тетушка, некогда чудом выжившая, а после сгинувшая. Она от престола отказалась, а Книга утверждает, будто детей у нее нет, хотя матушка говорила, что она была в положении, но, видать, не сложилось.

Камень замер, а лицо Лешека исказила гримаса.

- Книге стоит верить. Из других родичей только самые дальние остались. У них, может, крови и хватит, только наши не примут бритта... а они бритты и есть.

Димитрий раскладывал на столе карточки с именами.

Ужковские, которые, помнится, не раз писали письма, требуя вернуть их роду волынские вотчины, потерянные при Смуте, а после волей императора получившие новых хозяев. Тогда-то Ужковских полагали исчезнувшими, кто ж знал, что они при франкском троне убежище нашли, чтобы после с претензиями вернуться. И сейчас при дворе оживились. Женщин, правда, отослали, с ними и внук Ужковского на воды отправился - воды в нынешнем году zelo популярны стали. Сам старик с двумя сыновьями в Арсинор прибыл, но во дворец не явился, сказался больным. И не иначе, как для оплаты целителей снял со счета сорок тысяч рублей золотом.

Патриаршие - еще одно почтенное семейство, крепко новыми порядками недовольное. Пусть не из древних, но все одно родовитые, а государь с этой родовитостью считаться отказался. И Сеньку Патриаршего за буйный нрав и кабацкую драку, в которой он умудрился человеку череп раскроить, судили и приговорили к ссылке.

Эти во дворец являются, а еще привели с собой отряд наемников-австров, мол, личная гвардия и безопасности ради.

Куверецкие, Шамыржины...

Челобитная от почтенного купечества, на свои деньги нанявшего охрану подворьев, правда, вышло ее без малого несколько тысяч человек... купцы - народец ушлый, опытный и знают, что если полыхнет Арсинор, то и слободу их тихую заденет.

- И получается, что...

- А если незаконнорожденный? - поинтересовался Димитрий. - Их твоя Книга видит?

- Видит. Кровь - она кровь и есть, а все эти штуки с законностью придумали люди. Так отец сказал.

Ясно.

Вернее, неясно. Что бунт зреет, так тут оно понятно, и когда бунтовать станут, и даже имена крикунов, которые должны толпу поднять, выяснили. Только вот одно неясно, кто их нанял, то есть платили те же Ужковские с Патриаршими и прочими сочувствующими, но сами собой они бы не посмели.

Кто-то нашел недовольных.

Сумел договориться.

Вложил в дурноватые их головы мыслишки о бунте... и ведь поверили. Вон Ужковские, уж на что осторожны, прежнюю Смуту пересидели, только в землях ущерб претерпевши, а тут влезли по самое не могу. Стало быть, убедителен был тот, кто дело это затеял.

- Понятно... - Димитрий поскреб переносицу. - А если ее прячут?

- Кровь? - камешек в Лешековой руке растекся лужицей, а после собрался.

- Ее самую... смотри, ты знаешь, что Книга есть. Если имеется другой наследник, он тоже знает, что Книга есть. И тебе достаточно спросить...

- Если бы это было так просто...

Лешек потемнел лицом.

- Непросто, - согласился Димитрий. - Но и не невозможно. Он знал, что ты согласишься. Так мог ли знать, что она ответит?

Лешек задумался.

Он сел на ковер, скрестивши ноги, и принялся разминать камушек. Он то вытягивал его каменной нитью, то скатывал ее, то сплющивал...

Вздыхал.

И наконец покачал головой:

- Не знаю... я теперь понял, что не знаю многого. Отец ведь не должен был становиться императором. Он и до взрослых лет чудом дожил, и его не учили. А он, стало быть, не смог научить меня. И я просто не могу представить себе способ укрыться от нее. Она ведь на крови сделана, с кровью связана, и если бы способ был, неужели тетушка им не воспользовалась бы?

Он обернул каменную полоску вокруг мизинчика.

- Но, с другой стороны, она женщина, ей тоже далеко не все рассказывали. Я думаю, что если бы она родила ребенка и спрятала его, то... почему не спряталась сама? А вдруг бы отец решил проверить? Вдруг бы он к Книге спустился? Решился бы на то, что сделал я...

Димитрий молчал, не мешая другу. А тот, задумчивый, продолжал:

- Но Книга не ответит просто так. Она требует платы. И одно дело - платить за империю, а другое - за собственное любопытство... Нет, это лишено смысла. Если прятать, то и мать, и дитя. И она ведь жива сейчас. Правда, где-то в северных колониях обретается, полагаю, давно, да... И нет, Книге не важно расстояние...

Димитрий чуть наклонил голову.

Если бывшая цесаревна, не поверив, что братец не станет искать ее, сбежала в колонии, где, как известно, отыскать кого-то презатруднительно, то... что получается?

Ничего.

Детей у нее нет или она их спрятала... А смысл, если она и без того в колониях прячется?

Не выходит, и все-таки... все-таки что-то мешает поверить, будто нет других наследников. Должны быть... кто-то, кто пребывает рядом... небось выходец из колоний привлек бы внимание, значит, это кто-то другой, связанный и с Ветрицким, который что-то да знал...

- А что с Брасовой?

- Ничего, - Лешек моргнул. - А ведь и вправду ничего, она жива... Во всяком случае, Книга уверена в этом...

Хорошо это или плохо? Непонятно пока.

- И как она... увидела?

- Венчание. Мы венчаемся на крови, а эту связь так просто не разрушить. Книга знает. Она не вышла замуж вновь. Живет в Арсиноре...

И детей не имеет.

Или же...

- А что, если... - дурная мысль крепко освоилась в голове Димитрия, - спрятать можно лишь младенца? Сразу после рождения... если провести обряд... если...

- Зачем?

- А затем, что прятаться было безопасней... смотри, сперва Смута. И твоего дядьку убивают... его убивают, а ей позволяют уйти? Почему? Остальных-то не пожалели, ни старых, ни молодых, всех

вырезали, кто хоть как-то к вашему роду относился, а вот она укрылась. Пересидела, переждала. Сама она вполне могла и имя сменить, и внешность подправить. Затеряться... все ж ваша кровная метка слишком слаба, чтобы кто-то, кроме Книги, смог ее отыскать. А вот дитя - дело другое. Простейший обряд на родство - и пожалуйста, на них бы вышли. Полагаю, сперва она хотела спрятать ребенка от бунтовщиков, а после то ли испугалась, что твой отец захочет убрать угрозу, или что-то иное... Не смотри так, я пытаюсь выдвинуть хоть какую-то теорию.

Лешек кивнул, соглашаясь, что теория, даже хоть какая-нибудь, это очень и очень хорошо, просто-таки замечательно.

- Но ее кто-то нашел... Или она кого-то нашла? По воспоминаниям твоего же отца, она была не из тех женщин, которые могут просто взять и затеряться, разве что им самим это нужно. Если даже взять от обратного. Допустим, нет у нее никакого ребенка, тогда... она не появилась уже после Смуты, исчезла, будто ее и не было. Почему? Зачем ей скрываться? Напротив, она могла рассчитывать на покровительство твоего отца. На его сочувствие. И участие в жизни. Она не принцесса крови, чтобы бояться, что ею торговать станут. Напротив, она почтенная вдова, которую отец твой взял бы на содержание, не говоря уже о причитающемся ей наследстве. Думаешь, отказалась бы?

Из камня Лешек вылепил зайчика. Крохотного, с ноготок. И поди ж ты, вышло как-то, хотя у самого пальцы толстые, с виду неуклюжие. Даже лепленный зайчик в них бусиною смотрится.

- Сила, - пояснил Лешек, вытягивая полупрозрачные уши и окрашивая их в розовый. - Тренирую контроль.

Дело благое, но...

- И ты прав... ты всегда как-то умудряешься посмотреть не так, как я.

У зайчика прорезался крохотный нос.

И рот возник.

- Просто для одной лишь личной мести это все... для личной мести мятеж не нужен, а значит, и денег пошло бы куда меньше, - Дмитрий потер переносицу, потому что голова наполнилась болью, а ему еще с родителями покойной встречаться, убеждать, что милая их крошка не так уж мила, а Стрежницкий невиновен. Поверят ли? Вряд ли, скорее уж решат для себя, что Дмитрий приятеля выгораживает.

Как он нужен, зараза блондинистая.

- А она - единственная, кто мог бы родить ребенка и вырастить его. И как говорит твой отец, рассказать бы о многом... или не только рассказать. Вон Святозар знаешь сколько бумаги попортил? Магикам разбираться не один год, если не выживет. Мог бы дядюшка твой что-то этакое записать? Скажем, когда понял, что Смута - это серьезно? Представь себе...

Боль давила. Накатывала.

В носу зазудело, а рукам стало мокро, и Дмитрий вытер их о покрывало. Кровь, чтоб ее... целители опять волноваться станут, а старая Одовецкая, которая снизошла до него, грешного, не иначе как по внучкиной просьбе, исполнит свою угрозу и в сон погрузит на три дня.

Нет у него этих трех дней сна.

Быть может, потом, после... вот закончится безумие это, царица возложит корону на чью-нибудь голову, по сути своей неважно, на чью именно, потому как все равно остальные решат, что выбор несправедлив. Главное, после разъедутся, чтобы нового конкурса ждать, объявлено ж, мать его...

Будет смута.

Пролетит кровавое колесо по Арсинору и, даст бог, заденет немногих...

Войска готовы.

Маги предупреждены, церкви укреплены заклятиями, готовы принять и защитить, как никогда. Батюшки верно понимают, что надобно делать. С ними было тяжелее всего, попробуй-ка убеди помогать нелюди, благо митрополит толковый. Раздоры раздорами, но в своей семье, постороннему в них невозможно. Потребовал, правда, зараза этакая, чтобы свяга и по прочим церквам прогулялась, сняла с них груз замоленных душ...

- Смута. Какой-то городишко, в котором их держат. И не свободными, и не в цепях. Зима. Верные люди уговаривают бежать, потому как чувят неладное. А он все ждет, когда же объявят наследника.

И тут жена любимая сообщает, что в положении... Думаешь, он бы не рискнул?

- Бежать?

- С нею. Ради короны не стал бы, она ему не особо нужна была, а вот ради жены. Он уже поссорился из-за нее с родителями, выдержал немалый скандал в свете, отстоял перед митрополитом. Он навлек на себя этим браком гнев всех, кого только можно... Значит, любил.

Точно, закончится, и тогда... Димитрий уедет.

На время, само собой, ибо надолго Арсинок оставлять никак не можно. Но вот пару недель если... порталом и на море, не туда, правда, где протянулись вдоль берега курортные городки с их напыщенной роскошью и дурными привычками, бездельем, вечерними сплетнями и вечерними же танцами, где позволялось чуть больше, нежели в столице.

- А из любви и опасения... Вы все решили, что он убит смутьянами. А если они говорили правду? Если твой дядька действительно бежал...

- И не добежал? - Лешек посадил зайчика на стол. - Он был магом изрядной силы, военным, и если бы решил уйти, ушел бы. Полгорода положил бы одной своею силой... а ведь еще кровная была.

Та самая, которая вдруг подвела императора Николая. И его супругу.

И детей их, ведь царевен обучали не одному лишь вышиванию. Что говорить о наследнике? Но почему тогда они позволили себя убить? И не только они?

- Тогда он потратил свои силы, чтобы перекинуть ее как можно дальше.

- Неразумно отправлять одну беременную женщину на край света, - возразил Лешек. - Вот ты бы свою рыжую отправил бы?

- Она не моя!

- Ага... не твоя... будешь носом крутить, уведут.

- Кто? - настроение испортилось, тем паче носом крутить не слишком хорошо получалось. Но все равно... еще чего придумал. Уведут. Димитрий не позволит. Гроза он империи или хвост собачий, в конце-то концов?

- Да мало ли, - как ни в чем не бывало Лешек пожал плечами. - Тут же ж дворец, найдется желающих...

Димитрий фыркнул, но получилось неубедительно.

И вправду дворец.

И желающих изрядно. И главное, что есть такие, которые исключительно забавы ищут, вернее, аккуратно таких и большинство, это нормальные люди редко попадают, а потому надобно вернуться к делу.

Завершить. А после забрать рыжую и на воды отбыть.

- Она ведь, - Димитрий пододвинул снимок не слишком красивой, хотя, несомненно, интересной женщины, которая глядела прямо, с вызовом, - она ведь, если не ошибаюсь, была весьма либеральных взглядов.

А потому не могло ли случиться так, что Михаил погиб, но вовсе не так, как прежде предполагалось? Он собирался уйти, вывести молодую жену, которая, исключительно в теории, была беременна. У него хватило бы сил открыть портал.

Далеко открыть. А потом?

Бросать женщину в охваченной войною стране? Нет, он бы жизнь положил, но вывез бы ее, а потом... Что они вообще о Брасовой знают?

Она некрасива, но все признают, что очаровательна.

Умна. Иронична. Не считается с чинами, иначе не рискнула бы вызвать недовольство императрицы.

Не чурается риска и вызова, да и общественное мнение для нее мало что значит, в противном случае не было бы этого незаконного брака с цесаревичем при старом еще муже. Она точно знает, чего хочет. И вот вопрос: чего она хотела?

Спастись?

Вдвоем легче, нежели одной.

- У нее ведь не было мотива убивать мужа? - тихо спросил Лешек, который всегда распрекрасно умел читать мысли Димитрия, верно, слишком уж просты и незамысловаты они были. - Или...

- Не знаю... Смотри, когда исчез Михаил, император был жив и семейство его. А это пять царевен и наследник. То есть если бы встал вопрос о реконструкции короны, ее было бы кому принять. Полагаю, конечно, Михаила в его устремлениях поддержали бы многие, но... твой отец ведь сказал, что Михаил был весьма порядочен и от предложений отказывался неоднократно. Значит, у супруги его не было причин полагать, будто он изменит свои взгляды...

Не было.

Жесткое лицо. Острые черты. И такие смутно знакомые. Катерина... нет, времени минуло изрядно и для магички, тем более что в ней-то магии было немного, а значит, и старела бы она быстрее прочих.

- Михаил не бросил бы ее. Добраться до надежного места. Укрыть. В это поверю. А вот как бы он поступил дальше? Ты бы что сделал? - спросил Димитрий, и Лешек сцепил пальцы.

Ответ был очевиден.

- Отправился бы за ними... я бы сказал, что у моего дяди есть право погибнуть, коль ему так уж хочется, но прежде всего он обязан позаботиться о жене и детях. Тетушка, думаю, мужа не оставила бы, отец уверен, что они искренне любили друг друга, однако вот дети - другое... их бы доверили.

- Но ей... сугубо теоретически, ей эти дети разве были нужны?

И вновь ответ очевиден. Он прячется в уголках узких губ, на кончике острого носа. Он скрывается во взгляде и...

- Вышняя еще не собирает армию, но на юге неспокойно. Север и вовсе отказался признавать Временное правительство, потребовав вернуть государя. Центральные области по-разному, но единства нет. И это отсутствие единства дает немалую надежду, что смута вот-вот завершится. Ведь есть император и цесаревны... и сам род могуч.

Был могучим, пока его не выкорчевали крепкою рукой.

- А вот если их не станет...

- Слишком рискованно, - возразил Лешек. Ему тоже женщина на снимке не нравилась, и категорично, но он старался быть к ней справедливым.

Сомнительная привилегия королей.

- Рискованно, но если предположить... Ты говорил, что она была знакома с Аверьяновым, который позже стал председателем Временного правительства...

И годом спустя был повешен на площади в угоду бунтующим рабочим.

- А еще знала Сикухича и Вишневого.

Громкие некогда имена, ныне почти забытые.

- И не она ли обратилась с просьбой... взамен на небольшую помощь?

- Хватит, - Лешек оборвал эту нелепую фантазию. - Ты сам понимаешь, что доказать все это невозможно.

- Почему? - Димитрий перевернул снимок. - Надо лишь найти ее и спросить. Если она и вправду убила своего мужа, то не избежала бы метки. И может, именно из-за этой метки она и не рискнула показаться?

Обратная сторона снимка была желтою, некрасивой, как и сама эта история, в которую Димитрий почти поверил.

Глава 13

Лизавете выпало имя.

То есть всем они выпадали, но чужие ей были малоинтересны, однако сама жеребьевка неожиданно увлекла.

Комната.

Стол для игры в лото и карточки, которые девушки выбирали серьезно, вдумчиво, будто бы от самой этой игры что-то да зависело. Рассаживались они неспешно, а Анна Павловна не торопилась. Она сидела в кресле, держа на коленях холщовый мешочек с номерами.

- Между прочим, - произнес кто-то нарочито громко, - всегда полагала, что убийце место в тюрьме, а не во дворцовых покоях...

- Это вы, милочка, жизнь плохо знаете, - Анна Павловна потрясла мешочек. - Не говоря уже о законах.

Лизавета заняла место между Авдотьей и Снежкой, которая карточку держала на весу, еще и к груди прижимала, а взгляд ее вновь был рассеян.

- Но все знают, что Гнёздина человека убила!

- Все - это кто? - голос Анны Павловны сделался холоден, но девицы зашумели, зашептались, а Лизавета ощутила на себе неприязненные взгляды. От них захотелось под столом спрятаться, но она велела себе сидеть ровно.

Лист свой разглядывать.

И вообще...

Последнее испытание, как им сказали... Бал и после объявления, вручение наград и все такое, но...

- Она заманила несчастного в кусты, а после лишила жизни! - продолжала упорствовать темненькая девица, с которой прежде Лизавете не случалось пересекаться.

- Зачем? - полюбопытствовала Анна Павловна.

- Что значит - зачем?

- Мне показалось, что раз уж вы так хорошо осведомлены, то сумеете приоткрыть нам завесу и этой тайны, - Анна Павловна потрясла мешочек, и бочонки в нем застучали друг о друга. - Зачем этой девушке кого-то заманивать в кусты?

- И-известно зачем!

- Мне - нет...

- Затем, - темненькая покрылась пунцовыми пятнами, - затем, что... падшие женщины в кустах... чем они занимаются?

- За птицами наблюдают? - Анна Павловна чуть склонила голову. - Здесь водятся редкие виды. Скажем, камышовая овсянка. Удивительная птица... я сама, помнится, всю ночь в кустах просидела, чтобы ее услышать... Так?

Девица кивнула, и кто-то сдавленно хихикнул.

- Значит, баронесса увлекла в кусты неизвестного мужчину, желая поделиться с ним впечатлениями? Скажем... от пения камышовой овсянки. Да?

Темненькая часто моргала.

- А потом его убила... Почему?

- Н-не знаю...

- Точно не знаете? Или же полагаете, они поспорили... скажем, мужчина не разделил ее восторга, порой мужчины бывают на удивление бесчувственны, - насмешка стала откровенной. - И это так расстроило несчастную баронессу, что она не нашла ничего лучше, как убить его... Как? Застрелила?

- Н-нет...

- Задушила? Не стесняйтесь, нам ведь тоже любопытно...

Лизавета живо представила, как пытается удержать в руках толстую Гришкину шею.

- Н-нет... от-травила...

- Ага... отравила... какая коварная девушка... настоятельно советую держаться от нее подальше, а то вдруг вам тоже пение камышовой овсянки не нравится... Что ж, у кого есть номер двенадцать?

Взметнулось три руки, но первую была Алисия Трубовецкая.

И бочонок распался в ее руках на две части.

Тонкая бумажка.

Имя... Лизавете оно ничего не сказало, а вот Авдотья хмыкнула:

- Не повезло... знаю я его, премерзкий старикашка, зато плавильни у него отменные. Мастеров собрал самых лучших, платит им прилично, они и рады работать, пускай и дерет Буражский три шкуры. Он меня сватать пытался за своего старшенького, но я папеньке сказала, что в первую же неделю этому старшенькому мозги вышибу...

Снова бочонок.

И рук поднимается уже меньше, и Лизавете видится в этом страх, желание отсрочить неизбежное. Однако этот бочонок оказывается цельным, и сколько Петровская ни крутит его, не спешит распадаться. Она и на зуб попробовала, а после, плюнув, поставила на карточку.

Анна Павловна же достала следующий.

И еще один.

Бочонков в ее мешке было много, а имена попадались в каждом четвертом или пятом. Нет, порой они шли подряд, а порой, напротив, не выпадали долго, и Лизавета, которую тоже захватил тихий азарт лото, начинала думать, что особые гости закончились.

А потом имя выпало ей.

Стоило прикоснуться, и бочонок треснул, а на ладонь выпала махонькая бумажка.

- Иоганн Вольтеровский, - прочитала она вслух, чувствуя, как оборвалось сердце.

Он приходил к ним, тогда, еще в дом, который Лизавета искренне полагала своим. И этот дом был ему неприятен. Он не давал себе труда скрывать брезгливость и зажимал нос батистовым платочком, хотя в доме не воняло. Там никогда не воняло, матушка бы не допустила. А что запах сердечных капель кому-то неприятен, то...

Он был высок.

И неплохо сложен. Чувствовалась военная выправка, а еще привычка говорить снисходительно, будто всех, кто окружал его, Вольтеровский полагал недостойными собственной особы.

Глуповатыми. Суевливыми. Не такими.

Он держал этот платочек у носа и разглядывал Лизавету так, будто не мог решить, говорить с нею или же сделать вид, будто бы девицы этой, оскорбительно злой, смеющейся в глаза глядеть, вовсе нет.

- Триста рублей, - сказал он, вытаскивая из кармана чековую книжку. - Вам заплатят, если вы не будете подымать шума...

- Шума?

Тогда для Лизаветы все представлялось иным, невозможным.

Как поверить, что отец погиб?

Сильный. Надежный.

Вечный, казалось бы, а взял и погиб. И матушка слегла. Она болела и прежде, но как-то не всерьез, поправляясь быстро и...

Черная ткань на зеркалах.

Сестры, которые боятся из детской нос высунуть. Тетушка со слезами и солями нюхательными бродит по комнатам, будто призрак. Целитель щупает маменькины бледные руки, оттягивает веки и качает головой, повторяя:

- Что ж вы, милая, так... о детях подумайте...

Она почти ничего не ест, только воду пьет, и то когда Лизавета заставит. А тут этот, в костюмчике зимнем для малых визитов. Полосатое сукно. Две пуговички квадратные перламутровые. Из кармана цепочка для часов выглядывает, поблескивает алмазною крошкой.

На мизинце перстенок. И родовое кольцо-печатка на правой руке. Тонкие усики, будто карандашиком нарисованные.

- Триста рублей, - повторяет он, пожевывая губу. - За то, чтобы вы, милочка, перестали доставлять неприятности моим людям. Произошел несчастный случай. Ясно?

- Нет.

Это не было несчастным случаем. Лизавета знала.

Она спрашивала.

Сперва у папенькиных людей, которым он велел держаться в стороне, конечно, они ведь молодые, и вообще он никогда-то не перекидывал работу на чужие плечи, а тот паренек, перебравший вина и дурманного зелья, был всего-навсего работой.

- Милочка, - перед Лизаветиным лицом помахали чековой книжкой. - Ладно, я готов дать четыреста, больше эта мелочь все одно не стоит...

- Отец погиб.

А он не услышал. Он выписывал чек на комодике, который папа и восстанавливал. Лизавета ему помогала, ей нравилось работать с деревом, которое даже неживым отзывалось на ее силу.

- Убирайтесь, - сказала она неожиданно жестко.

Она была вежливой девочкой. Ее так учили. Но теперь все изменилось и...

- Убирайтесь, - повторила, глядя в серые глаза, в которых читалось легкое недоумение. - И поверьте, я добьюсь, чтобы этого ублюдка осудили...

Дернулась губа.

И Вольтеровский сказал:

- Дура... потом вспомнишь, сама придешь просить... только, деточка, просить надо вовремя...

И похоже, что он нашел, кому сунуть эти четыреста рублей, если дело вдруг закрыли, а отцовы люди отказались выступить в суде.

- Понимаешь, дочка, - старый Михляй отводил взгляд. - Его все равно уже не вернуть, да и не добьешься ты ничего. Купил наших, купит и судей... Небось хватит денег.

Исчезли одни бумаги, появились другие.

А свидетелей, которых было много, вдруг сделалось мало, и рассказывать они стали совсем иные вещи. И получалось, будто молодой маг был трезв и тих, тогда как...

Сволочь.

- С тобой все хорошо? - Авдотья потянула за рукав, заставляя сесть. - У тебя лицо такое, будто ты кого убить хочешь.

- Хочу, - согласилась Лизавета. - Очень хочу...

- И ладно. Скажешь кого, покумекаем...

- Над чем?

- Над тем, в какие кусты вести камышовку эту слушать.

- Овсянку.

- Один хрен... Главное, после тело убрать. Что? Нет тела, нет и дела - так папенька говорит.

Димитрию удалось отыскать Брасову. Это оказалось не так уж и сложно. Она жила в старом своем доме, доставшемся от первого супруга. Жила, точнее доживала, окруженная призраками прошлого и...

- Простите, - сестра милосердия выкатила кресло с сухонькой, сморщенной женщиной, колени которой укрывал вышитый плед. - У нее редко случаются моменты просветления. К сожалению, время никого не красит.

Это верно, а иных так и вовсе уродует.

Брасова постарела, но как-то...

Страшно? Жутко?

Лицо ее сморщилось, сделавшись похожим на печеное яблоко, и где-то в глубоких морщинах потерялись блеклые глаза. Губы сделались вдруг слишком коротки, чтобы прикрыть зубы и десны. Только руки, пожалуй, выглядели молодо.

Тонкие запястья.

Кисти изящной формы и тонкие пальцы, унизанные перстнями. Что ж, по виду Брасова не бедствовала.

- Это ты, дорогой? - спросила она низким грудным голосом, который вдруг закружил, опалил жаром. И показалось на долю мгновенья, что в немоющем теле этом скрывается...

Голос, стало быть.

Не кровь ли иная говорит, если тело одряхлело, а он, замороченный, остался?

- Поет она чудесно, - глаза сестры милосердия подернулись дымкой. - Жаль, редко получается уговорить...

А ведь амулетик, от воздействия защищающий, она носит, вон поблескивает камушками четырехлистный клевер на фартуке.

- Вы не возражаете, если мы побеседуем? - Димитрий сам взялся за коляску. Старуха сидела смиренно, спокойно, будто и не живая вовсе. - Я ее верну, обещаю...

А кровь на ней была, иначе бы не состарилась она столь быстро, даже с учетом слабого дара, и пахнет от нее нехорошо, гноем.

- Я не уверена...

Димитрий показал бляху, и сестра отступила. С ней тоже поговорят, выяснят, как попала в этот дом и часто ли в нем бывают гости. Димитрий полагал, что случаются, но вряд ли о них девушка вспомнит. Слишком долго она здесь, привыкла к мороку, притерпелась и поверила, что так оно всегда было.

Димитрий вывез больную в сад.

Запущенный, он зарос колючим шиповником и малиной, плети которой ложились на дорожки. Сквозь камень пробивалась трава, а редкие статуи заросли коростой.

- Я вот думаю, - сказал Димитрий, останавливаясь у беседки с просевшею крышей. Хмель оплел столбы-опоры, затянул провалы, свесился внутрь, в сырой полумрак. - Что вы притворяетесь.

- Ах, дорогой, я, право слово, не уверена, что следует к ним идти, все-таки у Нивязовых пресомнительная репутация. Аликс вновь будет тебе выговаривать. Ты же знаешь ее с ее порядками. Она совершенно не способна жить свободно.

Голос опутывал. Окутывал. Уговаривал расслабиться.

- Хватит! - Димитрий щелкнул пальцами, призывая огонь. Мороку тот не страшен, но самому Димитрию поспокойней будет. - Или я могу забрать вас для проведения дознания, сомневаюсь, что вам понравится в темницах.

- Совершенно верно, она порой невозможна, но ради твоего брата я пытаюсь сохранить с ней хоть какие-то отношения. Она придирается буквально ко всему! Давеча посмела заявить, будто мое платье неприлично...

- А еще, полагаю, император будет рад вас принять. Как думаете, он сумеет понять, что вы убили его брата?

Старуха вздрогнула.

- Сумеет, - сделал вывод Димитрий. - А раз так, может, объясните убогому, зачем вы это сделали? Ваш муж вас любил.

- Свою семью он любил больше.

Она моргнула, избавляясь от белым. Синие глаза глядели прямо и были ярки.

- А ты мне не грози... мне немного осталось, - она закашлялась и прижала к губам мятый платок, на котором проступили темные кровавые пятна. - Не боюсь я ни каторги, ни...

- Бояться, может, не боитесь, но... согласитесь, одно дело - умирать в подземельях, и другое - в родных стенах.

- Я эти стены ненавижу...

- Другие найдем, - миролюбиво предложил Димитрий.

По-хорошему, следовало бы отвезти старуху в допросную, а то и вовсе запереть в подвалах, доложившись императору. Пусть он ее спрашивает, только с нее станется играть в несчастную, ума лишившуюся, а таких не судят.

Он опустил на грязноватую лавку и развернул кресло, чтобы видеть лицо.

Из некрасивой женщины и старуха вышла так себе. Потемневшая кожа обтягивала нижнюю челюсть, на щеках собираясь мелкими складочками. Она сползала со лба, нависая над глазами, и казалось, что того и гляди скроет эти самые глаза, лишивши старуху зрения.

- Не нравлюсь? - А вот зубы сохранились все, белые, прямые...

- Фарфор? - Димитрий постучал по собственному клыку. - Уж больно хороши...

- Самый умный? - Старуха обиделась.

- Да нет, но просто любопытно, кто делал. Уж больно мастерская работа.

- Затокин, - не стала скрывать она. - Когда-то мы друг другу весьма симпатизировали. Ему на редкость не повезло с женой.

- Почему это?

Она привстала, опираясь на подлокотник кресла, махнула рукой, требуя помочь немедленно. И во всей ее фигуре ныне проступила эта давешняя привычка приказывать.

- Она всегда была на редкость занудным созданием... как же... целительница урожденная, древней фамилии... а он простого рода. Ему поддержка требовалась, которую он и получил. Что до остального... не ей с его характером справляться. Корова, даром что хороших кровей.

Старуха хохотнула неожиданно баском.

- Что вы на меня глядите этак с укором? Говорю же, мы были когда-то в близких отношениях. А многие мужчины почему-то обожают любовницам на жен жаловаться.

- Значит, любовник?

- Завидуете?

- Кому? - уточнил Димитрий, помогая старухе устроиться в беседке. Здесь было сыровато, гниловато и неудобно.

- Не важно, со стороны их брак казался вполне себе светским. Жена сидит в поместье, муж делает карьеру.

- Не думаю, что это важно...

- Отчего же... Вы знаете, что мятеж вспыхнул не из-за голода, как ныне полагают, а из-за черной лихорадки. Нижний город, где селится всякий человеческий мусор. Затокин частенько в нем бывал, говорил, что только там можно найти что-то по-настоящему интересное. К слову, он весьма сочувствовал революционерам.

- Ему это не помогло, - в душе появилось нехорошее такое предчувствие.

- Не все братья знали о роли, которую сыграл Затокин, да и... не они его убили.

- А кто?

- Таровицкий. Впрочем, вряд ли он знал правду, иначе не посмел бы... Затокину, можно сказать, повезло... Никто так и не понял, что он сделал.

- И что же? - От него ждали вопроса, и Димитрий не стал обманывать ожидания.

- Вы ведь задаетесь вопросом, во всяком случае, должны бы: почему несколько немалой силы магов позволили просто взять и убить себя? Почему они не защищались? Не потому ли, что не могли?

Сердце екнуло. Так... просто.

Затокин, которого полагали погибшим вместе с высочайшей семьей, придворный лекарь, человек доверенный, тот, на кого не подумают.

- Верно, - Брасова тоненько хихикнула. - Он знал, к чему идет, и хотел занять в новом мире достойное место, да и умирать кому охота, когда вся жизнь впереди? А уж смешать кое-какие травы... Он многое знал, милейший Затокин. Полагаю, он самолично напоил их тем треклятым зельем, которое разум дурманит, а силу... ее ведь тоже не так уж сложно запереть.

И никто бы не подумал.

Никто ничего не успел понять.

А старуха засмеялась:

- Знаете, на пороге смерти многое из того, что недавно еще казалось важным, напрочь утратило хоть какой-то смысл. Вот мы с вами беседуем, а завтра я умру. Или послезавтра, или... И никто не способен отсрочить этот миг - вот она, настоящая справедливость. А я ведь хотела немногого - просто жить... сорвите мне розу, окажите любезность... К слову, именно Затокин и познакомил меня с Мишенькой.

Глава 14

Она всегда знала, что отличается от прочих.

Сестры?

Матушкина радость. Тихи. Скромны. И косы укладывают бубликами, отчего обретают неявное сходство с овцами. Овцами они и были, покорными родительской воле и мужниным желаниям, неспособными на самое слабое движение души.

А вот Наташенька...

Она от рождения горела. Она чувствовала в себе истинное пламя, которое рвалось, требовало выхода, и матушка плакала. А старуха, которую Наталья почитала за приживалку, сказала:

- Никшни, радуйся, кровь таки очнулась.

Старуха была из древнего рода, впрочем, древность не удержала ее от глупости. Некогда, в годы молодые, она сбежала от найденного папенькой жениха, чтобы обвенчаться с подпоручиком. Тот был хорош, правда, как после выяснилось, красота да удаль показная являлись единственными его достоинствами, но... папенька принимать блудную дочь отказался наотрез.

Приданое тоже выплатил в урезанном размере.

А внуков своих и вовсе в родовую книгу вносить не стал, будто их и не было. Может, не простил, а может, просто видел, что внуки эти пошли в треклятого подпоручика, собою хороши, но пусты и безголовы. Она жила, тихо, исподволь управляя разросшеюся семьей, не позволяя той вовсе разориться, пока не появилась Наталья.

Старуха сказала матушке:

- Отстань от девки. Хоть кто-то тут не с жидкою кровью...

А когда сама Наташенька попыталась использовать проснувшийся дар, чтобы заставить надоедливую гувернантку на колени встать, попросту перетянула клюкой поперек спины.

- Не дури, - велела старуха, и голос ее был таков, что Наталья разом утратила способность управлять своим телом. Она по-прежнему ощущала и руки, и ноги, и зудящую пятку, которая сводила с ума, но вот пошевелиться... - Сила дана не для глупостей.

Плакать и то не получалось, хотя старуха не жаловала слез.

- И если у тебя не хватит ума понять сие, то я просто перекрою ее...

Внутри что-то сжалось, и Наталья поняла: в старухиной воле сделать так, как она говорит. Взять и оборвать тонкую пока ниточку...

- Страшно? - старуха заглянула в глаза. - А то... думаешь, ей не было бы страшно? Или другому кому?

- И пускай! - страх вернул голос.

А может, ему лишь позволили вернуться.

И старуха тюкнула клюкой по лбу, не сильно, но очень обидно.

- Пускай? - хриловато переспросила она. - Так-то оно так... только люди со страху порой страшные вещи же творят. Оно как выходит? Чего не понимают, того и боятся, а чего боятся, того и изничтожить спешат. Вот придушат ночью, будешь тогда знать...

И вновь Наташа поверила.

И даже несколько ночей не спала, ждала, когда скрипнет, приоткрываясь, дверь, впустит гувернантку давешнюю с подушкой вместе...

Глупости.

Тогда, в детстве, тени казались глубже, а люди - проще.

Старуха учила.

Не спеша, не особо считаясь с собственными желаниями Натальи, не говоря уже о матушкиных

стремлениях... Та старуху опасалась, правда, о страхе своем вслух не говорила, старалась держаться с должным почтением, тем паче что именно бабка семейными делами управляла, но все же...

- Люди в сути своей просты, - старуха любила гулять, а Наталье приходилось сопровождать ее. - И неважно, где живут они. Вот смотри, что крестьяне, что твой батюшка думают большею частью об одном - о хлебе насущном. Только хлеб у них разный. Кому-то довольно зачерствелой горбушки, а другой и от перепелов в меду нос воротит. Запоминай, первичные потребности годятся для того, чтобы через них достичь...

Она умела усилить голод. Или жажду.

И однажды заставила Наталью ощутить эту самую жажду, сводящую с ума, неутоляемую, на собственной шкуре. Старуха полагала, что чем жестче урок, тем лучше он запомнится.

Была ли права?

Как знать...

Она умерла, когда Наталье исполнилось восемнадцать. Старухе... одни говорили, что она давно разменяла вторую сотню лет, другие вовсе полагали ее вечною и всерьез говорили, что пройдет день-другой и старая карга поднимется из могилы, чтобы высосать десяток-другой честных людей...

Ее похоронили в семейном склепе, и матушка вздохнула с облегчением.

- Наконец-то, - сказала она, размашисто крестясь. И по взглядам, которые она бросала на склеп, Наталья поняла, что и матушка не отказалась бы вбить в иссохшее сердце осиновый кол.

На всякий случай.

Сама Наталья испытывала смешанные чувства. Нет, старуху было не жаль, все же характер у нее был на редкость склочный, да и привычка говорить, что думаешь, не добавляла к старухе любви, однако знания... сколько всего она знала.

Сколькому не успела научить.

И пусть оставила тонкую тетрадку, исписанную идеальным почерком, но... Наталья подозревала, что в этой тетрадке далеко не все. Упущенные возможности злили.

А матушка...

- Хватит тебе глупостями заниматься, - сказала она вечером после похорон. - Пора выйти замуж...

Мужа она подобрала себе под стать.

Не слишком знатного, но довольно состоятельного, что позволило изрядно урезать приданое. А что старуха оставила почти все состояние Наталье, так кого это волновало? Неужели кто-то в здравом уме позволит девице распорядиться этакими деньгами?

Тем более на них уже имелись планы.

Замуж Наталья пошла.

Будущий супруг оказался ей куда более удобным в обращении, нежели матушка. Он, человек одинокий, простой, всецело полагавший себя умным, на деле был весьма внушаем. А что еще надо?

Он увез Наталью в столицу.

Представил ее в салоне Легорской, где собирались самые видные люди Арсинора, и благоразумно отошел в тень, не мешая Наталье выстраивать собственную жизнь. Право слово, порой он напоминал о своем существовании, но лишь затем, чтобы, получив новую порцию внушения, всецело сосредоточиться на работе. К слову, сие ему лишь на пользу пошло, ибо этакая старательность и преданность делу не остались незамеченными.

Брасова повысили.

И повысили снова... и он, возможно, вполне скоро вышел бы в тайные советники, но...

Наталья встретила цесаревича.

Да, у нее были любовники, порой случайные - все же тело и кровь требовали страсти, но большей частью весьма и весьма полезные. Тот же Затокин, к примеру, исправил неправильный прикус, да и

вовсе новые зубы преотличнейшие вырастил.

И нет, не фарфор, вполне настоящие.

Вот-вот, целитель от Бога, а что не повезло родиться в семье простоватой, так никто не виноват. Он, как все мужчины, был излишне самоуверен, притом на редкость занудлив, особенно когда дело касалось его увлечений.

Чем занимался?

Признаться, она не вникала. То ли пытался отыскать универсальное средство от всех болезней, то ли изучал, как оные распространяются, то ли просто развлекался в муниципальных лечебницах. Это не так важно, гораздо важнее, что он познакомил Наталью с людьми совершенно особенного склада.

Нет, тогда никто не говорил о смуте.

Помилуйте, это небезопасно, да и к чему радикальные решения, когда достаточно реформ? И в маленьких салонах, куда допускались лишь избранные, а Наталья не без труда, но вошла в их число, обсуждались эти самые реформы.

Создание Думы. И свобода слова. Ослабление самодержавия.

Да, она тогда была молода и наивна, ей хотелось сделать что-то для своей страны. И она была не одна, это ведь естественное желание – оказаться на острие, стать частью нового мира, мира лучшего, избавленного от горя и болезней, от несправедливости и...

Ей было двадцать пять, когда она встретила Михаила.

И сперва она даже не знала, что он – великий князь. Просто салон. Просто вечер.

Музыка.

Разговоры, казавшиеся пустыми, и выражение скуки на породистом лице. Тогда это лицо привлекло Наталью правильностью черт, а мужчина оказался интересным собеседником.

Это не было любовью с первого взгляда.

Просто...

Уже потом, позже, она поняла, что наконец встретила человека, который ее достоин. А разве нет? Разве заслуживает она со своим умом меньшего? Красота? О нет, она всегда знала, что не слишком-то красива, по мнению многих, но это мнение ее не интересовало.

А вот задача была любопытной.

Да, Михаил был увлечен, но и только. Ей ли не знать, что эти увлечения не длятся сколь бы то ни было долго, однако если воспользоваться тем, чему ее учили... не внушение, отнюдь, все же он был достаточно опытен, да и защищен, что кровью своей, что несколькими кольцами охраны. А она не столь наивна, чтобы поверить, будто бы этого негласного присмотра нет.

И что им позволят...

Она действовала исподволь, с благодарностью вспоминая старуху... Как именно? Ах, это уйдет вместе с ней, благо ныне эти знания никому-то не нужны. Да и пришел Димитрий лишь затем, чтобы послушать историю о несчастной любви...

Почему несчастной?

А разве возможно, чтобы такая любовь была счастливой? Одно лишь тайное венчание чего стоит. Кто бы знал, сколько сил она потратила, внушая мысль о нем... Михаил был неплохим человеком, но излишне прямым. Он искренне желал жениться, однако для того требовалось получить развод. А Наталья была не настолько наивна, чтобы поверить, что этот развод ей так просто дадут.

Отнюдь.

Она знала: и Николай, и прочие воспротивятся этому браку, а значит, сделают все, чтобы не допустить его. И что уж проще запрета на развод, а там... глядишь, затянувшийся роман утомит обоих своей явной бесперспективностью. Михаил остынет в нелепой этой любви или же...

Нет, он, потерявший голову от страсти, рассказал ей о многом, в том числе и обряды на крови, а дальше... Провести его несложно, связав две души одной нитью, и высочайшему семейству, не

способному эту нить разорвать, останется лишь смириться.

И замять скандал.

Так и вышло. О да, ей выразили недовольство и Михаила отослали из Арсинора. Несколько лет на границе. Но это, право слово, такая малость. Кроме того, обиженный на родню Миша лишь сильнее сблизился с женой, которую искренне полагал единственным человеком, способным его понять.

Она же... Она потихоньку укрепляла эту связь, усиливая зависимость мужа от себя.

Когда появилась мысль о короне? Тогда?

Быть может... нет, поначалу не всерьез, просто... были разговоры, офицерский клуб, где все знают друг друга. Выпивка и некоторая вольность, допустимая лишь вдали от Арсинора. Кто-то обронил, что из Мишки император бы вышел куда лучше, нежели из Николая.

Его заткнули, но слово было произнесено.

И Наталья задумалась.

О муже. И о себе.

И по возвращении в Арсинор - а ни одна опала не длится вечно - ей не стало легче. Да, брак их признали, но не ее саму. И всякий раз, оказываясь во дворце, она остро ощущала неприязнь.

Скрытую. Брезгливую.

На нее смотрели с удивлением, с отвращением, с... неважно, главное, что все они, закрывшиеся во дворцовых стенах, полагали себя лучше ее. Они играли в гостеприимство, но меж тем не упускали случая уколоть, хотя и сами были далеки от совершенства.

- Вы, милочка, - сказала как-то престарелая княжна, разглядывая Наталью через лорнет, хотя никогда-то слабостью зрения не отличалась, - добились многого, но не стоит рассчитывать на большее... Кроме того, вы явно больны.

- Почему?

- До сих пор не потрудились подарить мужу наследника, - она криво усмехнулась и уточнила: - Ни одному из ваших несчастных мужей. А это довольно веский повод избавиться от вас...

- Развод...

- Помилуйте, кто говорит о разводе? Благо в империи хватает еще монастырей.

Лорнет убрался. А страх остался.

Ребенок... она думала о нем, желала, понимая, что ребенок укрепит ее положение, однако никогда всерьез не рассматривала собственную неспособность зачать как недостаток. Однако после этих слов вдруг вспомнились мужчины, все те, с кем сводила ее жизнь, и далеко не всегда она проявляла должную осторожность, полагая, что супруг ее примет дитя...

Принял бы, тот, первый. А нынешнему позволят усомниться.

Потребуют проверки.

Впрочем, все это не имело значения. Она больше не заводила любовников, но и не беременела.

Она обратилась к Затокину, наступив на горло собственной гордости, а тот не стал смеяться, как Наталья опасалась и даже готова была стереть ему память, если подобное случится. Но нет, он внезапно отбросил обычную свою маску человека несерьезного.

Он заставил раздеться и на сей раз был равнодушен к наготы ее.

Он заглядывал в рот.

Прижимал ледяные пальцы к шее. Слушал ее сердце, и не только его.

Слюна и кровь. И волосы.

И крохотный кусочек плоти, который от нее отщипнули - и, проклятье, это было действительно больно. Однако еще больнее был ответ:

- К сожалению, ты не способна иметь детей, - Затокин носил круглые очки, которые не портили его

лица, но, наоборот, придавали ему нужный вес. Честно говоря, Наталья подозревала, что исключительно ради этого он их и носит. – Твое тело недоразвито.

И это не было изощренным оскорблением.

О да, Наталье казалось, что природа одарила ее редкостным изяществом, хрупкостью, которая пленяла мужчин, а оказалось, это была обыкновенная незрелость.

– Твои женские органы, яичники и матка, незрелы, вследствие чего сомневаюсь, что ты в принципе способна к зачатию. – Затокин был правдив до боли. – Это интересный феномен. Я буду рад, если ты позволишь с тобой поработать.

Что ей оставалось?

Только терпеть. Тайные визиты, о которых рано или поздно – она не сомневалась в том – станет известно мужу. И придется объясняться, и даже замороченный своею любовью, всецело поверивший в нее, он, конечно, не бросит Наталью, но высочайшему семейству откроется.

У них, проклятых, не было секретов.

А если так...

Затокин окончательно разувидел в ней женщину. Он делился силой, что-то менял в ее теле, и это оборачивалось долгими нудными болями, будто ее разрывает изнутри. Порой эти боли совершенно изматывали, сил не оставалось даже на то, чтобы противостоять гнусной бриттке Аликс. А та, ощутив слабость соперницы, воспряла духом.

Заговорила о недостойном поведении. Морали. И о том, что женщина, не способная исполнить свой долг, вовсе не женщина... тварь.

Кажется, именно тогда Наталья начала их ненавидеть. Всех. За лживость. За лицемерие. За то, что они своим существованием отравляют жизнь.

Свергнуть?

Помилуйте, подобных мыслей у нее не было. Это же глупо, избавляться от того, от кого зависишь. И да, было время, когда идеи революционные премного занимали мысли Натальи, но после она осознала, что собственные проблемы ей куда ближе народных.

Смута случилась и без ее участия.

К этому, если разобраться, все и шло. Ослабленная многими войнами страна вдруг оказалась втянута в новую, опустошающую, захватившую половину мира. И в отличие от прочих именно эта война затронула весьма многих.

Толпы беженцев.

Армия, высасывавшая и без того немногие силы империи.

Голод, несмотря на все усилия министров. Реформы, которые должны были бы облегчить жизнь народу, а вместо этого, как бывает, ее усложнили. Разоренные деревни и болезнь, которая очнулась где-то на задворках империи, быть может, в тех самых окопах, где и без того хватало заразы.

Настроения витали в воздухе.

Они были очевидны, и даже Михаил злился, говоря брату, что так не может продолжаться, что нужны активные действия и...

Бунт генералов.

Могилевское отречение, новость о котором разнеслась по телеграфным нервам. Смущение. Гнев... и понимание Натальи, что нынешнее ее положение стало еще более шатким.

Глава 15

- Вы должны осознавать, что я, несмотря на весьма близкие отношения со многими из тех, кто вошел в состав Временного правительства, была прежде всего супругой великого князя, - лицо Брасовой слегка разгладилось, однако не стало более красивым. - И я уговаривала Михаила немедленно принять власть. Не потому, что желала примерить венец императрицы, в тот момент я меньше всего думала о подобном, но... мною двигал страх. Я весьма остро ощущала разрушительные настроения, охватившие город. И понимала, что крови не избежать, все дело в том, какой она будет.

Старуха положила дрожащую руку на колени и слегка согнула пальцы.

- Видите... я и перо-то держать не способна... а тогда... тогда я уговаривала мужа... не только я... многие понимали, что грядут перемены, и желали, чтобы были они не столь радикальны. Что стоило ему объявить себя императором? Все же знали, что мальчишка Аликс болен, что он не справится со страной, не сейчас... Господи, да хватило бы, если бы он объявил себя регентом, за ним бы пошли. Его любили военные, да и народ жаловал, полагая, что уж он-то сумеет... И сумел бы, но эта его проклятая преданность семье... Он не мог! Понимаете? Страна задыхалась, а он не мог назвать себя императором. Однажды ночью в нашем доме появились вооруженные люди и нам предложено было отправиться... они это назвали вынужденным отдыхом. Как же, в городе становится небезопасно. Начались погромы. Люди требуют ответа, и как знать, не придут ли они за этим ответом к нам. Но я-то понимала, что нас просто хотят отрезать от союзников, императора с семьей тоже спрятали. И я просила, умоляла не поддаваться... Его силы хватило бы, чтобы разметать этих... Но он подчинился. Сказал, что мы должны ждать, что все образуется и...

И ничего не вышло.

На морщинистую ладонь села бабочка.

- Я чувствовала, что мы стоим на краю. Они... на них мне было плевать. Но я не собиралась умирать вместе с ними. Ко всему я поняла, что стараниями Затокина нахожусь в том положении, которое принято называть интересным. Хотя, помилуйте, ничего-то интересного в нем не было. Отвратительно, когда тебя постоянно мутит, голова кружится, а сила то уходит, то вдруг накатывает так, что сдержать ее нет никакой возможности.

- И вы?..

- Я решила уйти. У меня были знакомые за границей, и я здраво полагала, что смогу устроиться.

- А ребенок?..

- Не буду лгать, мое состояние пугало меня, поэтому я всерьез рассматривала возможность от него избавиться.

- И почему?..

- Потому что он и без того дорого стоил. Я не привыкла просто отказываться от цели.

И наверняка все-таки где-то в глубине души верила, что вполне возможно, все еще продолжала надеяться на что-то большее...

Не ответит.

Брасова разглядывает бабочку с видом пресосредоточенным, и только губы беззвучно шевелятся. Заглянуть бы в ее мысли...

- Я говорила ему, что если мы останемся, как он того желает, то погибнем... Ждать? Чего? Дивизий, которые увязли на западном фронте? Генералов, во многом довольных переворотом? Они давно желали реформ и, получив реальную власть, вряд ли были готовы с нею расстаться. Это позже к Гостомыслу стали присоединяться якобы из верноподданических чувств, а в реальности просто поняли, что поодиночке их уничтожат. Вспомни хотя бы Северинцева. Сколько за ним пошло... объявил свободными земли, золото с Ахтюнских приисков изъял, только куда оно подевалось? А сам Северинцев? Неважно... главное, нельзя было ждать. Не здесь, во всяком случае. Выехать за границу. Получить поддержку. Да, за нее пришлось бы платить, не без того, но что бывает даром? Он же уперся... без брата никуда не двинется... и да, он был рад моей беременности и согласился переправить меня в безопасное место. Имелся у Затокина человек со связями на границе.

Она замолчала, и молчание это тянулось нитями тягостных воспоминаний. Бабочка поднялась с ладони, закружилась, роняя капли пыльцы с крыльев. И в неровном полете ее виделось нечто исключительно важное. Дмитрий моргнул, избавляясь от наваждения.

- За что вы его убили?

- Полагаете, убила?

- Практически уверен. Если бы не это, то вы бы, думаю, не стали скрываться. Явились бы к Александру. Вы бы взяли все, что можно, а вместо этого притворяетесь старухой.

- Я не притворяюсь. Я и разговариваю-то с вами лишь потому, что никто, даже эта тварь Одовецкая, мне не поможет.

- Отчего же тварь?

- Она жива. И проживет еще долго... она старше меня вдвое, а проживет... и ведь помочь в ее власти. Мне Затокин рассказывал, на что способны старые роды...

- Она не убивала того, с кем связана кровью.

- И это верно, - согласилась Брасова, - однако это еще не повод не ненавидеть ее. Знаете, когда кого-то да ненавидишь, становится легче. Достаточно выбрать себе человека, сказать, что вот он, истинный виновник, и сразу появляются причины, а заодно уж на сердце отпускает. По-своему я привыкла к Михаилу. Он был хорошим человеком. Доверчивым безмерно, конечно... он снял ограничительный браслет, который на него повесили. Он сумел создать портал до Сунецких пустошей, а оттуда оставалось всего-то пару прыжков до побережья...

Она закашлялась, и кашель сотрясал исхудавшее это тело. Но когда Димитрий покачнулся было, желая лишь помочь, старуха подняла руку.

Не след мешать.

Она размазала по губам темную кровь, будто дешевую помаду, сплюнула на землю и продолжила:

- Мы остановились у знакомой Затокина. Ее отец был далек от мира сего. Да и она сама сперва показалась мне женщиной исключительно бестолковой, правда, вскоре я поняла, насколько ошибалась.

- Речь идет о Марене Витрохиной, как я полагаю? Той, которая Быстрицким приходилась троюродной племянницей?

- И до того докопались? Но да, мне вновь стало дурно... в моем положении не следовало переутомляться, да и нервы... я прилегла. Я не собиралась его убивать. Помилуйте. Я прекрасно осознавала, что мой нестабильный дар вряд ли защитит в случае реальной опасности. Я могу подчинить человека, двух, трех, но чтобы справиться с толпой, нужна грубая сила. У Мишки ее было с избытком. Да и... мне казалось, я убедил его. Мы отправимся на побережье. Сядем на корабль, а там... тетюшка Аликс пусть и не слишком будет рада этаким гостям, но от дома не откажет. Потом... потом останется собрать армию и вернуться, восстановить справедливость, наказать виновных. Подавить смуту...

- И занять престол?

- Верно, - не стала лукавить Наталья.

- В ваших рассуждениях имеется один изъян, - Димитрий все же подал платок, не то чтобы вид старухи его смущал, просто... раз уж беседа столь светская. - Чтобы занять престол, надобно, чтобы иных претендентов не осталось... и выходи, вы знали?

- Догадывалась. Вернее, скажем так, разговоры о целесообразности сохранения жизни императору ходили давно, а я не глуха и не глупа. Я знала, что казнят, и не только Николая. И моя вина лишь в том, что я сказала Михаилу. Понимаете, я была слаба, подвержена эмоциям. Это неприятно, когда любая малость вызывает потоки слез. Я порой сама не понимала, что со мною происходит, и говорила, говорила... Мне казалось, что слова - это важно, что, пока я говорю, он меня не оставит.

Она дала ощутить свою обиду. Разочарование.

Вот только Димитрий подозревал, что разочарована она была отнюдь не супругом, которого все же успела изрядно изучить, но самой жизнью, сложившейся столь неудачно.

- Он решил, что должен их спасти... Боже мой, он был настолько же упрям, насколько и наивен. Спаси. Зачем? И кого? Своего брата, который даже корону удержать не сумел? Его несчастного сынка, жившего лишь, пока целители это позволяли? Он всерьез решил объявить его императором, сам станет регентом, будет служить верой и правдой. И мне полагается. Служить. Этой бриттской потаскушке, которая сидит на заднице и ждет чуда.

Гнев вернул ее к жизни. Почти.

- Как вы его убили?

- Ножом. Ударила удачно... или неудачно... у меня был с собой... всегда был... порой женщине никуда без оружия, а я... я устала быть слабой и зависимой.

- Вы могли бы...

- Воздействовать? Думаете, я не пыталась? А он просто отмахнулся, сказал, что терпел мои шалости исключительно из любви ко мне, но сейчас речь идет о спасении империи. И что ему всегда были понятны мои устремления, они его забавляли, но ситуация изменилась. Все стало слишком опасно... И я поняла, что, если драгоценный брат потребует, он избавится от меня. Как же... за слабым наследником не пойдут, а вот за сильным Михаилом - вполне, и быть может, он действительно позволит уговорить себя на корону, но...

- Без вас.

- Именно, - она перебралась в кресло. - Без меня... мне позволено будет умереть в родах. Или удалиться в монастырь, а ему подыщут партию получше. Менее скандальную, с чистой репутацией и изрядными связями. Я прочла это в его глазах, как и согласие. От семьи он примет все. Будет страдать молча, но примет... Ничтожество.

- И вы...

- Я плохо помню, что произошло. Мы говорили, потом ругались... я кричала, он сперва успокаивал, после пощечину отвесил. Меня никто никогда не бил... и я... я просто ударила, от обиды, от... от усталости. А он упал. Он был воином, проклятье, он мог бы отмахнуться, отстраниться, сделать хоть что-то, а он упал. Мне сказали, я попала в шею. Крови было много. На руках, на одежде... вся эта комната, помню, была залита кровью... и когда Марена зашла, она сказала, что надо уходить, что оставаться небезопасно. А тело... она помогла мне переодеться. Она вымыла. Расчесала мне волосы. Она напоила теплым молоком и успокоила, сказала, что он заслужил свою смерть. Второй раз я очнулась уже в лесу. Маленький такой домишко, затерянный в местных болотах... там кругом болота, и только. И Марена рядом. Она долго была рядом. Она и еще Затокин. Ему... было любопытно, а еще, кажется, ему нужна была та самая кровь. Я... от меня было мало толку. Не знаю, почему клятва не уничтожила меня сразу... я впала в какое-то странное оцепенение. Я жила и в то же время плохо осознавала, что происходит вокруг. А потом исчез Затокин. И Марена тоже... Она появилась спустя несколько дней. На поместье напали. Все мертвы, а само оно сгорело.

Еще одна случайность, из тех, которые случаются на войне вопреки здравому смыслу?

- Мы остались вдвоем... - старуха вновь закашлялась, но на сей раз управилась с приступом быстро. - И обе были беспомощны. Марена впала в полное оцепенение. Сидела, смотрела в окно на снег и все повторяла, что это она виновата, а мне мерещилась кровь на руках. Я выходила во двор и терла их, терла, пока не растерла до крови. Нам суждено было погибнуть там, в этом чертовом доме, но мы почему-то выжили. Сперва пили снег, клали куски в рот и глотали воду, заглушали голод... Нам было страшно. Когда Марена собралась в город, я пошла вместе с ней. То ли пережитое помогло, то ли просто срок таков был, но дар мой успокоился, окреп. Мне легко было внушать людям... Мы уходили и возвращались, когда с хлебом, когда с ветчиной, когда... с разными вещами. Однажды мы встретили разъезд, и Марена спросила, помогу ли я ей убить их. Я помогла. Это не так сложно... просто приказать. Когда приказывают два менталиста... они сами друг друга перерезали.

Старуха говорила о делах дней прошлых спокойно, даже с улыбкой.

- И ей понравилось. Тела мы утопили в болоте, но она забрала оружие и стала тренироваться. Она многое умела, оказывается, но тогда все было в шутку, ей нравилось играть в героя, а теперь взаправду... Там, в лесу, время тянулось иначе. Однажды я родила ребенка.

- И провели обряд, верно?

Брасова моргнула, будто вопрос ее удивил. Пожала плечами. Прислушалась то ли к себе, то ли к птичьему гомону. Затем сказала осторожно:

- Если вы говорите о той глупости, то не думаю, что она как-то повлияла...

- Какой глупости?

В этой истории глупостей было совершено изрядно, и Димитрий не знал, какие еще отзовутся спустя годы.

- Марена решила, что мы с нею связаны, что это дитя и ее тоже. Обряд же... то ли ее отец вычитал,

то ли сама она выдумала, не знаю, но она искупала его в своей крови. Буквально измазала с головы до пяток и выпить заставила, мол, так в свой род принимает. Я не мешала. Я не знала, что мне делать с этим ребенком, роды были тяжелыми, мучительными, да и сама я изрядно ослабела. Мне сперва казалось, что из-за родов, но... потом... потом я поняла... Мишина кровь не собирается меня отпускать. Я ведь все-таки убийца. Мы связали жизни, а я его убила... Нехорошо. Видишь клеймо? – Брасова коснулась переносицы.

– Нет.

– А оно есть. Порой долго о себе знать не дает, спит, убаюкивает, мол, исчезло, исполнило назначение, а потом просыпается и жжет огнем. Оно мою жизнь выпило. И ты был прав, я поэтому не показывалась на глаза Сашке. Он единственный, пожалуй, мог бы принять меня, но никогда-то не простил бы... а кровь... ее не отмыть, поверь, я старалась.

Она замолчала, но Димитрий остро ощущал, как уходит время, и потому потребовал:

– Дальше.

– А что дальше? Дальше... Марена перевезла меня с сыном... нашлись люди, готовые помочь...

– К примеру, Ветрицкие?

– И они... хотя не самый лучший вариант. Пронырливы. И бестолковы. Самонадеянны без меры. Полагают, что все-то им известно, все-то... древняя кровь опять же, на такую куда как сложнее воздействовать.

– Поэтому он умер?

– Не знаю... я давно отошла от дел.

– И как вы...

– Он мне, к слову, то ли четвероюродным, то ли пятиюродным дядькой приходится, но учили его плохо... а может, поверил, будто сама сила защитит. Я его не убивала, хотя могла бы. Велела бы умереть, он бы и умер... Верись, и с тобою могу так.

Димитрий поверил.

Сможет.

И кольнул запоздалый страх: следовало не одному сюда явиться, но с десятком-двумя охраны и каретой тюремной. А он тут разговоры разговаривает.

– Не бойся, убивать не стану... Марена тоже с Ветрицкими в родстве была. Матушка ее из младшей ветви, собственно, потому к ним и направились. Я не особо возражала... скажу более, я тогда лишь начала осознавать, что отныне жизнь моя закончена, что бы я ни сделала, в какой бы монастырь ни пошла грехи отмаливать, перед кем бы ни каялась, ничего не поможет. Клеймо пило силы, а ребенок... он был уродлив. И это не преувеличение. А еще вечно хотел есть, только оказалось, что тело мое, пусть и получившее возможность выносить дитя, выкормить его было не способно. Марена где-то нашла кормилицу. Та женщина имела целый выводок грязных ребятишек, в который охотно приняли и моего. Она возилась с ним... это было странно. Понимаете, я смотрела на дитя, пыталась найти в себе хоть каплю любви, но...

Старуха развела руками.

– Возможно, это было моим настоящим уродством. Кто-то рождается кривым, кто-то глухим, а я вот уродилась не способной любить. К Ветрицким мы все же добрались... и Марена обнялась с теткой... они были весьма близки. Скажем так, куда более близки, нежели позволяли приличия, но Катарина оказалась женщиной спокойной, достойной, а главное, готовой взвалить на себя весь груз забот о младенце. И если сперва она делала это исключительно из извращенной любви к племяннице, то после смерти той... Нелепая, к слову, смерть... Марена сама заигралась, возомнила себя умнее прочих, ее предупреждали, и не раз, что игры опасны, а месть ни к чему хорошему не приведет. Однако Катарина вбила себе в голову, что ее драгоценную девочку убили и что убийце следует отомстить.

Димитрий слегка склонил голову. А еще дал себе слово проверить и удвоить охрану, потому как обида, которую столько лет холили и лелеяли, не может быть остановлена парой казаков. Стрежницкому везло, но на одно везение рассчитывать не след.

– Некоторое время мы жили вместе – я, Катарина и ребенок, про которого она вдруг решила, будто бы рожден он ее драгоценной Мареной, что было нелепостью, и поверьте, к этой безумной мысли я

отношения не имею. Я лишь не стала разубеждать, как и Ветрицкий-старший. Мы заключили сделку. Потом. Позже. Когда до той глухомани, где мы все прятались, дошли чудесные новости. Арсийская империя обрела императора. Бунтовщики повержены, вот-вот воцарится мир и чудесное благоденствие. Тогда-то Ветрицкий и объявился. Мне была предложена помощь... в обмен, скажем так, на то, что я просто-напросто исчезну из жизни Михаила... Что? Я решила почтить память мужа.

Надо будет спросить Лешека про обряд, но пока выходит, что крови и желания оказалось достаточно, чтобы новорожденное дитя признали принадлежащим иному роду.

Ах, до чего...

- Я знаю, что ребенка пристроили в хорошую семью. Какую, не спрашивайте. Я не интересовалась, да и не сказали бы. Мне вернули этот дом, благо оказалось несложно. На счетах скопилась вполне приличная сумма. Отошли ко мне и деньги, и некоторые драгоценности. Этого хватило бы, чтобы уехать.

- Но вы решили остаться.

- Не сказать, чтобы это было добровольное мое решение. Получив свободу, я отправилась к морю, я думала, что сяду на первый попавшийся корабль, лишь бы прочь из империи. Но чем дальше я уходила от Арсинора, тем тяжелее мне становилось. И я поняла, что за морем я просто-напросто умру. Здесь же мне позволено было жить. И я вернулась.

Ее не искали.

Кому она была нужна, связанная с императорским родом узами весьма сомнительного брака.

- Сперва я боялась, что кто-то узнает, донесет, понимала, что ему хватит и взгляда... Я не хотела умирать. Должно быть, я кажусь вам жалкой? Мне все равно. Мне оставили эту жизнь будто в насмешку. Когда-то я блистала, а теперь... жалкая старуха... вам кажусь я древней, а я стала такой на седьмом году после смерти Михаила и все ждала, когда же... откажет сердце или не сердце, но... я живу. Живу и живу изо дня в день...

Глава 16

Он мало изменился, этот отвратительный человек, который взглянул на Лизавету сверху вниз, будто заранее определив, где место ее. И место это отнюдь не было почетным.

Он пошевелил губами.

И сказал:

- Как-то вы староваты для конкурса, - он отвел лорнет и поинтересовался: - Мы с вами прежде не встречались?

- Нет, - соврала Лизавета.

И ей поверили. Вернее, этот человек и мысли-то не допускал, что кто-то, к примеру девица сомнительных достоинств, приставленная за непонятною надобностью, будет ему лгать.

Девица ему не нравилась.

Он предпочел бы кого помоложе и, что уж говорить, повосторженней. А эта смотрела мрачно, будто подозревала за благообразным господином недоброе. Впрочем, на девиц он давно научился не обращать внимания.

- Постарайтесь просто не попадаться мне на глаза, - велел Вольтеровский, раздумывая, следует ли немедленно явиться в канцелярию, доложить о прибытии, что было бы разумно, хотя и скучновато, либо же все-таки обождать. Людям при чинах суетливость излишняя не к лицу.

- Боюсь, - девица, вместо того чтобы отступить и сделать вид, будто ее нет, улыбнулась, правда, как-то неискренне. Или почудилось? Или это у нее от нервов? Девицы вечно нервничают по пустякам. - Это не в моих силах. Я, несомненно, была бы рада доставить вам этакое удовольствие, однако...

Его хотелось отравить.

И билась мыслишка, что в кофре Одовецкой сыщется какой-нибудь зловещего вида пузырек. Пару капель в бокал - и...

Он ведь виноват. Если не во всем, то во многом...

Ишь, холеный.

Лицо круглое, нос с благородною горбинкой. Бачки седоватые, стриженные аккуратно. Белые брови, взгляд орлиный. Хоть портрет пиши. И одет по моде, и держится так, будто бы каждый день при дворе бывает. Идет неспешно, тросточкой постукивает, но этак с ленцою, мол, она исключительно для виду и необходимости.

- Знаешь, - Авдотья тоже гостя оценила. - Такого в саду убивать надо...

- Почему в саду?

- Здоровый больно, поди-ка до саду доволоки, а если там, то только яму подходящую выкопать останется.

И пойми, со смехом сказано сие было или всерьез.

Лизавета вздохнула.

И поспешила за гостем, которого и вправду хотелось убить. Можно даже в саду, хотя... действительно здоровый, и яму придется копать немалой глубины. И если так, то проще, может, выманить...

Нет, она не всерьез.

Отца это не вернет, а... он свое получит. Соломон Вихстахович ведь не навсегда отбыл, иначе продал бы газетенку, а не ставил бы вместо себя редактора. Стало быть, вернется. А как вернется, то у Лизаветы и материал будет подходящего толку.

Так думать было легче.

И Вольтеровский вызывал уже не злость, но вполне определенный интерес.

Что о нем вообще Лизавета знает?

То есть знает немало, у нее дома целый альбом остался со всякою всячиной, вырезки там, упоминания. Про него писали нечасто.

Родился в Малжовецкой губернии, в семье помещика средней руки, вторым сыном. Оттого и в наследство ему досталось двести рублей и батюшкино благословение. А еще оплаченный курс в университете, что, конечно, было куда как важнее.

Учился хорошо.

Удостоен был похвальных листов и военного чина. Служил... где только не служил. На всех границах побывал, и кровь лил, и медали получил. Смута его задела, но самым что ни на есть краешком, позволивши сыскать славу воинскую, а с нею и расположение.

Женился на девице Прозоровской, из мещан, но состоятельных, получив за нею и поместье, и десять тысяч рублей, которые вложил с немалой выгодой в Ост-Зендийскую компанию. Далее благосостояние росло, чины тоже не обходили Вольтеровского стороной, и к пятому своему десятку представлял он собою воплощение человека степенного, состоятельного и немалыми связями обладающего.

Но ведь и у такого грехи имеются.

Не может быть, чтобы человек вовсе безгрешен оставался. Лизавета знает. Лизавета, она умеет смотреть и слушать, замечать многое, что иным людям кажется неважным.

- Отпусти, - свяга встала за спиной и положила ладони на Лизаветины плечи. - Не мучай...

- Я не...

- Держишь их, - на душе стало холодно, будто ветром ледяным подуло. - А если будешь за мертвых держаться, то и сама жить не научишься.

- Так что теперь, простить? Забыть? - кольнуло под сердцем и отпустило.

- Это тебе решать, просто... позволь помочь.

- Помоги.

Свяжь руки легли на волосы, скользнули по щекам, и холод отступил, унося с собой... тяжесть? Пожалуй что, дышать вот легче стало. И ощущение такое, словно Лизавета ото сна очнулась, тягостного, муторного.

- Спасибо...

- Это ненадолго, - покачала головой Снежка. И спросила: - Тот человек болен. Ему немного осталось. И он знает об этом. Как думаешь, легко ли ему умирать?

Лизавета не знала.

Умирать, наверное, всегда нелегко, но ей ли думать о Вольтеровском, этак она и вовсе жалостью к нему проникнется. Э нет, не бывать подобному... она уже все решила, а раз так, то...

И Лизавета поспешила за гостем.

А то ж еще заблудится. Дворец царский преогромен. Мало ли что с человеком незнакомым в нем произойти может.

Во дворец Димитрий возвращался в преотвратном настроении. Велевши Брасовой дома не покидать - она усмехнулась только, мол, столько лет не покидала и теперь не станет, - он все же испытывал определенные сомнения. Может, стоило взять старуху с собою?

Определить куда...

К примеру, в подземелья. Там ныне места хватает, может, конечно, удобства не те, однако же всяк безопасней. Он даже порывался вернуться, но махнул рукой: жизни в Брасовой оставалось на доньшке. Вреда она не причинит, а польза весьма сомнительна будет.

Или все же...

Послать кого, чтобы привезли? А кого?

Помощника верного, который, до власти добравшись, надулся, что индюк. Вон и пиджачишко новый

справил, по бриттской моде, узенький да тесненький, зато с двумя рядами пуговиц. Платочек шейный. Булавка с камнем синим поблескивает, а на мизинчике ей в пару перстенок подмигивает заговоренный. И сам-то держится важно, степенно.

- Туточки спрашивают, - при виде помощника всякие иные мысли из головы Навойского вылетели, - когда Стрежницкого судить будут.

И табакерочку с крышкой откидною поднял, к носу поднес, вдохнул...

- Никогда, - мрачно сказал Димитрий.

Это ж где он так ошибся-то?

Паренек казался ему претолковым, несколько гонористым, да иных при дворце отродясь не случалось. Казалось, пообживется, пообтешется, поймет... Понял, да что-то явно не то понял.

- И кто спрашивает? - уточнил Димитрий.

- Так это... сродственники покойной... дюже переживают. К императору грозятся пойти, за справедливостью...

- За справедливостью я их и дальше послать могу, - философски заметил Димитрий и вздохнул. - Ладно, сам поговорю, а ты возьмешь людей и поедешь, привезешь сюда одну почтенную даму. Даже если ехать не захочет, все одно привезешь... и будешь вежлив, почтителен, как со своею матушкой.

Первцов прижал к ноздре оттопыренный мизинчик и чихнул, что, надо полагать, было согласием.

А с родственниками встретиться стоило.

Вот только при одной мысли о том вновь начинала болеть голова.

Они были разными.

Он - невысокий, плотно сбитый толстячок с личиком розовым, с кожей по-детски гладкой. И рыжая редкая бородка гляделась краденою, о чем Лужнин или знал, или всяко догадывался, а потому и дергал, щипал, тормозил эту несчастную бородку, того и гляди рискуя вовсе выдрать ее. Супруга же его, надо полагать, в девичестве была прехороша, о чем знала и знанием этим гордилась. Она держалась за свою память, не желая признавать, что лучшие годы прошли. Со временем она сделалась поразительно худа, если не сказать тоща. Кожа ее обрела тот нехороший желтоватый оттенок, который явно свидетельствует о проблемах с печенью. А темное платье узкого кроя лишь подчеркивало неправильность, излишнюю даже для нынешней моды угловатость фигуры. На завитых ровными волнами волосах держалась шляпка с черной вуалью, которая, впрочем, не скрывала резких черт лица.

Димитрий отметил чересчур длинный нос, узкие глаза и узкий же, почти безгубый рот.

А вот третья особа, стоило признать, была прехороша. Она пошла ростом в маменьку, однако от отца сумела взять круглость и мягкость.

Кукольное личико. Синие очи.

Рот сердечком. И даже темное платье ей было к лицу.

- Мы... - заговорила женщина голосом трубным, низким, - желаем знать, когда казнят этого мерзавца.

- Не только вы, - миролюбиво произнес Димитрий.

Девица потупилась, взмахнула ресничками... На убитую горем она не похожа, скорее уж на любопытствующую, вон исподтишка разглядывает комнату, будто прицениваясь.

- Присаживайтесь, будьте добры, - Димитрий дождался, когда дамы сядут. И самого-то ноги едва держали. Одовецкая вновь ругаться будет, а может, и затрепиной пожалует, с нее станется. И за дело: ему бы вылежаться, хотя бы сутки еще, а лучше недельку-другую.

Нет у него этой недельки.

И суток нет.

- Боюсь, беседа у нас с вами будет не самую приятной. Какие отношения вас связывали с

Весницкими?

- А они тут при чем? - Лужнина удивилась, но как-то не слишком искренне, что ли.

- При том, что... - Димитрий потер переносицу и вздохнул. Вот и как им рассказать про менталистов и заговор, про то, что невинная их девочка была вовсе не так уж невинна, про...

Обыкновенно.

Словами.

И он заговорил, уже не стараясь щадить чьи-то чувства - его бы хоть кто пощадил, - а его слушали. Сперва недоверчиво. И Лужнина кривилась, взмахивала руками, будто всполошенная курица, порывалась встать, но оставалась на месте, лишь вздыхала громко, горестно. А супруг ее горбился и бороду драл.

- Не верю! - тихо произнес он.

- А я вот верю! - Стефания топнула ножкой. - Я же вам говорила, что эта ужасная женщина совсем Элизке голову заморочила! Только кто меня слушает.

Она надула губки, однако ни отец, ни мать вновь не обратили на нее внимания, что было преобидно.

- Расскажите, - попросил Димитрий, цепляясь за взгляд синих очей. - Что вы о ней помните?

Немного.

Девушка старалась, вполне искренне, вот только... хороший менталист умел работать с чужой памятью, да и амулет, внимание рассеивающий, эта самая Катарина наверняка использовала. И девушка, сколь ни пыталась, не смогла точно сказать, была ли Катарина молода или же нет.

Темные волосы имела. Или светлые. Или вовсе рыжие, которые завивались бы...

- Знаете, - голос Лужнина звучал тихо, раздавленно. - Это я виноват... я не хотел, чтобы моя девочка мучилась...

- Она...

- Помолчи. Ты никогда ее не любила... сына хотела. Я хотел сына, а родилась дочь. И еще одна... Стеша у нас красавица, сами видите, а Элиза получилась так себе. И Наточка рожала ее долго, целители сказали, что больше детей не будет. Я ж никогда не винил ее. Дочки тоже хорошо, а она вбила себе в голову, что виновата...

- Я не виновата, - тихо возразила Лужнина.

- Конечно, я ж тебе говорил... а она все одно... простить не могла Элизе, что та не мальчик. А она умненькая, живенькая, никогда-то спокойно на месте усидеть не могла. То с кухаркиными детьми сбежит да весь день по улице носится, пацан пацаном, то котов бродячих в дом таскает. Однажды и вовсе собаку приволокла огромную, и та бархатные шторы пожрала.

Лужнин неловко усмехнулся, будто удивляясь, что и вправду такое было.

- Платья на ней горели прямо-таки. Бывало, только наденет и тут же уже подрала или там залила чем, а девице положено тихою быть, послушною. Вышивать она не любила, и музицировать не умела, и вовсе... - он махнул рукой. - Мне-то что? Я ж ее и такой любил, а Наточке хотелось, чтоб все было красиво, чтоб соседи не смеялись.

- И что в этом плохого? - Лужнина всхлипнула и прижала к носу платок. - Я просто... я ей счастья желала!

- А потом этот дар открылся. Сперва-то я вправду подумал, что будет легче, если его чутка, ну, закрыть ненадолго. Она ж дитё горькое, а дар-то опасный, я видел, чего они с людьми утворить способны, порою сами того не желая. Я... я не думал, что так оно... просто Элиза погасла будто, ходит, глаза в пол, говорит шепотом, и все одно ей стало, что с нею будет. Тогда-то я Весницкому и отписался. Служили мы вместе... и Смуту вместе прошли. Он мне должный за один раз. Спас я его...

- Почему учиться не отправили?

- Забоялся от себя отпустить, - Лужнин понурился, потер раскрытую ладонью грудь. - Понимаю, что дурак, только... порядки в университете вашем всем известные, а она дитё, вдруг бы голову задурили, заморочили, а после бросили одну и с дитём... Знал бы, как оно, пусть бы и бросили, дитё, чай, свое, вырастили б.

- Что ты такое говоришь?!

- Правду... помолчи уже... Весницкому написал, совета хотел, он же ж тоже из этих, которые в голову влезут, думал, подскажет, как нам быть. А он сам заявился. Сказал, что хочет глянуть, сперва-то издали, а потом сказал, мол, если и дальше браслетки те носить станет, то дара лишится, а с ним и ума...

- Соврал, - зло сказала Лужнина, комкая несчастный платок.

- Нет, - Димитрий потер ногу, которая тоже заныла, хотя, видит Бог, никогда-то он на ноги не жаловался. - Если долгое время блокировать дар, он выгорает. А с ним зачастую и маг. Дар - это... сложно объяснить, это больше, чем рука или нога там. Без руки жить можно, а вырежьте сердце... хотя некоторые и умудряются выдерживать. Но это редко... часто перегоревшие маги сами на себя руки накладывают.

- Грех-то какой... - Наточка перекрестилась и взгляд отвела. - Я... я не знала... я ж как лучше хотела...

- Он предложил договор, - меж тем продолжил Лужнин. - Сказал, что все одно лучше жениха не найти, что с таким даром многие побоятся, а он и раскрыться поможет, и удержит, если вдруг, и позаботится. Я и подумал, он-то крепко старше Элизы, а с другой стороны, оно и неплохо. Ей твердая рука надобна, чтоб не задурила. Да и обережет, если чего вдруг. Не бедный опять же. Мы и сами не нищие, только... понимаете ж, приданого никогда много не бывает. А у меня старшенькая хоть и красавица, но все равно с деньгами оно верней.

Он вновь ущипнул себя за бородку и произнес:

- Весницкий привез ее... я еще сперва подумал, что, верно, важная особа весьма, он так с нею держался... нет, лица не помню, тут не просите, хотя я и пытаюсь...

- Почему вы решили, что она важная особа?

- Говорю ж, держался так... экипаж с гербами... сам-то Весницкий верхами предпочитал, он человеком простым был... ну, то есть никогда там за гербы без нужды на то особой не хватался, а тут вдруг четверик караковый, кохарской породы. Я такой красоты отродясь не видал. И сам дверь открыл, ручку подал. Она-то вышла... помню вот туфельки у нее беленькие.

- С острыми носиками, - встряла Стеша, - а на них еще пряжки с серебряными колокольчиками. Катарина очень их любила. Идет, а колокольчики эти позвякивают тоненько... и еще платья она носила длинные. Такие, совсем длинные, в пол... уже немодно... кто бы другой примерил, посмеялись бы. А она...

Над менталистом высокого уровня смеяться никому и в голову не придет.

- И браслет, - вздрогнула вдруг Лужнина. - Браслет при ней постоянно был, тоненький, серебристою змейкой...

Она провела по запястью.

- Точно! - Стеша в ладоши хлопнула от восторга. - Я помню, Элиза однажды попросила его примерить... он был таким... таким... прямо как настоящая змея! Чешуйка к чешуйке, а глаза красные, каменные. И я сперва даже боялась, что он оживет однажды. Представляете, какая глупость!

- Представляю, - медленно произнес Димитрий, пытаюсь понять, где и когда он этот браслет видел. Или не этот, но похожий.

- А она сказала, что никак нельзя. Что это подарок одного человека, все, что осталось. Правда, добавила, что осталось куда больше, нежели остальные думают. И когда придет время, змея оживет.

Он определенно видел эту змейку. Белую.

Такую поразительно настоящую, что оторопь брала... но у кого? Когда?

Голова разболелась еще сильнее, а девица Лужнина хлопала глазами и тихо сказала:

- У вас кровь идет. Из носу...

Глава 17

Стрежницкий подумывал сбежать. Не то чтобы в сидении ему было так уж плохо.

Прохладно, что по летней жаре самое оно.

Спокойно.

Кормили шесть раз на дню, и Одовецкая просила передать, что, ежели хоть что на кухню вернется, она самолично явится с серебряною ложечкой. И явление ее Стрежницкий представил себе столь живо, особенно ложечку, узенькую, с длинною ручкой, на которой его имя выгравировали, что просто оторопь взяла. Потому подносы на кухню возвращались чистыми, а его самого охватывала сонная нега.

Прежде ему не случалось, чтобы вот так... наедине с собою.

И голова-то почти не болела, рана и та зудеть перестала, разве что самую малость подергивала, вырывая Стрежницкого из затянувшегося сна. Тогда-то и наваливалась память. Он вдруг обнаружил, что и вправду помнит преогромное количество вещей, казалось бы, совершенно ему ненужных. Как вот та деревенька, в которую он явился, когда собрал первую сотню...

Мститель.

Славно горела. Людишки метались, ревели коровы, неспособные выбраться из хлевов. Дымило, чадило. Сыпало гарью с ясного неба. Кто-то визжал, кто-то кричал, кто-то молил о пощаде... гойсали конные, пьяные от крови и собственной власти. А он стоял.

Смотрел.

И старался не слушать, как тяжело вздыхает за плечом Михасик.

- Дурное вы затеяли, барин, дурное... - он все повторял, и Стрежницкий таки не выдержал, одернул:

- Замолчи. Как они нас, так, значит, по-доброму...

- А дети-то...

- Все одно без взрослых не выживут.

Муторно. И муть эта подкатывает к самому горлу, будто кто на ухо шепчет, что, мил человек, догулялся, добегался? Все-то тебе было в круговерти, когда золотой, когда кровавой. Неужто и вправду думал, что не выберешься из нее?

Не встретишься с собою?

А теперь полежи, подумай хорошенько, вспомни... погляди на себя.

Обозники полегли в снегу. Охрану еще когда побили, и теперь конные деловито спешивались, шли к телегам. То тут, то там раздавались выстрелы.

- Помилуйте! - Купчишка осмелился выползти, упал на колени перед лошадью. - Это ж для Тагельца хлеб, там люди помирают...

Стрежницкий разрядил пистоль в лицо. Жеребец его и ухом не повел, через тело переступил аккуратно, лишь Михасик вновь вздохнул.

Помирают. Верно.

И Стрежницкому велено сделать так, чтобы и дальше помирали, глядишь, близость смерти и заставит смириться, сдаться императорским войскам. А то ишь, независимости пожелали.

Памяти было много.

А крови и того больше. В какой-то момент Стрежницкий осознал себя стоящим подле окна. Благо было то узеньким и еще решеткою забранным, захочешь с башни кинуться - не протиснешься.

Стрежницкий не хотел.

На руки свои поглядел, надо же, не бурые, а должны бы от крови, на них скопившейся. И не исчезла, не повымелась за годы. Он пошевелил пальцами.

Хмыкнул.

В монастырь, что ли, податься? А то и вовсе на скит. Поселиться на дальнем берегу Белынь-озера, который людишки не жалуют, и доживать век свой смиренно.

Нет, не в его характере.

Да и вина...

Переживет как-нибудь... только тоскливо. До того тоскливо, что хоть волком вой. Волков той зимой расплодилось немерено, и по деревням они гуляли мало людей вольнее. Иные и вовсе, окаянства набираясь, раздирали соломенные крыши, пробирались в дома, вырезая и скот, и вовсе все живое, как в той вот деревеньке, на которую его отряд наткнулся случайно.

И на волков хорошая охота была.

Местные, далекие от мира, сами слегка одичавшие на болотах, в благодарность рыбы вяленой подарили, муки рыбьей два мешка, а еще сироту, который куда как полезен оказался. Все тропки заветные ведал. Правда, продержался недолго, помер, то ли от воды гнилой, то ли от совести.

Совестливые войной не выживают.

А Стрежницкий вот сумел.

Он мотнул головой и на ногах устоял, только самую малость качнуло. И до двери дошел сам, походкою ровной. И постучал, а когда охрана открыла, спросил:

- Записочку не передашь?

- Хрен тебе, - с немалым удовольствием ответил казак.

- Навойскому пожалуюсь...

- И ему хрен, - казак был уверен в собственной правоте, но это в кои-то веки не злило.

- Сто рублей, - подумав, предложил Стрежницкий.

А казак ус крутанул и ответил:

- Нас тут двое...

- Каждому...

Записку он написал, запечатал простеньким заклинанием и в лапу сунул, перстенок присовокупивши. С камнем квадратным, тяжелым. Не дуже красивый, но дорогой.

- Что, скучно без бабы? - казак подмигнул.

И Стрежницкий не стал разочаровывать человека:

- А то... хоть ты в петлю лезь...

- В петлю не положено.

Это верно, не время пока. Потом, как все закончится... своя петля от Стрежницкого никуда-то не денется. Вон где-то лежит веревка, может, льняная, может, конопляная, наилучшего качества. И дуб тот растет, который веткою поделится. Но это будет после.

А пока...

Стрежницкий вытащил из-под стола закатившийся пяточок, подкинул и поймал на ладонь, зажмурился, загадывая: придет или нет?

Ждал он долго.

То есть не то чтобы ждал, просто сидел у окна, молча пялясь в серое стекло. Помыть бы его, а то все мутное, что собственная Стрежницкого совесть. А дверь заскрипела, впуская, правда, совсем не того человека, на визит которого Стрежницкий надеялся.

- Я гляжу, тебе совсем полегчало, - с упреком произнесла Одовецкая, поправляя юбки. Надо же, в годах немалых, а поднялась и не запыхалась даже. - Если по девкам пошел...

- Я не по девкам. Я так... тоскливо...

- Ага, мне передали, что вешаться от тоски удумал, - она подошла и, когда Стрежницкий попытался

подняться, велела: – Сиди уже... герой-любовник...

– Какой из меня теперь...

– Никакой, – легко согласилась она, сжимая ледяными пальцами виски. – И раньше тоже никакой был... ни герой, ни любовник.

– Обижаете!

Обижаться на княгиню себе дороже, а ну как пальцы проткнут виски, провалятся вглубь, в самые мозги, да и подправят в них что-нибудь такое-этакое, а то и вовсе сотрут Стрежницкого.

– Страшно? – Одовецкая заглянула в глаза. – И правильно... не все тебе, мил человек, прошлым жить... его принять надобно, отпустить...

– А сами-то?

Она отвела взгляд.

– Говорить легко, – Стрежницкий чувствовал силу, теплую, что вода в родительском пруду. Неглубокий, изрядно заросший ряской, он прогревался от первых же теплых деньков, а после и стоял так, радуя что мальчишек окрестных, что стрекоз. – А попробуйте-ка сами...

– Я пробую.

– Может, плохо пробуете?

Затрещина была легкою, символической, но Стрежницкий скривился, мол, больно. И вовсе нехорошо раненых бить, а вдруг чего важное отобьется.

– Бестолочь, – вздохнула Одовецкая. – Я хорошо пробую... думаешь, не было у меня искушения убить их? Взять и всех... это не так сложно, достаточно простенького заклятья на письме. Возьмешь такое в руки, оно распрямится, ужалит и собьет ритм сердечный. Человеку здоровому ничего-то не будет, так, кольнет в груди слегка, и все, а вот если с сердцем нелады, там... Или без заклятий можно. Сколько всяких трав в лесах растет, и не рассказать. Взять хотя бы золотарницу, травка простенькая, сорная даже. Крестьяне, правда, ее скотине запаривают, чтоб ела лучше, на свиней хорошо действует, а на людей и того лучше. От этой травы сердце вскачь летит... даже пить не надо, высушить, растереть, смешать с другою травкой да посыпать, скажем, одежду или вот бумагу какую. Через пот впитается и...

– Вы меня пугаете, – Стрежницкому как-то вот не по себе стало.

Целителям, между прочим, положено быть добрыми.

Всепрощающими.

И беззащитными. Однако чего-чего, а беззащитности в Одовецкой не было. И она усмехнулась этак с пониманием, отступила. Повернула голову Стрежницкого к окну и поморщилась.

– Безобразие... его мыли еще, видать, при Николае... Сиди смирно. Закрой глаз... и второй тоже.

Стрежницкий попытался, но если здоровый глаз закрывался и открывался нормально, то с больным вышло иначе. Восстановленное веко лишь подергивалось, но Одовецкую это не смутило.

– Ничего, со временем чувствительность восстановится. Я все говорю, чтобы ты, бестолочь белобрысая, понял, что с прошлым управиться нелегко, однако жить с ним еще тяжелей. Я ушла не столько потому, что боялась за себя, да и Аглаю было у кого спрятать, небось императрица не отказалась бы за сиротой присмотреть. Нет, я ушла, чтобы искушения не было. Когда находишься рядом, день изо дня, то тяжело устоять. А целителю от человека избавиться проще простого, никто и не поймет, что случилось.

Вот теперь Стрежницкому не то чтобы по-настоящему страшно сделалось. Скорее руки похолодели. И...

– Это не он, – сказал он зачем-то, хотя его уж точно не просили совать нос в дела чужие. – Дубыня вашу дочь не тронул бы... я знаю... мы с ним... он человек резкий, но без подлости. Это я скотина, ни совести, ни сердца, а он... он женщин всегда отпускал. И детей не трогал. И людей своих крепко держал, чтобы не творили безобразий...

– А ты, стало быть, не держал.

Стрежницкий высвободился из мягких этих рук, отстранился и почесал переносицу.

- Не шевелись, если не хочешь, чтобы стало хуже.

- Куда уж хуже, - дыра в голове не радовала да и, как подозревал Стрежницкий, изрядно сократила ему жизни.

- Поверь, всегда есть куда хуже... видишь ли, я не слепа. И не столь уж глупа, как это видится многим. Я знаю, что из себя представляет Дубыня. И отец его. Мы много лет прожили бок о бок, росли вместе. Он пытался за мной ухаживать, но родители подыскали мне другого мужа. Я не стала спорить. Я понимала, что такое долг, и исполнила его, хотя счастливой меня это не сделало.

Было щекотно.

И немного больно, но боль эта, слабая, дергающая, не мешала.

- Поэтому я не убила их сразу. Я пыталась понять, что случилось, но... мой покойный ныне бывший супруг частенько называл меня крайне ограниченной особой, которой недостает характера. Возможно, он был прав. В противном случае я бы нашла способ ответить. А вместо этого... Завтра можешь выходить.

- Куда? - поинтересовался Стрежницкий.

А княгиня лишь плечами пожала:

- Куда хочешь... хоть до ветру, хоть на бал. Во втором случае я все же настоятельно рекомендовала бы озаботиться сопровождением и по возможности поберечь себя. Однако кто и когда прислушивался к старухе?

Чем больше Лизавета присматривалась к Вольтеровскому, тем сильнее он ее раздражал. Нет, Лизавета изначально не без оснований полагала, что симпатией не проникнется, однако вот его манеры, его жесты, даже то, как говорил он, растягивая слова, то и дело задерживаясь взглядом на Лизавете, и само выражение лица, брезгливо-рассеянное, выводило из себя несказанно.

- Меня не устраивают эти покои, - он оглядел комнаты, куда более роскошные, чем те, что отвели Лизавете и прочим конкурсанткам. - Здесь дует из окна... и зеленый цвет мне не к лицу. Будьте так любезны подыскать иные, более подходящие моему положению.

Если сперва Вольтеровский был недоволен сопровождением, которое полагал излишним, то как-то быстро он с присутствием Лизаветы пообвыкся.

Он прошелся по комнате, которая была вполне себе просторна.

- Дорогой, - тихо произнесла жена, женщина бледная и болезненного вида, - а мне кажется, здесь мило...

- Тебе всегда лишь кажется, - отмахнулся он. - Как была купчихой, так и осталась... Боже, за что мне это?

Его супруга слегка порозовела. Вздохнула. Потупилась. И опустилась на самый краешек кресла, будто не была до конца уверена, позволена ли ей этакая вольность. Ридикюльчик она прижала к груди, а на щеках вспыхнули алые пятна.

- А вы еще здесь? - Вольтеровский обратил внимание на Лизавету. - Вам что было сказано? Я недоволен... если вы не желаете провалить этот свой конкурс...

Лизавета провалила бы его с преогромным удовольствием, но она вымучила из себя улыбку и произнесла:

- Конечно... я посмотрю, что можно будет сделать.

- И багаж! - крикнул вслед Вольтеровский. - Не забудьте о багаже! Его должны были доставить, но лакеи идиоты...

Дальше она слушать не стала. Сбежала.

Пусть позорно, недостойно и... Она прижалась к стене, переводя дыхание. Сердце колотилось как безумное, а еще хотелось взять что-нибудь этакое, преувесистое, и швырнуть в стену.

Да что он себе... И не только себе... и вообще...

Она перевела дыхание. Надобно успокоиться, взять себя в руки и присмотреться еще пристальней.

Жаль, конечно, что прислугу во дворец не пустят. Прислуга, как правило, многое знает о хозяйских привычках.

- Прячешься? - тихо спросили, и Лизавета подпрыгнула, обернулась. - От кого сбежала?

Димитрий оправил дрянной пиджачишко, который, скроенный криво, всю его фигуру делал какой-то скобоченной.

- А ты? - Лизавета разом вдруг успокоилась.

- От совести, пожалуй.

- И как успехи?

Он пожал плечами, мол, не слишком-то хороши.

- Тебе бы отдохнуть, - произнесла она с упреком. - Вчера вон умирал, а сегодня...

- Я живучий.

- Ага...

Димитрий предложил руку, а она не стала отказываться. Со стороны пара их, должно быть, гляделась презабавною... и слухи пойдут... и скажут, что Лизавета нашла себе жениха под стать, никчемного оборванца, который...

Глупости. Пусть говорят.

Уже недолго осталось. Закончится конкурс, и не только он, и Господь не попустит беде случиться, а значит, закончится все хорошо. И будет празднество... после побед всегда празднества устраивают торжественные. Навойскому дадут медаль, или даже орден, или еще что-нибудь, а Лизавета вернется домой, в тихую тетушкину квартирку. Она уберет в шкаф наряды от Ламановой, чтобы не мозолили глаза и сердце, не мучили ненужными воспоминаниями. Или не уберет, но сестрам отдаст. В университете по одежке встречают, а стало быть, приличный гардероб будет нужен.

Сама же Лизавета обойдется.

Заживет прежнюю жизнью, разве что сделается та поспокойнее... может, издаст статейку или две про того же Вольтеровского, если найдет о чем писать. А она найдет, всегда же находила.

- О чем вздыхаешь? - поинтересовался Навойский, увлекая Лизавету в глубь зеленого лабиринта. Припекало солнышко, а шляпка осталась где-то в комнатах, и вид без шляпки как есть неприличный, впрочем, компания ее тоже далека от идеальной, а стало быть, слухов не избежать. Лизавета была далека от мысли, что прогулка эта останется незамеченной, пусть парк и казался пустым, но кто-то что-то да увидит.

- Просто... о жизни.

- Гость? - Димитрий шагал неспешно, и гравий похрустывал под его ногами.

- Гость, - согласилась Лизавета.

Снять бы эти уродливые очки с него... и волосы прилизанные, смазанные маслом столь густо, что казались они жирными, взъерошить.

И...

- Да, - согласился он. - От гостей порой одни хлопоты. Если будет сильно донимать, говори. Арестую.

- За что?

Навойский пожал плечами:

- Неважно... посидит ночь в подземельях, образумится... ты не представляешь, насколько благотворно подземелья влияют на разум человеческий. Разом как-то оно...

Он щелкнул пальцами, и с куста сорвалась красногрудая птичка, зачирикала громко, возмущенно. А Навойский вдруг остановился, потянул за собой, и Лизавета провалилась во влажную колючую стену.

- Тише, - шепнули ей. - А то услышат...

- Кто? - шепотом же спросила Лизавета, чувствуя себя на редкость глупо.

- Не знаю. Главное, что услышат и...

Он не собирался целовать рыжую.

Помилуйте, это было бы совершеннейшею глупостью, а он и без того их изрядно натворил в свое время. И вообще мысли Навойского были заняты всецело делом и браслетом змеиным, а еще старухой, которую таки доставили, но она, не иначе как из старческой вредности, лишилась чувств, да так и лежала в отведенных ей покоях. Целители утверждали, что обморок этот непритворен, что проклятье кровное почти выело душу несчастной, и лучшее, что можно сделать в нынешней ситуации, позволить ей умереть.

Или вот морфия еще дать можно.

Морфий, как известно, ни при одной болезни лишним не будет.

Димитрий и шел, чтобы самолично убедиться, что старуха не притворяется, но наткнулся на рыжую, которая пряталась в каком-то углу, будто позабыв, что их просили не гулять в одиночестве. Сперва Димитрий разозлился даже, но рыжая гляделась такую несчастной.

А он устал.

И... старуха небось никуда не денется. И морфию ей дадут, несмотря на все Димитрия возмущение, ибо целители славятся своим своевољством. И браслет не вспомнится. Остальное... сделано, что можно, а рыжая одна.

И к стенке жметя.

И лицо у нее такое... Но все равно, целовать ее Димитрий не собирался, просто выгулять.

На свежем воздухе.

Матушка его покойная, пока жива была, искренне полагала этот самый воздух лучшим из лекарств, так ему ли спорить? И он не спорил, просто шел, глядел на нее, серьезную, задумчивую. Вот носик сморщилась. Нахмурилась. И тут же поспешно успокоилась, улыбнулась... Улыбка у нее хорошая, ясная.

А на носу пыльное пятнышко.

Любопытный этот нос, лезет, куда не просят... волосы рыжие, только по-разному, на самой макушке темные, что медь, а на концах пряди выгоревшие светлеют.

И удержаться, не потрогать - невозможно.

И пахнет от нее чернилами, краской темной, а еще самую малость - свежим ветром.

Ей пойдет белое легкое платье. И зонт всенепременно, на водах без зонта появляться неприлично. Димитрий лодку купит.

С веслами чтобы.

И на весла сядет. А она будет зонт держать, укрываясь от яркого солнца, и морщить носик, и смеяться, и, быть может, брызгаться водой.

Но целовать ее Димитрий все равно не собирался. Само как-то получилось... в кустах... в тайном завитке лабиринта, про который знали немногие. Димитрий вот знал, случалось здесь прятаться.

- Что вы делаете? - строго спросила рыжая, только глаза все одно сияли. - Это... это...

- Неприлично?

- И неприлично тоже...

Губы у нее были мягкие. И... какая разница, если никто не видит. В конце концов, и Димитрий имеет право быть немножечко счастливым.

Глава 18

Ее императорское величество разбирала спутавшиеся пряди. За ночь волосы вдруг потяжелели, сделались темны, ломки. Они царапали ладонь и звенели, стоило прикоснуться гребнем.

- Что случилось? - Анна Павловна провела по прядям ладонью, те слабо вспыхнули и погасли.

- Ничего, просто время пришло вдруг. - Ее императорское величество не без труда подняла косу на ладони. - Я все-таки змеиной крови. Будь добра, пригласи...

Его императорское величество на зов супруги явился незамедлительно. И пусть пахло от него брагой и еще кровью, но запахи лгали.

Люди лгали.

И...

Может, ошиблась она тогда, много лет назад, доверившись человеку? Зачем было уходить, осталась бы в тихом мире камня, на берегу чудесного озера, в котором плавали безглазые рыбины, а на дне дремали белые цветы.

- Плохо? - он понял без слов, обнял крепко. - Хочешь, увезу? Посажу на корабль и... море огромно, ни берегов, ни краев не видать.

Его шепот унимал страхи.

- Мы поплывем к солнцу... Когда оно садится в воды, те окрашиваются золотом, а на поверхность выплывают удивительные существа.

Анна Павловна вышла.

- Почему теперь? - спросила императрица, сама зная, что ответа нет. - Ведь не было признаков, ни одного. В прошлый раз, помнишь, кожа начала шелушиться, чесалась жутко, а теперь вот... ничего... и...

- Сколько времени у тебя осталось? - он перебирал железные пряди.

- Не знаю... может, день, а может, два... я не понимаю... - она никогда-то не любила быть слабой, но рядом с ним позволяла себе. Она уткнулась в его плечо, вздохнула, ощутив на затылке теплую ладонь. И пальцы, которые пробежались по мягким пока чешуйкам.

Превращение шло быстро. Стремительно даже.

И она не верила, будто бы это было случайностью... не могло быть... а значит... яд? Нет, яд на змеевых детей не действует, во всяком случае, ей не известно ни одного такого, который бы был опасен... дар крови здесь защищал надежно.

А если не яд?

Вчера обновили букеты. Их меняют раз в три дня, старые уносят, свежие ставят... что было? Розы? Все знают, что императрица предпочитает именно розы, а лилии вот не любит, больно тяжел, душиен аромат их.

- Погоди, - ее императорское величество высвободилась из объятий мужа. Два шага к вазе дались с трудом. Розы... и опять же розы... колючие стебли переплелись, а цветы, подпоенные магией, раскрылись душистыми шапками. В них и не видать крохотных белых звездочек змеиной травы.

Она потянула тонюсенький, что нить, стебелек.

Кто-то ведь...

Не случайность. Пахнет она пылью и еще сеном, но запах этот убаюкивает, а чешуя расплзается по пальцам, старая, блеклая.

- Это... вчера принесли... я и не услышала, - она раздраженно дернула за косу. - И кто-то знал... кто-то знал слишком много.

Император хмурится.

Он тоже понимает, что это все... неспроста.

- Я могу погодить, - императрица размяла в руках несчастный цветок, и кожа отозвалась знакомым

зудом. – Есть настои, есть яды... если взять мышьяк и корень веретенихи...

– Никаких корней, – император провел пальцами по чешуе.

Ровная.

Гладкая. И уже темнеть начала. К вечеру станет бурой, сыпкой, будто ржавчиною поточенной. И главное, кожу покроем плотно, что кокон.

А после и вправду коконом станет.

Змеевны все ж от змей отличны.

– Тебе надо вниз.

В пещеру, выложенную сырыми глыбинами малахита, которые добывали в далеких Тархейских горах и везли подводами, укутавши в медвежьи шубы, чтобы не застыл камень.

А после купали в молоке.

И ставили, дивясь императрицыной прихоти. Кому надобно подземную пещеру камнем драгоценным убирать? А она говорила с этими глыбинами, гладила их, сращивала одну с другой, пока вся-то пещера до последнего закуточка не обзавелась дорогим убранством.

Люди же...

Нет, он не столь жесток, чтобы убить, но вот подправить кое-что в памяти пришлось. И наградить. И отпустить. А теперь вот беспокойно, а ну как тот, другой, который, как оказывается, талантлив безмерно, нашел? И людей, и память их.

И пещеру.

Ведь неспроста прислали эти треклятые цветы. И поди-ка пойми, чего хотели. Ладно бы просто спровадить ее императорское величество, зная, что линька займет не один день. А если ждут там?

Если...

– Все будет хорошо, – она кривовато улыбнулась застывающим лицом. – Я вернусь. А ты меня дождешься. Ты ведь обещал когда-то.

Обещал. Только...

– Может, – его императорское величество умел принимать неприятные решения, – тебе стоит переждать в другом месте?

– Это будет дольше. Неприятней, – она тронула струны волос, которые вяло зазвенели. – Но, быть может, ты прав.

Конечно, он прав.

Император он или как?

– А на балу...

– Анну попросишь, – императрица подняла со столика брошь с крупным адамантом. – Ей не впервой.

Авдотья крутила бумажку, мяла, нюхала, и вздыхала, и прятала в ридикюль, чтобы спустя минуту извлечь. И вновь крутила, нюхала, мяла...

– Да иди уже ты! – Таровицкая устроилась на подоконнике с пилочкою для ногтей. Та, казалось, порхала, едва-едва касаясь розоватых коготков. – Чего маешься?

Одoveцкая перебирала травки, которых вдруг стало слишком уж много. Сухие, ломкие пучки заняли весь стол, потеснивши и стопку Дарьиных романов, и тетради Таровицкой, и собственную Лизаветы шкатулку.

– Не знаю, – вздохнула Авдотья. – Как-то оно... не знаю... папенька не одобрит.

– Ну, если папенька не одобрит... – Одoveцкая оторвала пару хрупких головок песчаного цмина, кинула в стопку, добавила лист багульника и еще что-то, по виду напоминавшее кусок сухой паутины. – Тогда да, аргумент...

Пилочка Таровицкой на мгновение замерла.

- Да что бы вы понимали! - Авдотья смяла записочку, правда, не выкинула, а тут же расправила. - Он же ж... он же ж не просто бабник... он идейный...

- Хочешь, настоечку сделаю одну? - Одовецкая травки растирала деловито, сосредоточенно. И на Авдотью не смотрела, как и на Лизавету, которая сидела в уголочке тихо, стараясь притвориться, будто бы ее вовсе тут нет.

А сердце екало.

И вскачь летело. И останавливалось, чтобы вновь пуститься шальным галопом. И кровь прилиwała к щекам, выдавая. И казалось, все-то здесь знали, а если и не знали, то всяко догадывались, сколь низко она пала. Подумать только, по кустам целоваться...

И с кем?

Ладно бы с женихом, а так... князю что? Сегодня одну целует, завтра другую, благо кустов в императорском парке для того насажено изрядно, а Лизавете теперь майся, думай, значил этот поцелуй что-то или так... еще один идейный.

- Какую настоечку? - Авдотья шею вытянула.

- Обыкновенную, - Одовецкая добавила в ступку сушеную полынь. - В деревне бабы ее частенько для мужиков гулящих просили. Им это дело начисто отбивало.

Пилочка легла на подоконник.

А в уголочке кто-то закашлялся...

Дарья. Точно.

Вот ведь... и знала Лизавета, что она тут, а позабыла.

- А на кой он ей нужен такой будет? - поинтересовалась Таровицкая. - С отбитым этим делом.

Авдотья слегка покраснела и буркнула:

- Он хороший... бестолковый только. И невезучий...

- А теперь еще и кривой, - Таровицкая была настроена поддержать разговор. - Оно, конечно, еще тот шарман выходит, да как бы не боком. Пуля не только глаз выбила. Слышала, что поговаривают, будто его не просто так заперли... в смысле, что он и вправду ту девицу убил, то ли попутал с кем-то, то ли в припадке ярости. Это дело, конечно, не мое...

- Не твое, - согласилась Авдотья, мрачней пуще прежнего, только на Таровицкую эта мрачность не больно подействовала.

Она плечиком повела и продолжила:

- Ему ж пуля в мозги влезла. Меня не слушаешь, так хоть вон Одовецкую послушай. А ты скажи, что такое бесследно не проходит.

- Не проходит, - согласилась Одовецкая, вытряхивая растертые травы в мрачного вида склянку. - Но у меня настоечка одна есть хорошая...

- От которой последние мозги откажут.

- Успокоительная.

- Главное, чтоб не упокоительная. Хотя вот у папеньки служил один вой... из хороших, из старых. Смуту прошел и не чурался ни боли, ни крови. А уже после, на охоте как-то под выстрел подлез. Аккурат как твоему Стрежницкому, пуля в глаз вошла. На излете была... Думали, что помрет, а он выжил.

Таровицкая сползла с подоконника и, скинув туфли, потянулась. Огляделась. И вдруг кувыркнулась, встала на руки. Кто-то в углу охнул.

Дарья.

Лизавета моргнула. А вроде ж сидела, взгляда с Дарьи не сводила, но поди ж ты, та вновь умудрилась исчезнуть, чтобы появиться.

И главное, у князя спрашивать неудобно. Намерения... какие у него могут быть намерения? Вон во дворце сколько красавиц, и родовитых, и богатых, и... помоложе, чего уж тут. И значит, просто приключение.

Романтическое.

Из тех, о которых в романах пишут. Только в романах все всенепременно свадьбой заканчивается, иначе цензура это такое непотребство не пропустит, а у Лизаветы... какой у нее выбор, руку на сердце положила? Отвергнуть эти ухаживания, которые и ухаживаниями-то не назовешь, а после остаток жизни сидеть и думать, как бы оно могло сложиться, если бы...

Или не отвергать?

Позволить себе, наконец, хотя бы маленькую любовь... или не любовь, а как ныне принято говорить, увлечение?

И пусть продлится оно неделю. Или две.

Или даже целый месяц... Месяц – это достаточно долго. Хватит, чтобы в человеке разочароваться.

Или прикипеть всем сердцем.

Нет, прикипать Лизавета решительно не желала, а то увлечение закончится, и как ей жить дальше? Одно дело, когда со светлой памятью о приключении этаким, и другое – с разбитым сердцем.

– Он мрачен сделался... прежде тоже особо общительным не был, – Таровицкая сделала несколько шажков на руках, прежде чем встать на ноги. Юбку одернула, чулочки поправила. – Что? Я как-то в детстве к бродячим артистам сбежала. Неделю прожила, научилась вот на руках ходить и еще ножи кидать. Папенька как отыскал, то выдрал...

Одовецкая лишь головой покачала и в свою склянку плеснула мутной жижи. Сунула стеклянную палочку, поболтала, размешивая чудное зелье.

– Так вот, дядька Панкрат чудить стал. Бывало, уйдет и несколько дней нету, и главное, папенька спрашивает, где был, а дядька только отнекивается, мол, на зайца ходил или волчий след искал. Его жалели, конечно, как же, раненый... А после жаловаться пошли, что бабы по деревням пропадают. По первости думали, конечно, по-всякому... сбежала, или вон медведь задрал, или...

Она вдруг помрачнела.

– Он свою жену убил. И дочек. Давно убил. Разделал и в погребке спрятал. Всем врал, что к сестре поехали, в гости... мало стало... его над телом и взяли... он как зверь... мне этого не говорили, да только я слушать умею. Целитель сказал, что это из-за пули все. В мозгу что-то там задела, был человек, а стал... Папенька ему сам голову отсек.

– Бывает, – Одовецкая потрясла склянку, зелье в которой постепенно приобретало темно-зеленый цвет. – Мозг и вправду весьма сложная структура, и повредить его легко, но известны совсем иные случаи. У нас при монастыре жил один человек... так вот, он когда-то известный всей округе буян был. Жену бил. Детей гонял, его на каторгу не раз грозили отправить, но не успели. В кабаке череп проломили. Так вот, после того он пить бросил, курить бросил, стал говорить о душе, вспомнил вдруг язык латинянский, а еще древнегреческий...

– Вспомнил?

– Он говорил, что вспомнил, что будто пелена с глаз упала. И главное, прошлую свою жизнь он помнил распрекрасно. У жены на коленях просил прощения. Дочерям ноги целовал... Его и отправили в монастырь, сочли за блаженного. Только он не тот блаженный, которые юродивые. Отнюдь... Работал в монастырской библиотеке. Рукописи старые переводил. Оказалось, он знает семь языков, два из которых матушка-настоятельница полагала исчезнувшими, а он вот... Она о нем писала. Вызывала целителей. И да, диагноз ему не поставили, а лечить не посмели, чтобы не спугнуть. Правда, время от времени у него голова болеть начинала, он тогда дюже пугался, что дар найденный потеряет и станет прежним. Но пока вроде не стал. Поэтому соглашусь, что повреждения мозга порой имеют весьма необычные, скажем так, последствия.

– А у нас, – подала голос Дарья, и вновь пространство вокруг нее будто бы задрожало, отступая, позволяя разглядеть хрупкую и какую-то нескладную ее фигурку, – женщина одна была у маменьки в поместье, вышивальщица отменная. Ей муж по пьяному делу голову проломил, так она совсем дурочкой стала. Ни имени своего, ни детей, ни людей... никого не запоминала, не узнавала, только вот узоры. Вышивать стала лучше прежнего. Матушка ее в дом велела взять.

Все вздохнули.

И Лизавете подумалось, что Авдотью ей тоже жаль. И у нее любовь непонятная, не нужная никому, ни самой Авдотье, ни Стрежницкому. Вдруг он и вправду переменится, только поди-ка угадай, в какую сторону.

- Хочешь, - предложила Лизавета, понимая, что дальше не может оставаться в этой комнате, - я с тобой схожу?

- Хочу, - Авдотья записочку расправила. - А он... он тоже дурачок... все они дурачки.

- Кто?

- Мужчины. Только ничего, у меня на двоих ума хватит.

И Лизавета ей поверила.

А еще позавидовала. Ей бы Авдотьиной смелости, и еще веры, что всё всенепременно сложится, и...

У кого-нибудь сложится, это да.

Всенепременно.

К Стрежницкому Лизавета даже заглянула, пожелала доброго дня и еще принесла пряников, которые удалось выпросить у кухарки. А то ж право слово, не идти же к больному с пустыми руками? Следовало сказать, что выглядел Стрежницкий много лучше прежнего. Да, одна половина лица все еще оставалась будто бы слегка отекшей, посеченной мелкими шрамиками, да и черная глазница добавляла жути, но хотя бы перестал походить на умирающего.

- Знаете, - Лизавете вдруг сделалось неудобно.

Лишняя она тут.

Вон Стрежницкий с Авдотьи взгляда не сводит, и главное, смотрит, словно умирающий на живую воду... и поди-ка угадай, сам по себе он или это пуля виновата. Хотя Одовецкая вроде говорила, что пулю вытащили.

И Авдотья. Молчит.

Села напротив и...

- Я, - Лизавета отступила к двери. - Я тебя там подожду. Ладно?

Авдотья рассеянно кивнула. Небось уже жалеет, что Лизавету с собой взяла. И ничего. Лизавета никому не расскажет.

И смеяться не будет.

И вообще, дай Боже, сложится хоть у кого-то жизнь.

На лестнице дуло. Сквозило, странное дело, и сверху, и снизу, и от сквозняка этого разом стало холодно. Лизавета обняла себя за плечи и огляделась.

Никого.

То есть охрана имеется, вон прилипла к стене, лица мрачные, сосредоточенные, а на чем - поди-ка догадайся. И грозны, грозны... Лизавета сделала шаг вверх.

Про башню эту в народе всякое сказывали.

Про духов неуспокоенных.

И про людей, замученных здесь за грехи малые. Ну или не очень малые - тут народная молва закономерно расходилась. А после и сходилась на том, что все одно от башни этой одно зло.

- Лизавета, - раздался шепоток, заставив Лизавету вздрогнуть. - Лисонька моя...

- Мама?

Быть того не может.

Один из охранников дернулся было, но тут же замер, и взгляд его, что характерно, остекленел.

- Лисонька моя... - голос звучал так явно, так близко. И надобно всего-то на пролет подняться, тогда Лизавета сама увидит.

Кого?

Матушка мертва. Лизавета ее хоронила. Сама выбирала платье, сама украшала волосы хрупкими заколками. Сама обувала специальные туфли, потому как в обыкновенные матушкины ноги не лезли. И стояла, глядела, как опускают гроб.

Кидала первую горсть земли.

- Лисонька. - Ныне в матушкином голосе слышался упрек. - Нельзя же быть такой недоверчивой. Порой случаются чудеса.

Случаются. Где-то там.

- Упрямая моя...

Неужели она настолько твердолюба, что вот так, даже не попробовав, откажет себе в праве на чудо? Разве не достойна она? Разве...

Ступеньки сами ложились под ноги, и вот уже Лизавета поднялась на один пролет.

На второй. И на третий.

- Лисонька, - матушкин голос звал, манил. - Бедная моя девочка, ты так устала, нельзя было взваливать на тебя все это.

Что-то будто бы коснулось волос, заставив Лизавету обернуться. Никого. Ничего. И... и даже если это дух, то что ему во дворце делать? В башне проклятой?

- Много вопросов. Никогда не умела ты просто верить...

Не умела.

А вот и дверь ржавая, которой бы запертою быть, она же стоит приоткрыта, манит Лизавету. Ну же, совсем немного осталось. Неужели не хватит смелости?

Не хватит.

Лизавета остановилась, мотнула головой, пытаясь отделаться от этого назойливого - матушка никогда-то назойливой не была - шепотка. Нельзя идти дальше, а надобно бы позвать кого.

- Эй, - голос ее пронесся по башне и утонул в каменных стенах. Показалось, сама башня вяло встрепенулась, но и только.

- Лисонька, - матушка возникла за спиной. Лизавета точно знала, что она стоит там, в обыкновенном своем клетчатом платье в пол. Она так и не привыкла к новой моде, полагая ее чересчур уж распушенной. А платье это любила.

Клеточка синяя. Красная.

Пуговки перламутровые. Кружевной воротничок. Матушка его стирала сама и замачивала в крахмальной воде, чтобы после отгладить. Воротничок делался колюч, но так и надобно.

Волосы зачесаны гладко.

На губах легкая улыбка.

- Бедная моя девочка...

Оборачиваться нельзя, иначе матушка исчезнет. А ведь Лизавете не хочется, чтобы она уходила? Конечно, нет. Ей, напротив, нестерпимо хочется, чтобы матушка осталась. Коснулась волос. Обняла. Прижала к себе. Сказала, что все-то будет хорошо.

- Все будет хорошо, - прошептала матушка чужим голосом.

И Лизавета упала.

Она хотела отскочить, только тело вдруг отказалось повиноваться. Единственное, что вышло: упасть, покатиться по грязной крыше, обдирая локти. И быстрая эта боль принесла облегчение. Лизавета перекадилась на бок, встала на четвереньки.

- Ну и дура, - раздался на редкость холодный голос. - А могла бы умереть спокойно.

Умирать Лизавета не собиралась, она извернулась, нащупывая гладкую рукоять ножа. И дала себе зарок, что если выживет, то всенепременно сходит, отблагодарит за науку.

Пинок под ребра выбил дух.

Но нож Лизавета не выпустила. Она отползла, преодолевая навязанную тяжесть. Будто небо на плечи упало и того гляди раздавит.

Женщина не спешила.

Она позволила Лизавете встать на четвереньки и ударила вновь, в живот. Не сильно, лишь показывая, что уйти не получится. А Лизавета и не собиралась.

Кричать?

Не услышат. И...

- За что? - спросила она, не особо надеясь получить ответ, а заодно уж взглядываясь в лицо незнакомки. А то плыло, менялось. Вот проступили знакомые черты.

Анна Павловна.

Только уродливая. Темное родимое пятно расплзлось, захватив половину щеки, поднялось к глазам и... и вот уже знакомая фрейлина, та самая, которая сопровождала их к пустырю... и дама, чей голос Лизавета слышала, и не только голос. Кажется, именно она задыхалась от ненависти к императрице... Неужели это истинное лицо?

- Ты и мизинца ее не стоишь, - цепкие пальцы впились в волосы, дернули, заставив Лизавету собраться. А по нервам ударил внушенный страх.

Бежать.

Ей не спастись, если останется. Только бежать. Туда, к краю, за которым свобода. И умирать не так страшно, как глядеть в черные глаза...

Лизавета поднялась, чувствуя, как пошатывается. Ноги сами отступили.

- Сопровивляешься? Зря... это бесполезно, - женщина не собиралась отпускать Лизавету. То ли не верила в собственные силы, то ли просто получала удовольствие от происходящего. - Ты ведь на самом деле хочешь умереть, правда?

И в глаза заглянула.

А Лизавета поняла, что еще немного - и полностью подчинится. Она должна была... уже должна бы... она...

Она ударила, как ее учили.

Снизу вверх, целясь в мягкий живот, вдавливая коротенький ножик, не думая о том, что сил не хватит... вовсе ни о чем не думая. И бездна отступила. А женщина покачнулась.

Она стояла. Удивленная.

Пораженная даже... стояла и держала Лизавету за волосы. Точнее, уже держалась, потому как в животе ее торчала кривенькая рукоять самодельного ножа. И женщина трогала ее свободной рукой, трогала, точно так и не могла поверить.

- С-сука, - сказала она, а Лизавета оттолкнула ее, высвобождаясь. И поспешно отошла от края, потому как мало ли, вдруг да соберется с силами, и тогда... - Он не заслуживает... счастья не заслуживает... все равно... достанут... я завещала, чтобы мучился... он проследит, мальчик мой... он...

Она вдруг замолчала. Встрепенулась.

И одним рывком, каким-то безумным, ломаным, словно телом этим завладела совсем иная, нечеловеческого свойства сила, добралась до края. Села. И засмеялась.

А после рухнула в бездну.

И наверное, это было страшно, а еще безумно, потому как иначе не объяснить, почему Лизавета засмеялась тоже. И даже желание возникло последовать.

Острое такое. Чужое.

Но с ним Лизвета как-то справилась, а со смехом вот не смогла.

Глава 19

Стрежницкий растерялся.

Вот ведь.

И сам звал, если подумать, только не надеялся особо, что придет. А она взяла и пришла, села у окна, разглядывает этак с насмешкой скрытой, только вот не обидно.

- Гм... доброго дня, - молчание становилось невыносимым, зато память благодарно попритихла.

Авдотья же кивнула и уточнила:

- Женишься?

- На ком? - счел нужным поинтересоваться Стрежницкий, а то ведь мало ли...

- На мне, само собой. Я папеньке отпишусь. Только сначала повенчаемся, а то еще пришибет на радостях... - Авдотья потерла кончик носа. - Но он отходчивый... поорет и успокоится.

Стрежницкий кивнул.

Точно. Отходчивый.

На Авдотью, может, и поорет, хотя... нельзя на нее орать. Она же еще дитё совсем, если разобраться, вот и набрала себе в голову.

Свадьба. Любовь.

И понимать не желает, что хотя свадьбу сыграть - дело недолгое, но для любви Стрежницкий не приспособлен. Нет, он умеет быть обходительным и всякие глупости говорить, до которых женщины охочи. Притворяться милым.

Играть в возвышенные чувства.

Но только играть. Да и то... раньше он хотя бы в зеркало на себя глядел без отвращения, а теперь что? Этакую рожу каждый день поди-ка вынеси.

- Зачем тебе? - он поерзал.

Как-то похолодало, что ли? Впрочем, в этих покоях и в самую жару было прохладно. Однако вот потянуло сквозняком по ногам, будто дверь закрипела, и вздох раздался такой горестный.

Авдотья не шелохнулась. Не услышала?

Стрежницкий поднялся, придерживаясь за подлокотник массивного кресла.

- Зачем? Может, я в тебя влюблена.

- Пройдет, - он сделал осторожный шаг, стараясь выглядеть неуклюжим. Вздох раздался вновь. Авдотья же... определенно не слышит.

- Уже десять лет не проходит, - буркнула она, потянувши за хвост шелкового шарфика, который змеею обвивал тонкую ее шею.

Потянуть бы.

Осторожно сперва... она удивится, а потом испугается.

- Может, ты просто плохо меня знаешь?

- Плохо? - Авдотья следила за ним превнимательно. - Я знаю, что ты редкостная скотина, что ни чести ни совести... во всяком случае, так говорят. У нас в гарнизоне один поручик, очень честный человек, совестливый, да... его всем в пример ставили. А что жену колотит почем зря, так это потому, как она не соответствует светлому образу, позорит тем, что дочек рожает.

Платочек ласкал бледную кожу.

Ну же, это будет интересно. Это будет почти как прежде... ему ведь понравилось тогда? Смотреть, как она задыхается, как боль искажает черты лица, как утрачивают они всякое сходство с человеческими.

- А ты вот хоть и скотина, но не слышала, чтобы кого-то пальцем тронул.

- А если не пальцем?

- Не пытайся казаться более пошлым, чем ты есть, - поморщилась Авдотья. - Я ж в гарнизоне росла, думаешь, не наслушалась... всякого?

- От кого?

- Хватало, - она отмахнулась. - Дураков везде хватает. От некоторых и папенькин чин не спасет.

Стрежницкий кивнул, сделав заметку поискать в том растреклятом гарнизоне дураков, а как найдет... кривой или нет, но руки небось дело не забыли.

И еще шаг.

Остановиться, будто бы дыхание переводя... и глядеть... этому фокусу его Михасик научил, которому случалось на паперти стаивать. Один глаз влево глядит, другой - вправо, и рот приоткрыть. Выражение лица получается на редкость дебиловатое, если еще слюну пустить, то никто и не подумает, что дурачок блаженный вовсе не так уж блажен.

Слюну пускать Стрежницкий поостерегся.

Авдотья же моргнула, но и только.

- Сам подумай, - спокойно продолжила она. - Жениться тебе все равно придется, и ты наверняка об этом думал. Искать станешь. Найдешь какую дуру, которую родители без приданого пристроить рады будут. Она тебя в слезах о своей загубленной жизни утопит.

И еще шаг.

Кресло.

Спинка высокая, Авдотья же сидит прямо, руки на коленях сложила, только вот под левой поблескивает металл короткокорылового револьвера. В глаза глянула и усмехнулась.

Вот же, бесова девка!

- А мне папенька тоже кого-никого подыщет... еще год-другой даст погулять, а там тетка с него не слезет. Будет пугать, что старой девой останусь. И осталась бы. Невелика беда, но нет же... И ладно, если муженек попадется разумный, а то же ж всяких хватает. В иных дури куда больше, чем в тебе.

От нее пахло свежестью.

Грозой, которая приходит с севера. Косматыми тучами и ветром. Запахом хвои, что становится тяжелым, навязчивым, будто предупреждая о скорой буре.

А в голове билась навязчиво чужая мысль:

- Убей.

Будто на ухо шептали. И стояла она, проклятая его невестушка, за плечом, и чувствовал Стрежницкий и присутствие ее, и тяжесть руки, и холод исходящий, и невозможность всего этого. Чувствовал...

Он медленно наклонился, опираясь на кресло.

- Так женишься? - уточнила Авдотья. - Поверь, я куда лучший вариант, нежели Лизавета, тем более что на нее князь глаз положил, а он своего не упустит.

- Женюсь, - пообещал Стрежницкий, рывком опрокидывая кресло вместе с Авдотьей, и она, кувыркнувшись, ловко, по-кошачьи, встала на ноги.

Коротко рявкнул револьвер.

И кажется, пуля почти коснулась щеки Стрежницкого. Рассыпалось искрами ощущение чужого присутствия, и голос ослаб.

- Не попала, - Авдотья поднялась с пола. - Ты как?

- Живой, - мрачно произнес Стрежницкий. Голова вновь заболела, и так назойливо, тяжело, будто гвоздь в макушку вогнали. Он и чувствовал этот гвоздь, пробивший череп, застрявший внутри, и

хотелось сунуть пальцы в глазницу, расширяя рану, и не важно, какой ценой, однако добраться до гвоздя, до... – А ты всегда на свидания с револьвером ходишь?

– А то, – она подошла и подала руку. – Жизнь, она такая... непредсказуемая. А с револьвером всяко легче. Одовецкую кликнуть?

– Навойского... потому что...

Голова кружилась.

И перед глазами плясали цветные пятна.

– Позову, – серьезно ответила Авдотья. – А ты давай присядь, герой... вот же на мою голову... и на минуту тебя оставить одного невозможно. Теперь и не оставлю. Вечером повенчаемся, а на ночь...

– Вечером?!

– Передумал?

– Авдотья!

– Чего? Да сядь ты уже, бестолочь. Я же говорю, лучше меня все равно не найдешь!

– Зато ты найдешь, – головная боль мешала сосредоточиться. Жениться? Да куда ему... ему, может, осталось не так и долго. И вообще он вдвое, если не втрое старше.

– Ничего, мужчине это простительно.

Это он вслух говорит?

– Говоришь, хотя похоже, что бредишь... – прохладная ладонь коснулась лба. – Лихорадки нет. Помнишь, ты мне куклу привез? Красивую, личико белое, фарфоровое... и платье такое... Ни у кого такой не было. Я ее во двор вынесла, похвастать хотела, так мальчишки разбили. Я плакала.

– Не помню.

– Ничего... Ты мне сказал, что плакать – дело бесполезное, обидчиков наказывать надо.

– И тогда ты в меня влюбилась?

Боль уходила, что вода в песок.

– Нет. Потом. Позже... мне тринадцать было. Первый вечер... представление... мне платье шили, только все вокруг говорили, что сидит оно плохо и танцевать я не умею, что вообще мне бы мальчишкой родиться, потому как девка из меня не вышла.

– Идиоты.

– Еще какие, – охотно согласилась Авдотья. – Я боялась... я не хотела выходить из комнаты, а папенька злился, думал, что я капризничаю. А ты пришел и сказал, что спрячутся только труссы, и вообще... Ты со мною танцевал.

– И ты влюбилась?

– Мне было тринадцать! А ты был красивым. Правда, говорили про тебя всякое... я за эти разговоры одной... мышинного помету в настой для волос подкинула. Что? Она сама хвалилась, что потом гуще стали.

Смеяться было больно.

– Я не дура. Я знаю, что ты меня не любишь. И сомневаюсь, что полюбить сможешь. Из тебя это выпалили. И не считаю, что моей любви на двоих хватит. Просто...

Сложно.

И его едва не убили, точнее, Стрежницкого едва не заставили убить вот эту девчонку, которая пусть и повзрослела, а от наивности не избавилась.

– Изменять ты мне не станешь. Нагулялся до зубовного скрежета. Ограничивать в чем-то... разве что совсем уж в непотребном. Бить и обижать тоже... и если повезет, то мы с тобой уживемся.

– А если нет?

- Разведемся, - Авдотья руку убрала. - Чай, не древних родов, чтобы развода чураться. Так что, женишься? Или мне папеньке наврать, что ты меня соблазнил?

И вот поди-ка, пойми, шутит она или всерьез.

Стрежницкий вздохнул и сказал:

- Ты ж не передумашь?

- Нет.

- Тогда что мне остается?

Про Лизавету они вспомнили, просто... немного позже, чем стоило бы.

Она расшиблась, женщина с на редкость неприметным лицом. И как ни странно, но лицо это уцелело, будто смерть желала подыграть Навойскому. Димитрий стоял над телом, разглядывая правильные, однако все одно некрасивые черты.

Нос тонок.

Глаза темны. В небо глядят, и покойница усмехается, правда, изо рта темною змейкой кровь выползает, а она все равно усмехается.

Мертвая.

Хорошо, иначе Димитрий сам бы ей шею свернул. Вот, значит, кто...

- Унесите, - велел он, отступая. Задрал голову, башню разглядывая. Надо же, снизу она кажется куда более высокой, чем на самом деле. Пузатая, будто бы наклонившаяся, того и гляди осядет, осыплется темною грудой камня.

Сверзлись кто сверху...

Рыжая сидела в какой-то камерке, сжавшись в комочек, и мелко дрожала. Она смотрела на свои руки, на которых застыли пятна крови.

Чужой.

- Она испытала сильнейшее нервическое потрясение, - сказал целитель, приставленный к рыжей. Он разминал руки, и тонкие пальцы шевелились, и движения их вызывали тошноту. - В совокупности с ментальным воздействием оно привело к тому, что девушка пребывает в шоковом состоянии. Ей настоятельно рекомендованы покой и строгая молочная диета. Никакого мяса. Никаких потрясений.

- Почему? - голос рыжей звучал глухо.

- Потому что нервная система женщин куда более хрупка, нежели мужская.

- А мяса почему нельзя?

- Потому что оно тлетворно влияет на естественные процессы, происходящие в женском теле.

- Дурак, - сказала рыжая с печалью. И целитель обиделся. А Димитрий согласился: как есть дурак. Впрочем, главное, что она ожила.

Заговорила.

И если ей мясо надо, Димитрий велит принести с кухни.

- Это шок, - целитель пощупал Лизаветин лоб, а Димитрий поймал себя на мысли, что ему до невозможности хочется надавать этому типчику по рукам.

Чтоб не тянулись, куда не просят.

А то ведь ишь вырядился, и не в форме, но в пиджачке клетчатом двубортном и с карманами. Шейный платок карминовый, рубашка лимонная. Кольца на пальцах поблескивают.

Красавчик.

- Я сейчас дам настойку...

Лизавета отчетливо вздрогнула и попросила:

- Не надо. Я... я сама успокоюсь. Без настойки... настоек... всяких, - она поежилась. - Она ведь... она...

- Погибла.

- Мне жаль.

- Мне нет, - Димитрий выразительно покосился на дверь, и целитель фыркнул, выражая глубину своего негодования. Впрочем, сочувствовать было некому. - Она собиралась тебя убить, понимаешь? И не только тебя... возможно, на ее совести те девушки.

Вздых.

И острые плечи.

- Холодно? - Димитрий накинул ей на плечи свой пиджак, вернее, не совсем чтобы свой, но достаточно разношенный, чтобы быть мягким. И вполне себе теплый. - Я здесь закончил. Дальше без меня справятся. Идем?

Он подал руку.

И рыжая приняла. Пальцы ее мелко дрожали. Она шла, не глядя перед собой, всецело доверившись, и лишь в покоях Димитрия словно очнулась ото сна, огляделась.

Вздыхнула.

- Слухи пойдут, - сказала она с какой-то непонятной обреченностью.

- Пусть идут.

- Пусть, - рыжая позволила усадить себя в кресло, а вот пиджак не отдала, поэтому Димитрий просто накинул плед поверх. А она сняла туфли и забралась в кресло с ногами, укуталась в плед так, что лишь любопытный нос торчал. И рыжие прядки. - Я... я никого никогда не убивала. Я не хотела убивать. Просто чтобы она замолчала... думала, если ей будет больно, она не сможет... не сосредоточится... я...

- Ты все сделала правильно.

- Нож взяла и...

- И хорошо, что взяла, - Димитрий провел рукой по всклокоченным ее волосам. - И правильно. Я лучше ее похороню, чем тебя...

Только допросит сначала, благо некромант передумал помирать, а стало быть, при толике везения Димитрий получит ответы на кое-какие вопросы.

Рыжая всхлипнула.

И разревелась.

Она плакала так искренне, самозабвенно, что Димитрий просто не смог остаться в стороне. Она была теплою и мягкой и пахла башней, а еще немного кровью, но это временно.

И обнимать ее нравилось.

И то, как сама она прижимается к нему, будто ищет защиты. И вообще... И когда она все-таки успокоилась, Димитрий сказал:

- А отдохнуть тебе в самом деле не мешает.

Сонное заклятье, легкое, такое плетут для детей, чуть коснулось бледной кожи. Димитрий поднял девушку, на секунду задумался: совесть требовала отнести рыжую в ее покои, но здравый смысл подсказывал, что там будет небезопасно.

А потому...

Слухи? Пускай попробуют. И на слухи управа найдется. А Димитрию будет спокойней.

Она ждала в парке.

Сидела.

Вставала. Начиная ходить по тропинке, впрочем, быстро останавливалась, будто устав. И вновь садилась на самый край изящной лавочки. Поставленная в тени розового куста, та была почти незаметна со стороны.

Она ждала.

И терзалась, почти решалась уйти, однако продолжала цепляться за робкую надежду, что все будет иначе. Она...

- Хватит, - сказала она, ощутив присутствие за спиной. - С меня хватит, я не хочу больше.

Шеи коснулись холодные пальцы. И незнакомый - всегда-то он играл с нею - голос спросил:

- А с чего ты решила, будто твои желания что-то значат?

- Ни с чего, - она отстранилась. - Я... я разрываю договор.

- Это не в твоих силах.

- Я его не заключала!

- И что?

Ему нравилось играть с ней, глупой девочкой, которой позволили поверить, будто она что-то значит. А на деле...

- Ты все равно меня убьешь. Потом. Позже. Когда я стану не нужна, - она старалась говорить спокойно, но голос все равно предательски дрожал. - Тебе был нужен лишь мой дар, верно? Слушать. Искать, находить тех, кто...

Пальцы скользили по шее. Вверх. И вниз.

Они задержались возле уха, и дышать стало тяжело. Воздух сгустился, облепил ее, став плотным, как вода.

- Хватит, - попросила она, но ее вновь не услышали. Ему нравилось играть.

Всегда нравилось.

- Ты... ты хотел знать, что здесь происходит. И я знала, я рассказывала тебе обо всем, я не думала, зачем тебе это, зачем бредни Кульжицкой или нелепая влюбленность той, другой девочки... или... Цветана... я просто делала, что мне говорят.

- И умница.

Когда перед глазами потемнело, воздух вернулся, вернее, ей позволили дышать. Пока. Она ведь была еще нужна.

- Я сумела приблизиться к нему, и у меня получилось. Он даже меня запомнил!

- Какое достижение!

- Ты собираешься убить его... Я не хочу в этом участвовать. Только не в этом!

Молчание.

- Я... я пришла сказать, что ты можешь убить меня. Прямо здесь и сейчас, но я больше не буду тебе помогать! Я не хочу... и не стану.

- Дурочка.

- Какая есть, - огрызнулась девушка. - Но ты... я не позволю больше запугивать меня. Я...

- Такая храбрая, но бестолковая дурочка... Не позволишь? Хорошо. Значит, ты не испугаешься меня? Отлично. Мне бы не хотелось, чтобы моя будущая жена меня боялась. А еще не хотелось бы оставлять ее сиротой, мир так непредсказуем, так опасен...

Дарья стиснула кулачки. Поддаваться нельзя. Ни в коем случае.

- Мне будет грустно, если с родителями что-то случится. Ты же не хочешь этого?

Нет.

Но с ними в любом случае что-то да случится. Мама не знает точно, но догадывается о многом, а молчать она не станет, даже ради него и ради Дарьи. Папа... папа полагает, будто все в порядке, но это тоже иллюзия.

- Неужели не жаль их?

- Жаль, - рядом с ним тяжело находиться, и странно даже, как это прежде Дарья не замечала этой тяжести. Слепа была. Глуха... решила, будто вот она, любовь.

Или за нее решили.

С него бы случилось, тогда почему?..

- И братьев не жаль? Они тебя так любят, так заботятся, переживают, готовы на все... - он играет. И не кажется разозленным. И стало быть...

Все не так, как ей виделось прежде.

И быть может, бунт этот ее нелепый тоже ему на руку?

- Не дрожи, - он отступил. - Не трону. Все же нас слишком многое связывает. А что до прочего, то ни к чему я тебя принуждать не стану. Все, что нужно, ты уже сделала. Знаешь, змеи очень любят камни. Теплые. Редкие... ты у меня, если разобраться, еще та редкость. И плакать не стоит. Все у нас будет хорошо... У нас - будет.

Он коснулся волос губами, и это прикосновение, легкое, некогда заставлявшее сердце биться чаще, теперь показалось отвратительным.

- От тебя требуется немного. Быть искренней. Ты же у нас способна на этакую-то малость?

Дарья стиснула кулачки.

Она... Она сбежит. Сегодня же.

И отцу напишет. Расскажет обо всем. Он... он сильный и поймет. Поможет. Давно следовало бы рассказать, только она забывала. Это тоже часть дара, только чужого. Дарья вот терялась, а он умел делать так, что люди забывали о важном.

Или не важном.

Главное, сейчас он ушел и... и знает ли о побеге? Догадывается, наверное. Он хорошо изучил Дарью, как и всех прочих. И значит, понять, что она сделает, несложно... и не получится ли так, что именно побега от нее и ждут?

Или...

Она стиснула виски ладонями.

Плохо. И будет еще хуже. И... письмо до отца не дойдет. У него не так много друзей, но и тех, которые есть, хватит, чтобы об этакой мелочи позаботиться. За Дарьей тоже присмотрят, но она больше не боится... настолько ли не боится, чтобы не смолчать?

Сердце заныло. Скажешь и...

И промолчишь, легче не станет. Вот как ей быть?

Глава 20

Лизавета пришла в себя не сразу. Она то просыпалась, то открывала глаза, видела пыльный кусок балдахина и посеревший потолок, край окна, за которым сияло солнышко, и вновь падала в душноватый тягучий сон. И опять же просыпалась.

А потом сон, тяжелый, муторный, вдруг взял и закончился. И Лизавета очнулась.

В чужой комнате. В чужой постели.

И мужчина, дремавший в кресле возле этой самой постели, тоже был чужим. Совершенно. Как бы ни хотелось иного. А ведь хотелось. Встать. Протянуть руку. Коснуться волос. Сказать что-нибудь такое, на редкость уместное, чтобы он улыбнулся и...

И впору на романы переходить, те, в которых одна несчастная и очень бедная сиротка встречается мрачного графа, не знающего любви, чтобы навсегда изменить его жизнь.

Лизавета шмыгнула носом от жалости то ли к сиротке, то ли к невинному графу, не знающему пока, какие испытания приготовила для него судьба, то ли к себе самой из-за глупостей, что в голову лезут.

Придумается же.

Хотя...

Если «Сплетник» закроют, как один из вариантов, почему бы и нет.

- Как вы себя чувствуете? - поинтересовался Дмитрий, не открывая глаз. А сонным он выглядел как-то... мягче, пожалуй.

- Не знаю пока, - честно ответила Лизавета, прогоняя от себя призрак будущего романа, где влюбленный граф раскаивался в былых прегрешениях, клятвенно уверяя гордую сиротку, что более никогда...

Что именно он «никогда», Лизавета не знала.

- А когда узнаете? - Дмитрий открыл глаз.

Левый. Сонный.

- Понятия не имею. Но... почему я здесь? Не поймите превратно, но это как-то... неправильно.

- А где правильно?

- У целителей...

- К ним попадать не стоит, - сказал князь Навойский, открывая и второй глаз. - Уж поверьте мне, к ним если попадешься, то после не выпустят, пока всецело не излечат. А процесс это долгий, муторный... и настойки их... отвратительные.

Тут Лизавета согласилась. Не то чтобы отвратительные, скорее уж сомнительного, как выяснилось, свойства.

- Но...

- Ты за меня замуж выйдешь, - Навойский поднялся. - На балу объявим о помолвке, и никто ничего дурного не подумает, точнее, подумают, конечно, но языки попридержат.

- Это вы мне предложение делаете? - уточнила Лизавета, на всякий случай одеяло повыше подтягивая. Лежала она в постели, что характерно - в одной сорочке, и судя по вышивке, предназначенной вовсе не для того, чтобы прилично в ней болеть.

- Это я тебя в известность ставлю.

Книжный граф подленько захихикал, но заткнулся. Ему предстояло предложение делать романтично, в цветочных кущах и с кольцом фамильным.

- А если я против?

- А ты против? - Навойский изогнул бровь.

- Я вас плохо знаю!

- Вот и будет время узнать получше... целая жизнь.

Только, мнится Лизавете, может быть она короткой, хотя и полной событий, правда, от любви далеких. А в роман надо будет приключений добавить, опасностей всяких там смертельных, читательницы это любят, главное, чтоб герой героиню красиво спасал.

- У меня приданого нет, - возразила Лизавета.

А Дмитрий отмахнулся:

- У меня есть.

- И титула!

- Свой имеется.

Нет, не может быть, чтобы он всерьез... он же ж... кто он, а кто Лизавета? Это шутка, и крайне дурная, если так...

- Успокойся уже, - Дмитрий сел на кровать и руку Лизаветину взял, правда, вовсе не затем, чтобы поцелуями покрыть. Пульс сосчитал.

Хмыкнул. Произнес с немалою обидой:

- А мне казалось, что я завидный жених.

- Завидный, - согласилась Лизавета, руку под одеяло пряча. - Очень завидный. Только... вы же понимаете, что я... и вы... и будут говорить...

- Пускай себе говорят.

- Нет, - она тряхнула головой. - Неправильно все это. Понимаете, сейчас тут происходит... всякое происходит... и я тут... и вы... и кажется, что это любовь. А потом все закончится, и вы поймете, что не такую жену себе искали. И при дворе меня не примут. Точнее, примут, куда денутся, только я здесь не приживусь. Не мое это.

- А что твое? - он спросил это без раздражения, без злости, с искренним любопытством и... сочувствием?

Лизавета зажмурилась и призналась:

- Я не знаю.

- Чаю хочешь? - Навойский поднялся. - Тебе и поесть не помешает, сутки спала.

- Сутки?!

Завтра, выходит, бал... а у нее гость не обихожен, и вообще...

- Не волнуйся, твоего зануду заняли. Там халат лежит. И вообще, пользуйся чем надо. А чего нету, то и говори, принесут.

И стало быть, тайны в Лизаветином местонахождении нет никакой. Она вздохнула, пытаясь вызвать к себе жалость, но не вышло. Придуманный граф кривлялся, а сиротка, девушка на редкость непоколебимых моральных устоев, укоризненно качала головой: эх Лизавету угораздило-то.

Теперь ей и в самом деле только жениться.

В смысле, замуж выходить.

И тетушка порадует, давно уже отчаялась пристроить Лизавету в хорошие руки. В ванной перед зеркалом, в котором отражалась растрепанная девица с опухшим лицом, Лизавета призадумалась, можно ли руки Навойского считать в достаточной мере хорошими и что будет, если она согласится.

Выйдет замуж.

Переедет во дворец... и... дальше что? Дмитрий как работал, так и продолжит работать, в этом деле жена не помеха. А Лизавете что? Вечера.

Суаре. Салоны.

Наряды и шляпки. Те самые выставки георгинов, скачки и почти неприличные для дам благородного сословия петушинные бои. Дети, которых передадут в чужие руки, ибо собственными

воспитывать не комильфо, и вообще при дворце детям не место.

Нет.

Она... она не хочет так.

...Рыжая вышла такая... серьезная?

Мрачная. Решительная.

Димитрий вздохнул: вот ведь, наверное, надо было озаботиться розами, правда, в свете последних событий у него на розы почесуха начинается. Тогда кольцо.

Какое-нибудь поизящней. И с камнем.

На помолвку принято с камнем дарить и желательно, чтоб покрупнее, пофамильной.

- Извини, - рыжая отвела взгляд, присаживаясь на краешек стула.

Халат запахла.

Халат собственный Димитрия и ей великоват, вон шейка тонкая торчит, ключички выглядывают и полосочка кружева под ними. Прядка рыжая к шейке ласкается, и так тянет ее поправить.

- Понимаешь, - рыжая смотрела на руки, а Димитрий - на прядку.

И на кружево.

И мысли в голове бродили недостойные благородного человека, которому полагается неудачи переносить стойче.

- Ты мне нравишься, - выдохнула рыжая и покосилась. - Очень нравишься... непозволительно даже...

- Кем?

- Что?

- Кем непозволительно?

- Приличиями! - она слегка покраснела, и выглядело это очаровательно. - И вообще не перебивай! Я тут... может... готовилась... и просто... кем я стану?

- Моей женой.

- А дальше? - рыжая склонила голову набок. - Допустим, я тебе тоже нравлюсь... то есть наверняка, если ты решил предложение сделать, хотя мог бы... и без него. Вот. То есть я не о том сказать собиралась. Я тебе нравлюсь?

Димитрий кивнул, так, на всякий случай, а то кто их, женщин, поймет, что в головах творится. Не кивнешь тут в нужном месте - и все, смертельная обида.

- И допустим, мы поженимся... и потом... я буду нравиться. Некоторое время. Пока не надоем. А после что? Ты будешь меня избегать? Или отошлешь куда подальше, чтобы не мешала? Или просто разведемся, положишь содержание... Я так не хочу.

- Я тоже, - согласился Димитрий, пробуя остывший чай. - Но ты говори, забавно получается.

Рыжая насупилась, вздохнула:

- Я... может, стану жить лучше... ты богат, а я нет... совсем... то есть я не жалуюсь, я привыкла. Но у меня есть дело. И оно мне нравится. Я просто не смогу играть в здешние игры... все эти... Нет, я понимаю, что многое делают, то есть наверняка имеются занятия серьезные, вроде тех же попечительских комитетов, приютов, лечебниц, за которыми надо приглядывать. Это не мое! Я могу, но не мое...

Она замолчала, явно расстроенная.

И Димитрий спросил:

- А что твое?

Сидит вот. Глядит.

Разглядывает. Хорошо, что не смеется, потому как насмешки Лизавета бы не вынесла. Точнее, вынесла бы, конечно, куда ей деваться, но не от него, и... и спрашивает.

Ему действительно интересно?

Действительно.

А главное, Лизавета сама не знает, что ответить. И хорошо, что Навойский не торопил.

Жить, как прежде?

Вставать. Бежать на службу. Вести охоту, писать статьи, которые Соломон Вихстахович примет с преогромным удовольствием? Оно, конечно, дело хорошее, только... рано или поздно Лизавету поймают. И что тогда? Достанется ведь не только ей, но и сестрам, не посмотрят, что они ни в чем не виноваты.

Тогда... оставить все, как оно есть? Не трогать Вольтеровского и его давешнего начальника, который, если подумать, был виновен лишь в обыкновенной чиновничьей слепоте и таком же равнодушии. Пускай себе живут, тем паче что если права Одовецкая, то и жить Вольтеровскому осталось не так долго.

Так есть ли смысл в мести?

Да, прежде был, но то прежде. А теперь? Сестры выросли, поступят, благо теперь есть на что... даже если не хватит младшенькой, всегда можно будет императрицын подарок пристроить в хорошие руки. Сама же Лизавета останется при «Сплетнике», благо колонка дамская в нем и есть, и будет жить.

Станет писать тихие статейки про то, как правильно хранить луковицы тюльпанов и чем чистить столовое серебро. Сочинять советы и маленькие рекламные заметки, за которые, к слову, тоже платят неплохо. Нет, не так, как за те, другие, но...

Еще можно в школу пойти, благо двух курсов ее хватит, чтобы взяли с превеликим удовольствием. Детей станет учить грамоте и основам магических техник.

По вечерам с тетушкой чаевничать.

Обсуждать дни прошедшие... людей вот... И чем плохо? Подкопят денег и на те же воды поедут, вдвоем... И чем худо?

Ничем.

Только тошно так, что мочи нет. И слезы сами собой на глазах вскипают. И стыдно за них, а еще за трусость свою. Небось батюшка не похвалил бы.

- Я... - Лизавета подняла голову. - Я статьи пишу... в «Сплетникъ».

Навряд ли он этого не знает. Шила в мешке не утаить, да и князь кивает благосклонно, мол, ничего страшного, простительно.

- И... я не только про цветы пишу.

Вот никто ж ее не заставляет признаваться. Чего стоит промолчать, а то и придумать историю. Лизавета горазда истории всякие придумывать, неужто для себя не сочинит?

Только...

Соломон Вихстахович говорил, будто князь - человек порядочный и...

- Я пишу... под псевдонимом, - с трудом получается держать голос ровным. - Никанор Справедливый...

А вот теперь обе брови князя поползли вверх.

И рот слегка приоткрылся.

И... Лизавета зажмурилась, кляня себя за дурость. Молчала бы... Кто молчит, тот живет дольше, может, не так чтобы и весело, но...

- Ты? - уточнил князь зачем-то.

- Я, - сказала она.

Чего уж теперь.

И он больше ничего не спрашивал, только Лизавета все равно рассказала. Наверное, ей просто давно уже хотелось кому-то рассказать. А может, правы те, кто говорит, что женщины для хранения тайн не приспособлены. Лизавету эта вот тайна, как оказалось, измучила...

А вот такого Димитрий не ожидал.

Поверил сразу.

Разозлился? Есть такое, разозлился, все ж таки газетенка эта с ее охотой на правду изрядно ему крови попортила. Вот только злость была какою-то... неправильной?

Пожалуй что.

А она говорила. Рассказывала. Глядела в чашку, к чаю так и не прикоснулась, а ведь голодная, должно быть, но, вместо того чтобы есть, отражением своим любителю. Оно, конечно, прехорошенькое и...

И дело то давнее Димитрий не помнит.

Не в человеческих это силах помнить все, что в империи случается. Даже если не в империи, но в одном лишь Арсиноре. Велик он. И народец неспокоен. И гибнут что стражи городские, что...

Обыкновенное дело.

И дальше тоже, если разобраться, обыкновенно. Бывает и не такое. Совестно? А как оно иначе, за каждым чиновником небось не приставишь соглядатая, а если и приставишь, то сговорятся, благо были прецеденты. А потому совесть лишь тяжело вздыхает.

Она у Димитрия такая. Воспитанная.

А вот с защитой сирот надо будет чего-то думать, но то - Лешеково дело, он цесаревич, пускай и решает.

- Вот как-то так, - сказала Лизавета и отхлебнула-таки чаю, поморщилась. - Холодный... Так что, сам понимаешь, в жены я тебе не гожусь. А в любовницы если...

И вновь замолчала, верно обдумывая наисерьезнейший вопрос, годится она хотя бы в любовницы такому важному человеку. Димитрий же чашку у нее забрал, а то ж того и гляди вывернет на себя, и за рыжую прядку дернул.

- Бестолочь.

- Сам такой, - Лизавета прядку из его пальцев вытянула, волосы собрала и закрутила строгим пучком. Правда, тот все одно рассыпался без шпилек.

- И сам такой, - соглашаться с ней было просто. Во всяком случае, сегодня и сейчас. Димитрий протянул бутерброд с ветчиной и соленым огурцом. - На вот, съешь... и подумай, чем бы ты хотела заниматься.

Бутерброд она взяла. Огурец сняла.

И сунула за щеку. Отломила от хлеба корочку и сунула за другую, ставши похожей на рыжего хомяка. Закрыла глаза...

Любовница.

Какая из нее любовница? Любовница - это когда несерьезно, когда всегда в приподнятом настроении и шелках с кружевами, веселье по расписанию и никаких обид.

Никаких обязательств.

Никаких неприятных случайностей. Редкие встречи, еще более редкие выходы в места, в которые прилично приходит именно с любовницами, и подарки в благодарность, благо состояние позволяло Димитрию быть благодарным.

Лизавета жевала. Думала.

И взгляд ее был привычно туманен.

А если украсть? И в церковь. Батюшку подходящего отыскать несложно. Обвенчает и согласия не спросит, а дальше как-нибудь...

Чем Лизавета хочет заниматься?

Он ведь спрашивал уже, и тогда ответа у нее не оказалось. А теперь вот... Она же хотела писать? Но не о чиновниках, которые взятки берут или девиц на непотребства склоняют, но о вещах не менее важных.

О публичных домах с тайной их жизнью.

Он в ужас придет, если узнает, что Лизавете в этаком месте не то что просто побывать пришлось, но и провести не одну неделю, выслеживая одного урода.

Нет. Не о том.

О престарелых проститутках, изрядно побитых жизнью, а потому не знающих ни жалости, ни сомнений. Ими, если разобраться, движут страх и понимание, что никому-то они не нужны, что стоит отступить, и разом они окажутся на улице, если не сразу на кладбище.

О своднях.

И девицах простоватых, деревенских, которые едут за лучшей жизнью и сперва, пока молоды и свежи, даже находят ее. О мужчинах, полагающих, что заплаченные деньги дают им полную власть над другим человеком. О пороках тайных и явных...

Нет, цензура не пропустит.

Этакое - и в приличных газетах печатать? Никак невозможно.

А если о другом? О тех же сиротах, которые, оставшись без родительского надзора, оказываются практически на улице? И ладно если имеется родня, но ведь не всегда она действует во благо...

О границе и людях, которые на ней живут.

О севере. Юге.

О тайной жизни рынка. Или вот о доходных домах, многие из которых, что поплоче, с легкой руки хозяев превращаются в подобие домов для свиданий.

Да, пожалуй, она хотела бы написать о многом, но поймут ли...

Лизавета вздохнула.

А князь... он опять слушал. Этак участливо, внимательно, до того внимательно, что хотелось совсем даже не говорить, а... приличные девицы о таком думают только после свадьбы. Ну или хотя бы помолвки.

- В этом может быть смысл, - Дмитрий поскреб подбородок. - Почему бы и нет? Нам давно пора было бы заняться прессой... создать этакое, скажем, независимое, относительно независимое издание, чтобы печатали всякое...

- А цензура?

- И цензура будет, - успокоил князь. - Куда ж без нее, но... форматы стоит пересмотреть, да и вообще с точки зрения разумной пропаганды...

- Я не хочу пропаганды!

- Всегда приходится с чем-то мириться. Да и никто не просит тебя прославлять государей, на это свои люди есть. Нет, надобно, чтобы писали правду, не всю, само собой, ты же не настолько наивна?

Лизавета пожала плечами и сунула в рот обгрызенную колбасу. Всегда она так, когда голодна была, сперва хлеб съедала, а колбасу напоследок оставляла, как самое вкусное.

И матушка ругалась.

- Это чтобы обид не было, но вот... наши пишут об Арсиноре, а в губерниях - о них же. Пишут много всякого, но большею частью или сплетни, или пустое... Нет, это дело надобно обмозговать.

Он встряхнулся и встал. Руку подал.

- А ты от меня все равно не сбежишь...

И Лизавета поверила. У нее получилось выдержать взгляд, и улыбнуться даже, и сказать:

- Я и не собираюсь.

Глава 21

Ее императорское величество выглядела не самым лучшим образом. Чешуя покрывала левую половину лица, а правая опухла, покрылась мелкими язвочками, чего прежде не случалось.

- Просто, - голос и тот сделался глух, тяжел. - Процесс... начался не вовремя и идет слишком быстро... мое тело не успевает.

- Молчите, - велела княгиня Одовецкая, осторожно касаясь щеки императрицы. Но даже это осторожное прикосновение причинило боль.

Лопнули язвы. Потек гной.

- Ложитесь и не шевелитесь, - Одовецкая помогла императрице вытянуться на каменном ложе. Эта пещера была лишена драгоценного убранства, но все одно камни дышали силой. Здесь едва-едва получалось повернуться двоим, а третий был бы и вовсе лишним, и потому остался в коридоре.

Стоял, прижавшись к стене, вслушиваясь в происходящее за массивной дверью.

Сжимались пальцы. Разжимались.

И сердце летело вскачь, то возвращая в прошлое, где было круглое, будто циркулем вычерченное озеро. Гладкие каменные берега, и вода сама тоже гляделась камнем.

Белый островок.

И девица, на нем сидевшая. Коса ее золотая, протянувшаяся до самого берега таким мостом волшебным. Рискни ступить, коли не боишься. Дойдешь и заглянешь в глаза змеиные, а там, хватит сил свой разум удержать, тогда и получишь право просить.

Он шел за живою водой. За чудом.

И чудо получил же, но не то, вовсе не то, которого чаял, а теперь вот не отпускало ощущение, что пришло время платить по долгам.

Одовецкая показала, когда он почти уже решился открыть обшитую железом дверь.

- Она уснула. И... боюсь, в данном конкретном случае я мало что могу, - княгиня никогда не лгала, во всяком случае, ему. - Я могу поддержать человеческую часть ее, но я не уверена, что тем самым не сделаю хуже. Иные крепче людей. Выносливей. И более живучи.

- И что мне делать?

Он знал, что услышит: ждать.

И надеяться, что ожидание не будет долгим и он не сойдет с ума. И не подведет сына, который на него рассчитывает.

- Золото, - Одовецкая мелко дрожала.

Озноб?

Она далеко не молода, и пусть силы сохранила, однако сейчас отдала их слишком много.

- Принесите сюда золото. Все, которое найдете. И камни, чем больше, тем лучше. Они усилят... иную ее часть. А это позволит стабилизировать процесс.

Совет был неплох.

И его императорское величество от души поклонился, на что Одовецкая лишь фыркнула:

- Бросьте, Сашенька, вы знаете, что для вас я готова сделать все и даже больше. Господь и закон лишили меня права воспитывать мою дочь, а я была слишком слаба и нерешительна, чтобы действовать в обход закона... к сожалению.

Император предложил Одовецкой руку, и отказываться она не стала.

- Не буду лгать, что вы мне заменили сына, все же я всегда помнила о том, кто вы есть, но, пожалуйста, вы стали мне своего рода племянником. Племянников у меня никогда не было.

- Тетушка...

Шутить получалось плохо.

Все же мысли его были рядом с той, которой он обещал многое, а не сумел исполнить даже малого.

- Молчите уже... выросли на мою голову, - Одовецкая остановилась, переводя дыхание. - Могу ли я надеяться, что в случае моего... ухода мою девочку не оставят без присмотра?

- Безусловно.

- И Таровицкие... Мне они в лучшем случае не ответят, Сашенька, но если спросите вы, если потребуете, призовете клятву, они не посмеют солгать. Я должна знать. Понимаете?

Он наклонил голову.

- И да, я предполагаю, что правда будет не совсем та... Вся моя жизнь, как показывает опыт, была не совсем той...

В подземельях сыро. Тихо.

И спокойно. Здесь кажется, будто мира за пределами узких этих коридоров не существует вовсе или же он, этот мир, до невозможности далек, выдуман. Стерты краски, приглушены звуки. Пыль под ногами. Мох на стенах, влажноватый, пышный.

И голоса вязнут в нем.

Здесь можно без боязни говорить обо всем, о прошлом ли, будущем, о надеждах ли несбывшихся, о чаяниях ли... здесь...

- Я никогда и никому... даже подругам... впрочем, подруг у меня никогда-то и не было. Меня растили с мыслью о служении. Людям и роду. Вернее, роду и людям... именно так. Я должна была продолжить дело моих родителей, приумножить знание и силу. Целители весьма тщеславны, особенно те, которых Господь наделил настоящей силой. И я тоже не избежала сего греха... за грех его родители не считали. Они учили меня сами. И учили так, что свободного времени, которое можно было бы потратить на всякого рода глупости вроде дружбы, просто не оставалось. Мне исполнилось восемнадцать, когда меня вывезли в свет. Я знала все, что положено барышне этого возраста, а еще и целителю первого уровня силы, но я совершенно не разбиралась в людях. Я мнила себя стоящей выше их, упивалась собственным знанием, а потому и попалась.

Здесь говорит вода. Тихо-тихо.

Шелест подземной реки, ласковое урчание воды, которая пробирается под завалами камней, и тревожная нервная капель. Пальцы Одовецкой подрагивают.

- Мне нашли мужа. Спорить я и не думала, всецело полагаясь на родителей, да и Затокин умел производить впечатление своим умом, и не только. Он был мил. Очарователен, когда хотел. И харизматичен. Я далеко не сразу поняла, что он есть такое. К счастью, я весьма быстро забеременела и родила дочь, что и вызвало изрядное его недовольство.

Слова Одовецкой уходят в камень, как вода. И камень становится мягким, податливым.

- Именно тогда он впервые поднял на меня руку. Представляете? Меня в жизни никто и никогда... а он... он молча меня избил. А после сам же убрал следы. Не залечил, отнюдь. Только следы... я сама срастила трещину в ребре, и это его взбесило вновь...

- Вы...

- Сбежала к родителям, но они не пожелали скандала. Более того, они мне не поверили, - Одовецкая криво усмехнулась. - В конце концов, я ведь всего-навсего девочка, бестолковая и утомленная долгими родами. Я сама не понимаю, что говорю. А он старше, умнее... и должен перенять дела рода. Меня вернули. И настоятельно посоветовали не глупить, а просто поговорить с мужем. Найти общий язык. И я поверила... это ведь так просто - поверить, что именно ты и виновата во всем. Родила дочь? Надо было рожать мальчика, и в следующий раз родится именно он. Только следующего раза не было. Почувствовав свою безнаказанность, он словно обезумел. Из нашего дома была изгнана почти вся прислуга, кроме той, которую нанял он. А я... мне запрещалось покидать пределы собственных покоев. Практика? Помилуйте, о какой практике может идти речь, если я не способна и на малое. Я бездарна. Я позор рода. Я... я верила во всю эту чушь.

- И не пытались?

- Просить защиты? Помилуйте, у кого? Родители мне не верили. Друзей у меня не было, а остальные... к сожалению, в нашем обществе всегда виновата женщина. Что бы ни случилось,

виновата именно женщина. Да и мой супруг к этому времени успел обзавестись покровителями, благодаря которым он и сделал неплохую карьеру. Кто бы позволил мне портить его репутацию? Несколько лет я жила будто в дурном сне, постепенно превращаясь... не знаю, в подобие человека? Пожалуй. И игрушка начала ему надоедать. Я перестала сопротивляться. Сдалась. Стала неинтересна. Он заводил любовниц. Некоторые жили в нашем доме, и, более того, меня заставляли прислуживать им. Ему это казалось забавным. Не знаю, чем бы это закончилось, но мне удалось забеременеть вновь. Целительский дар – вещь своеобразная, особенно у женщин. С одной стороны, мы, безусловно, на многое способны, а с другой – он истощает нас, сказываясь прежде всего на способности иметь собственных детей. Именно поэтому наш род никогда не был многочисленным. Я забеременела, и... он ждал сына. Наследника. Нет, он любил Ясеньку, что было странно, но все равно хотел сына. И, узнав, что я в положении, отстал. Он вдруг стал прежним. Окружил меня заботой, вниманием, будто и не было тех лет. Исчезли другие женщины, а наш дом вновь преобразился.

Она содрогнулась и поежилась.

– Я рада, что его убили. Однажды он понял, что ребенок, которого я жду, это вторая девочка. И впал в ярость. Я не думаю, что он хотел убить своего ребенка, просто не справился со злостью... просто... я очнулась в крови. Я лежала на полу и понимала, что этого ребенка больше нет, что... А он стоял надо мной и холодно рассказывал, насколько устал от моей никчемности. Именно тогда я поняла, что он меня убьет. Целителю проще, чем кому бы то ни было, убить другого человека. И меня обуяла такая непостижимая ярость... Именно тогда я вспомнила, что и сама являюсь целителем. Не просто целителем... Одовецкие тоже древний род, а у каждого древнего рода имеются свои секреты.

Она никогда не была слабой.

Во всяком случае, перед ним. Одовецкая казалась если не сотворенной из камня, то где-то близко. Спокойная, уверенная в силах своих. Невозможная женщина, как именовали ее няньки, на которых она взирала с ленивым благодушием, как смотрят люди сильные на слабых, бестолковых.

– В тот вечер... верно, я была отчасти не в себе, если решилась... осмелилась... как бы то ни было, но я остановила его сердце. А после запустила вновь. И вновь остановила... и... это продолжалось до тех пор, пока он не запросил пощады. Я не знаю, почему я его не убила. Теперь, конечно, можно поискать объяснений... скажем, в моральных моих принципах, или же в страхе перед судом, или... Но правда в том, что он остался жив чудом. А к утру, когда мы оба вымотались, в моей голове прояснилось достаточно, чтобы потребовать клятву. На крови. По... старому обряду, который не допускает иных толкований и допусков, столь изрядно способных испортить жизнь. Нет, это была первичная магия со всеми ее особенностями. Он поклялся, что не причинит мне вреда. Ни словом, ни делом, ни молчанием, ни бездействием.

Подземелья умели слушать.

Что может быть благодарней гранита, который в своем затянувшемся одиночестве способен внимать каждому слову. И Одовецкая вздохнула. Попросила:

– Остановись. Что-то голова кружится, все же мы не молодеем.

Его императорское величество послушно остановился.

– Нет. Свои силы при себе оставь, еще пригодятся. Вы с нею связаны, попробуй напитать металл, быть может... хуже не станет, но будет ли польза, не уверена.

– А ваше...

– Знание? Не стоит полагать его столь уж всеобъемлющим. Кое-чему я научила Аглаюшку. Она хорошая девочка, светлая, но довольно наивная. Почти как я когда-то. И в этом отчасти моя вина. К сожалению, мое замужество не прошло бесследно, и когда мной овладевает страх, я напрочь теряю способность думать. Увы, я далеко не сразу заметила это за собой. Так вот, кое-что я оставила тому мальчику... он не может лечить, но теоретик великолепнейший. Не бросайте...

– Не хороните себя до срока.

– Я не хороню, я пытаюсь предусмотреть то, что следовало бы предусмотреть давно. У него остались мои дневники, записи. Кое-какие родовые секреты, которые давно стоило бы обнародовать, из тех, что относительно безопасны. Что вы так смотрите, дорогой, гм, племянник?

– Безопасны?

– Увы, даже столь мирная магия, как целительство, в определенных условиях может быть весьма разрушительной. Поэтому некоторым знаниям лучше... уйти. До них в том числе и желал добраться мой супруг. Ему казалось несправедливым, что, будучи сильнее меня, он знает куда меньше. Ему

родовые наши умения казались чем-то вовсе уж фантастическим. Он выбивал их из меня... те, которые мог... что? Иное знание требует наличия кровного родства... я тоже не могу переступить через клятву. Но как бы то ни было, он решил, что узнал все... и да, все, что я могла открыть, я ему открыла. И стала бесполезна. Он нашел бы способ объясниться с моими родителями. Его стараниями они считали меня то ли душевнобольной, то ли... не знаю. Но я взяла клятву, а утром покинула дом. Я бежала, то есть насколько это было возможно. Я отправилась в небольшой госпиталь, где меня приняли, не задавая лишних вопросов. Да, Сашенька, первые два года я провела, помогая проституткам, вора и нищим вместе с сестрами, которые обладали удивительным умением. Я могла исправить тело, а они лечили души. Мою в том числе. Там я набралась сил и смелости подать прошение о разводе. Меня даже не удивили упорные слухи, будто бы я умерла... Пожалуй, если бы не клятва, Затокин объявил бы меня мертвой. Или сумасшедшей. Или... он отличался воображением. Но когда я вернулась, он только и смог, что отпустить пару ядовитых замечаний. А затем использовал все свои связи, чтобы ускорить развод.

- Полагаю, он вас боялся?

- Полагаю, ты прав, Сашенька. Клятва давала мне определенные предпочтения. Да и он был уверен, что одной клятвой я не ограничусь. Мне бы воспользоваться этим страхом, но мой собственный отец обратился с ходатайством, чтобы Ясенку оставили им с матушкой. Он прилюдно заявил, что разводом я позорю и себя, и древний род, что мой образ жизни заставляет усомниться в моем душевном здоровье, и не только в нем. Супруг поддержал ходатайство. Напрямую оно мне не вредило. А я... я не смогла бороться. Для всех я была странной женщиной, сбежавшей из дому без особых на то причин. Говорили о моем безумии. О десятках любовников. О том, что вот-вот мой отец от меня отречется, объявит изгнанницей. И он собирался, но я добила беседы.

Ее лицо исказила болезненная гримаса, и Александр вдруг понял, что на самом деле эта женщина хрупка. Она ниже его, тоньше и кажется невероятно хрупкой.

- Я принесла клятву, я рассказала, как было все, и он выслушал. Он был настолько добр, что позволил мне договорить. А после сказал, что, даже если все было именно так, я все равно не имела права требовать этого треклятого развода. Мне стоило поступить иначе. Вдову бы в обществе приняли, а разведенку... да, он отказался от мысли об изгнании. Более того, мне было определено содержание и обещана некоторая протекция, если я проявлю определенное благоразумие и буду держать язык за зубами. Но дочь... дочь мне будет позволено видеть трижды в год. На ее именины, на Рождество и Пасху, и то не стоит ждать встреч наедине.

Одовецкая потеряла грудь и сказала:

- Идемте. Вам нужно золото, а мне полежать. Аглаю не зовите, она все равно ничем не поможет, только разволнуется. Вам, быть может, покажется странным, но я согласилась на эту сделку сразу. Дочь... я любила ее, но это была странная, беспомощная любовь. Ее отняли еще в младенчестве, поручив сперва кормилицам, а после и нянькам. Когда Ясенке исполнился год, супруг отослал ее в поместье моих родителей. Они растили ее, как растили меня. Мой супруг навещал их довольно часто, а я... я была вне этой семьи. И потому, пожалуй, не стала бороться. Теперь мне стыдно, но я нашла себе сначала дело, потом... ваша тетюшка обратилась за помощью, и мы с вами оказались на берегу. Поверьте, вы были нужны мне не меньше, нежели я вам. С Ясенкой мы впервые увиделись незадолго до Смуты. К этому времени я получила покровительство вашей матушки, к неудовольствию моего бывшего супруга. Впрочем, мешать мне он не решался, а сила и умение... ради них в обществе на многое закроют глаза. Хотя слухи о моем повышенном аппетите в обществе держались довольно долго, порой доставляя определенные неудобства. Как бы то ни было, но моей дочери уже исполнилось двадцать. Мои родители к этому времени оставили мир. Супруг был слишком занят с наследником, чтобы обращать внимание на дочь. Мы встретились, и состоялся не самый приятный разговор. Мне не то чтобы не поверили, но... ни одна клятва не избавит от сомнений. Да и мы были взрослыми людьми. Незнакомыми практически и... мне стоит благодарить Господа, что моя дочь вообще не отказалась от меня. За первой встречей состоялась вторая... третья... Ясенка предложила отбыть в поместье, ей было неуютно в городе, и я приняла предложение. Я тоже устала от столицы. Там я и познакомилась с Дубыней... он был удивительно похож на отца. И признаюсь, следующие годы были если не самыми лучшими в моей жизни, то всяко не худшими. У меня появилась надежда на нормальную семью, а после известия, что Затокина казнили, не поймите превратно, я испытала невероятное облегчение. Ни время, ни расстояние... прав был отец, мне следовало убить его и получить свободу, потому что пока он был жив, я чувствовала над собой его власть. А вот Ясенка весьма огорчилась. И... да, для меня он был чудовищем. Для нее - любящим отцом и наставником.

Подземелья становятся грязней, и стало быть, до выхода осталось всего ничего. Здесь, как ни странно, было куда мрачнее, нежели внизу. И стены гляделись не просто серыми, бурый лишайник, расплзшийся по ним, казался такими пятнами крови. Неровный потолок то тут, то там выставлял острые уступы, будто надеясь, что гости расшибут о них голову, а пол рисовал трещины, одну другой глубже. Ступишь - и расплзется камень под ногами, рассыплется.

- Мы старались не обсуждать эту тему. Своего рода негласный договор, за который я была благодарна, поскольку даже ради Ясеньки не готова была лицемерить.

Она остановилась перед одной, особенно глубокой трещиной, разглядывая ее с немалым интересом.

- К слову, Довгарт относился к Затокину весьма, скажем так, неоднозначно. Пару раз он соизволил выразиться вполне определенно, и мне казалось, что Дубыня поддерживает отца, но опять же я не стала поддерживать тему. Я боялась потерять дочь. Возможно, слишком боялась... и ее супруг... сколь знаю, он был любимым учеником Затокина. Уже одно это... Признаюсь, я наблюдала за ним пристально, но он ничем, ни словом, ни делом, не дал понять, что представляет опасность. Клянусь, если бы я заподозрила, что он причинит Ясеньке боль, я бы... я бы совершила убийство.

Сказано это было спокойно, и его императорское величество поверил: совершила бы. И на убийство оно не было бы похоже, все же Одовецкая в достаточной мере умела и благоразумна, чтобы не стремиться на каторгу.

- Ясенька... она отнеслась с пониманием, хотя и посмеивалась над моей подозрительностью. Но я слишком хорошо знала, насколько мы, женщины, беззащитны. И я не хотела, чтобы мой ребенок испытал то же, что и я. Однако, подозреваю, что, когда мне выпало вернуться в Арсинор, Ясенька вздохнула с немалым облегчением. А я... мне стыдно, но я обратилась к человеку, которого полагала своим другом, чтобы он присмотрел, чтобы - если вдруг... хотя бы тень подозрения - отписал мне.

- И как? Отписал?

- Да. Незадолго до того... несчастья, - княгиня решительно переступила через трещину. - Я получила весьма странное письмо. Он извинялся, что тревожит, однако... Он писал, что в семье царят мир и благополучие, что Тихомир любит жену и во всем с ней соглашается, а она всецело поддерживает его в его устремлениях, и что именно это его и беспокоит. Он просил о встрече, и я собиралась отбыть, но...

- Встреча не состоялась?

- Он погиб при том пожаре. Поэтому, Сашенька, мне немного осталось, и будь так добр, спроси Таровицких. Я не желаю уходить в незнании. А правда - она порой крайне неприглядна, мне ли не знать. Однако без нее хуже, куда как хуже...

Глава 22

Гудели колокола, сзывая честной люд на площадь. Тополиный пух кружил, будто снег, и небо было ясным. Блестело солнышко, щедро делилось светом, и солнечные зайчики скакали по крышам, по стенам, заглядывали за стекла.

Праздник.

На площади уже разложили костры, огорожив коваными заборами, чтобы любопытный люд не поранился в толкотне. И люди в разноцветных камзолах суетились, устанавливая вертела. На одних, огромных, как вдесятером поднять, уже виднелись огромные бычьи туши, обмазанные травами и жиром, на других исходили паром свиньи и бараны.

Была и птица. И мелкая дичь.

Знающие люди сказывали, что будто бы даже соловьиные язычки давать будут, но не более чем по три в руки, а потому надобно в очередь становиться, ибо язычков мало и всем не хватит. Открывались бражные ряды, строились кружки разные, что огромные заздравицы, что вовсе махонькие шкалики, которые в народе прозвали дамскими.

Скоро уже выкатят бочки.

Повернут краны, и замяется по площади очереди людей, от благочинности далеких. Мало что выпивка дармовая, так еще от самого цесаревича. Пусть и сказывали, будто дурачок он, так разве ж это главное? Для царя солидность куда важнее; что до ума, то небось у бояр его целая палата.

А то и две.

- Слышь, - юркий мужичонка, крутившийся подле подводы с винными бочонками, замер, прислушиваясь к чему-то своему. Напарник его, высокий, леноватый и сонный даже теперь, лишь потянулся. - Сходи-ка к Тарасу.

- На кой?

Человечек с заячьей губой, и сам-то на зайца похожий, дернулся:

- За надобностью.

- Какой?

- Скажи, что у нас тут колесо клинит...

- Какое? - светловолосый мужик потянулся и лениво сполз с подводы. Обошел кругом. Пожал плечами.

- Огниво попроси...

- У меня есть.

- Тогда табаку!

- И он есть. Давеча прикупил. Ох и ядреный, - светловолосый потрогал бочку, которую надлежало перекинуть на настил, а оттуда уже и выкатить к винному ряду. - Бери.

Мелкий застыл, только нос его подергивался. Сам он покраснел, надулся, того и гляди треснет, из приоткрытого рта вырвалось шипение.

- Может, - ему таки удалось взять себя в руки. - Может, ты погулять хочешь? А то я пригляжу...

- Чего я тут не бачимши? - удивился напарник. - Не, Ефимка, работать надуть, а то ж зобачат, так и кричать станут...

- Не зобачат, - Ефимка подобрался. - А ты сходи, прикупи там Настасье платка какого или пряников. Бабы пряники любят. А то ж народишко скоро набежит, не дотолкнешься, если и захочешь. Не, Никлушка, если и идти, то теперича... потом, сам знаешь, напьются... куда там торговать. А завтрава с утречка обратно.

Никлуша поскреб волосы.

- Слухай, слухай, - Ефимка, почуявши, что напарник близок к заветной мысли, приободрился. - Я ж дурного не посоветую. Вот сам подумай, возвернешься ты завтрава. Чего твоя Настасья спросит? Был на ярмарке праздничной? Был. А привез чего? Ничего... Вот тут-то она и заведется. Бабы, они

такие, чуть чего не по ним, разом станут... опять в сарай погонит.

Никлуша тяжело вздохнул.

Что и говорить, норов у Настасьи был тяжелым, а рука и того паче...

- Так это... - уходить было совестно, Ефимка-то человек новый, пришел вместо Скарыжника, с которым Никлуша уж который год до Арсинора ходил. Но вздумалось же старому приятелю заболеть не ко времени, а заказ хороший, золотом платить обещали, и терять не хотелось, небось за рубли прогулянные Настасья куда как крепче осерчает, чем за пряники. Ефимка же...

Хитрый он. Юркий. Что крысюк.

- Не, - покачал головой Никлуша, примеряясь к первой бочке. - Сперва дело.

Это в него батька крепко вбил, розог не жалеючи. Платок платком, а бочки... промедлишь - осерчают... не бочки, люди, которые их ждут. Вона другие подводы уже пусты наполовину, а Никлушина груженная.

- Сам виноват, - с неожиданной злостью прошипел Ефимка, и в бок вдруг кольнуло. Легонько так, будто овод прижалил. Никлуша и сам не понял, с чего вдруг крутанулось небо, поднялась земля навстречу. А бочка из рук выскользнула ужом.

Ефимка же огляделся и, заметив человека в целом неприметного, но за какой-то непонятной надобностью уставившегося на Ефимку, прошипел:

- Не видишь? Перебрал человек... праздник ныне... тезо... тезо... именинства, во! - он с неожиданною для хилого тельца его силой оттащил Никлушу под подводу, уложил и даже рогожкой прикрыл, заботу проявляя.

Зла обозчику, медлительному и, на Ефимкин взгляд, изрядно туповатому, он не желал. Пройдет пара часов, и очуняет... оно-то было бы верней, если б... но не велено.

Магики, чтоб их...

Ефимка вскарабкался на подводу и, прикинув к верхней бочке, погладил шершавый бок ее. Вот ведь... хорошее вино портить. А в том, что штука, ему врученная, ничего хорошего не делает, он был уверен. Но... платили изрядно, а кто Ефимка такой, чтоб от денег отказываться?

Он приспособил коробочку сбоку и надавил, как учили.

Что-то звякнуло, но и только.

Вторая.

Третья... четвертая и пятая... бочек на подводе было две дюжины, и Ефимка здорово опасался, что не успеет. Нет бы ночью, когда честные люди спят, он бы скоренько управился и сгинул, будто его и не было никогда. Ан нет, заказчик точные инструкции оставил.

А Ефимке теперь майся.

Того самого неприметного человека он заметил, когда обрабатывал предпоследнюю бочку. Тот, присевши на корточки, разглядывал спящего Никлушу.

- Эй, тебе чего? - Коробочка едва не выпала из Ефимкиных рук. - Ходь отсюда, пока я охрану не кликнул.

Человек не спеша поднялся, потянулся.

И сказал:

- Это хорошо, что ты кровью мараться не стал. Это даже замечательно... меньше срок выйдет.

- К-какой...

Ефимка уже понял, что попался. И билась мыслишка, что если кинуть этому, неприметному - теперь он уже понял, до чего характерною сама по себе была эта самая неприметность, - коробку, то шанс сбежать будет... небольшой такой.

- Каторги, - мужичок плечи расправил и пальцами шелкнул, отчего Ефимкины ноги вдруг отказались идти. - Не дури, дурачок, мы знаем, что ты у нас так, мелочь, но нехорошо людей травить. Согласись?

- Я... я... я не...

Человек покачал головой и руку протянул. Сказал:

- Будем сотрудничать или упрямитесь станем?

И Ефимка, пальцы которого едва не раздавили заветную коробку, кивнул. Сотрудничать. Как есть сотрудничать... а каторга... глядишь, сильно далече не пошлют.

С Уфимы он уже хаживал.

И снова пойдет.

Лишь бы в бескандаальные записали, да...

Неспокойно.

И свербится, свербится этакое, подговаривая, что затея дурная и надобно тикать, пока ватажники спят. Вот только разум подсказывает, что, может, кто и спит, да только старый Мороз за трусость спросит, хоть на том, хоть на этом свете, но сыщет.

А там уже...

Смерть, она всякою бывает.

Вот и сидит Шкения у костерка, разложенного больше для порядку, чем по надобности. Жарко ведь, даже ночью парит, а с реки туман ползет, рыхлый, белый. В таком скрыться - самое оно. Шагнешь в стороночку, и нету тебя, как и не было...

- Шалишь? - тихий голос заставил вздрогнуть, подскочить.

- Думаю вот, - от Мороза прятать мысли подлые - затея дурная, этот и в голову влезет, что в крестьянский амбар. От прямо чуетя, как глазенками своими черепушку сверлит-высверливает. - Неспокойно мне... неладно будто...

- Жопа играет?

- Играет, - признался Шкения со вздохом. - Мнится, что не так оно просто будет, как...

Мороз кивнул.

Поскреб клочковатую бороденку. Ныне, обряженный в одежду новую, почитай, необмятую, был он похож на купца средней руки, а может, на зажиточного крестьянина из тех, в чьем подворье и лошадей с две дюжины, и коров стадо, и батраки имеются, чтоб за добром следить.

Вона шапку напялил, бисером шитую.

Армяк тоже расписной.

Пояс широкий, и хватит в этой ширине места, чтоб скрыть нож-бабочку, кистенек, да и прочую, в разбойном деле необходимую мелочь.

- Чуйка, значит... чуйка, мил друг, дело такое, не слухать ее себе дороже, - Мороз поднялся с бревнышка и вразвалочку, тяжело направился к амбару. - Только ныне ты меня слушаться должен, ясно?

Шкения закивал. Будет.

Вот пока до площади не дойдут, будет...

Дойти-то им не позволили. Свистнуло вдруг что-то, да так тоненько, будто по ушам струной резанули. И страх вдруг поднялся с глубин души, исконный, первобытный, заставивший позабыть обо всем, кроме одного - собственной шкуры спасения.

Он сам не понял, как нырнул в ноздреватый туман.

Как неся, ног под собой не чуя, позабывши и о Морозе, и о ватажниках, и... он очнулся уже за городом, в овражке, где блевал, выворачивая все нутро, клянясь себе, что колы жив останется, то навсегда... чтоб в разбойники, чтоб... в монастырь пойдет, грехи замаливать.

Пусть не монахом, а трудником пока... глядишь, смилостивится Господь над грешным дитем своим,

укажет ему верный путь, чтоб без душегубства...

- Одного упустили, - боевой маг мановением руки развеял туман и поморщился.

- Ничего, - товарищ его прошелся вдоль спеленутых заклетьями разбойников, которые, приложенные эхом, лежали смиренхонько, всем своим видом выказывая похвальнейшую покорность. - Далек не уйдет... Что, Мороз, не признал?

- Знакомый? - боевик пнул благообразного старичка, который в ответ зашипел, заматерился, да хитро так, просто не речь - песня народная.

- Наверде того... помнишь, в Поимках семью? Его работа... всех вырезал, младенчиков не пожалел. И в Битришках, и еще изрядно где. Матерый волк... но ничего, теперь и на тебя управа найдется. Конопляная, да...

Спустя три дня в ворота махонького монастыря Святого Николая Спасителя постучался оборванный человек. Он был растерян, нервозен и постоянно оглядывался, будто опасаясь, что за ним следят. В обители он и то сперва опасался выходить за ворота гостевого дома, где первые дни прятался под лавкой. Но ничего, отошел, обжился. О себе он не рассказывал, лишь просил не гнать милостью Божьей.

Не погнали, само собой.

А что, монастырь маленький, рабочих рук тут всегда не хватает.

Народец на пивоваренном заводе бродил, как старые дрожжи. И разговоры среди рабочих ходили не самые добрые, заставляя охрану хмуриться и покрепче хвататься за палки. Иные вон и глушилками обзавелись, чуя близость бунта.

На этаких рабочие поглядывали с насмешечкою, будто знали, что не помогут ни амулеты, ни пологи. Сила - она вот, в руках, а еще в кастетах с медными бляхами, в узких, плетенных из проволоки шнурах, в которые особо лихие вплели железные шарики. Кистенечки.

Ножики.

Бунт зрел.

Вызревал. И почти вызрел, если повылазили из углов крикуны, а половина бригадиров, а с ними и прочего, куда как разумнейшего люду сгинула.

- И вам говорят о милостях, но что это за милость?! - паренек в простонародном армяке, из-под которого выглядывала рубаха-вышиванка, ударил себя во впалую грудь и едва не слетел с бочки. - В чем она? В том, что вам позволено существовать? Работать от зари до заката, не видя солнца? Ваши дети...

- Ишь, поет, - сказал незнакомый полный господин охраннику, и тот от неожиданности подпрыгнул. - Тише, не мешай... вот голосистый, а главное ж, одаренный. Надо, надо что-то с этим делать, а то ведь получается, государству ущерб двойной. Сперва люди одаренные под чужую руку уходят, а после этой руке послушные империи вредят.

Охранник попятился, потому как больно неуместен был господин в своем костюмчике из светлого, в гусиную лапку сукна. Был он невысок, изрядно пухл и к тому же просто-таки лоснился довольством. Выглядывали из кармашка жилета часы, свисала цепочка, мелкими камушками усыпанная, а заодно уж запонки поблескивали, то ли серебряные, то ли даже платиновые. На голове господина сидел котелок, а изо рта выглядывала сигара, которую неизвестный курил неспешно, будто бы в упор не видел опасности.

- А ментальное воздействие, к вашему сведению, - продолжил он как ни в чем не бывало, столбик пепла о перильца обламывая, - даже столь слабое, оформленное полем, в отношении умов неокрепших имеет невероятную силу... Что, не все ныне явились?

- Не все, - сказал охранник, испытывая двойственные чувства. С одной стороны, долг и здравый смысл требовали немедля выставить этого чужака с подотчетной территории, желательно притом самому сюда не возвращаясь, а с другой - ноги будто приросли.

- Список после предоставишь, все же устойчивость к воздействию встречается не так уж часто. А здравомыслие и того реже. Давно сюда ходит?

- Почитай, месяца два... - врать господину тоже не выходило.

- И как часто?

- Когда два раза в неделю, когда три...

- И что вы?

- Докладывали...

- И?

- Гнать не велено, - вздохнул охранник, позволив в голосе проскользнуть неодобрению. Где ж это видано, чтобы хозяин рачительный не просто позволял этакому непотребству случиться, но и поддерживал его, будто нарочно...

- А что велено?

- Велено всех в воротах обыскивать, чтоб зерно и брагу не несли. Брагу-то... это же ж завсегда... по баклажке на брата, отродясь поведено. Пить. От нее и скот здоровее, и дети, - охранник шею вытянул. Толпа шумела, но как-то так... потише, что ли?

Или показалось?

А паренек вот покраснел с натуги. Или, может, солнце прижарило? Не, навроде оно еще не так и разошлось.

- И штрафовать стали всех, за любую малость... велено, чтоб порядки... бригадиры-то новые... своих поносили почитай всех, кроме Ефиминюка.

- А он где?

- Не пришел ныне.

- Вот разумный человек... и пришлое?

- Только половина... люди на них сердитые.

- Значит, кровью хотят повязать, - толстяк покачал головой и велел: - Иди-ка ты, мил друг, позови сюда еще кого. Толпа - такое дело, контроль над ней взять непросто, а удержать и того сложнее. Тем более после постороннего воздействия. И все же попомните мои слова, подобное промедление чревато... менталистов следует вышибать сразу, а не играть в государственные тайны...

...Федька был пьян и зол. Он-то и трезвый не отличался тихим норовом, оттого и жена сбежала, детей прихватив, чем учинила Федьке немалое оскорбление. И ведь, потаскуха этакая, не к родителям сбегла - оттудова Федька ее б за волосья выволок, приходилось уже, а к кузнецу, который на соседней улице обретается. К нему Федька тоже ходил, требовал, да только ж Панасик - это не тесть однурукий, у него плечи шире воловьих и ручищи такие, что глядеть страшно. А не только глядеть пришлось. Кузнец Федьку сгреб за шиворот, поднял и потрянул этак легонько, а после присоветовал не казаться на глаза, если Федька, конечно, не желает, чтоб ему кости переломали.

Федька не желал.

И на потаскуху плюнул: все одно рано или поздно к нему прибежит, некуда ей от законного мужа деваться. Небось ни один батюшка разводу не даст, что б она там ни говорила, а во грехе жить...

Но злость осталась.

Она росла и росла, пока не вытеснила все прочие чувства. И главное, сделалась всеобъемлющей, туманящей разум, хотя, признаться, его никогда особо не было. И теперь, слушая горлопана, Федька только и думал, как он пойдет к кузнецу, да не один. Кликнет за собой людишек, уже потом, после того, как они завод на ножи возьмут, справедливость восстанавливая.

И кистенек.

И бабочку... небось против бабочки ни один кулак не сподмогнет. А после уже и в кузницу огненного петуха пустить можно, и шлюху в ней запереть, потому как большего она не заслуживает. Пускай отправляется прямиком в пекло, а Федька...

Возьмет добычу. И заживет себе припеваючи.

Злость вдруг ослабла, будто пелена с глаз спала, а говорун на бочке закашлялся и согнулся пополам. И покачнулся, однако встал на одно колено...

- Будет вам сопротивляться, - сказал клятый буржуин самого буржуинского виду, в котелке, костюмчике рябеньком и с сигаркою, которую он в губах держал да пожевывал. - Я все одно вас сильнее, хотя, признаюсь, потенциал вызывает уважение. С другой стороны, кому больше дано, с того больше и спросится. Или вы и вправду надеялись выйти сухим из воды?

Мальчишка - а ведь совсем молоденький, прям как Федькин старшой, такой же зазнаистый - чего-то ответил, а на душе вдруг стало муторно.

Резать?

Кого? За что? И разве ж виновата Анютка, что он такой? Брал ведь по любви и любить обещался, а после... это все не Федька, это змий зеленый и жизнь его беспросветная, в которой только и было радости, что посидеть с дружками.

Какие они дружки?

Выпивохы... и подзуживали, поддевали... тоска унимала злость, а на душе... тяжело, как камней нагрузили...

- Ваш гнев, господа рабочие, мне понятен. И смею вас заверить, что государева комиссия всенепременно разберется с тем, что происходило на заводе. Новый же хозяин...

- Новый? - раздался удивленный голос.

- Новый, - подтвердил толстяк, сигару перекатывая в другой уголок рта. И ловко у него вышло. - Купец первой гильдии Басманников решил, что пора бы ему чем-то новым заняться. Полагаю, о его заводах вы слышали? Так вот, пока идет реконструкция с инвентаризацией...

Слова вызвали вялую вспышку злости.

Ишь, опять закрутят по-умному, черти.

- ...он выделит каждому рабочему содержание согласно договору. А также, в честь именин его императорского величества, жалует премии. Рабочим - три рубля, бригадирам - пять...

Голос толстяка потонул в удивленном гомоне. Конечно, про Басманникова многое говорили. Мол, и чисто у него на фабриках, и люд живет в довольствии, бунтовать не думая, и вовсе он на Рождество и Пасху рабочих деньгою жалует, а еще ссуды дает беспроцентные на обзаведение или вот когда целители нужны.

- И также надеется, что и угощением вы не побрезгуете. Вот, аккурат должны были столы накрыть...

Стол накрыли.

И нашлось место на них и курам жареным, и картошке с репой, и капусте квашеной.

Были яблоки.

Хлеб наисвежайший и бочки с квасом. Кто-то, конечно, о чарочке заговорил, но скоренько угомонили: знали, Басманников пьянства ни в каком виде не терпел.

Паренек вытер кровь из носу, поднялся кое-как.

- Д-думаете, победили? - спросил он, с ненавистью глядя на толстяка, а тот, сигару выплюнув, отвечал:

- Туточки - несомненно. Все же воздействовать надо с умом и при длительных процедурах отнюдь не на кратковременную память, как это делали вы. Добились, честно говоря, лишь значительного повышения уровня агрессии в районе... но да, кровью могло обернуться. И вам надо радоваться, что не обернулось.

Менталист не радовался.

Ишь, глазами зыркает, губы дрожат, то ли плюнуть в рожу хочет, то ли расплакаться собирается.

- Это разные статьи, дорогой мой, совсем разные... Будь на вас кровь, я бы не помог.

- А теперь, можно подумать, поможете? – он все-таки шмыгнул носом, и стало понятно, что лет пареньку совсем мало.

- Это уж как мы договоримся, – улыбнулся толстяк.

Договариваться он любил и умел, а потому успел выторговать себе определенные преференции. Все ж факультету менталистики изрядно не хватало финансирования и толковых учеников.

Глава 23

Народу прибывало.

И колокола гудели уже не так громко: то ли звонари притомились, то ли голоса бронзовые терялись в гомоне толпы. Суетились людишки, одни силились протиснуться поближе, к военному ряду, чтоб хоть глазочком взглянуть на цесаревича, другие мешали, ибо места самим было мало, третьи и вовсе занимались своими, далекими от понимания арсинорцев, делами.

Вот кто-то тоненько взвизгнул:

- Обокрали!

И смолк, ибо отвечено было, что в этакой толпе надобно самому за имуществом следить. Охнула баба, разразилась бранью, да и оплеухи наглому молодчику, который решил, теснотой пользуясь, чужие прелести пощупать, не пожалела.

Кто-то пил.

Кто-то, уже напившись, с трудом держался на ногах едино упрямством своим. Кто-то, упрямство поистративши, тихонечко спал в уголке и был тем самым премного счастлив.

Двое встретились под навесом купеческой лавки, витрины которой ныне были благоразумно прикрыты ставнями. Оно и верно, праздник праздником, а мало ли кому и что в голову взбредет? На ставнях, если приглядеться – глядеть надобно людям знающим, – мерцали щиты.

- И как настроение? – поинтересовался тощий господин неопределенного вида.

То ли купец, то ли дворянин из обедневших, кому не зазорно носить поистрепанный пиджачишко, то ли вовсе человек чиновный. Обличья он был самого обыкновенного, пожалуй, лишь пышные, соломенного колера усы придавали человеку некоторую индивидуальность.

- Нестабильно, – ответила дама в сером платье гувернантки. Впрочем, держалась она вовсе не так, как держатся гувернантки.

Да и брошь на платье была не из дешевых, пусть и выглядела таковою.

Дама брошь тронула и поморщилась:

- С одной стороны, чувствуется эмоциональный подъем, но, сами понимаете, чем сильнее эмоции, тем они нестабильней, – она сняла перчатку и почесала кончик носа. – А вы сами-то, Егор Николаевич, что скажете?

Господин покрутил в руках короткую тросточку, видом больше похожую на дубинку.

- Пожалуй, что соглашусь. Полагаю, наши с вами оппоненты просто дождутся пика, чтобы сменить вектор. И вопрос лишь в том, сумеем ли мы...

Раздались крики, и женщина вздрогнула.

- Шли бы вы, дорогая моя, – Егор Николаевич перехватил тросточку и хлопнул по ладони. – В свой пансионат... не место вам здесь.

- Вы не хуже моего знаете, что место, – женщина закрыла глаза, сосредоточенно прислушиваясь к восторженному гомону толпы. – И если не мы с вами...

Егор Николаевич лишь головой покачал, но от спора воздержался: Игерына всегда отличалась немалым упрямством.

- Есть... слабое пока... на третьем секторе. И на четвертом тоже... значит, прогноз верен. Вопрос лишь в том, сколько у них менталистов.

И хватит ли их силы, чтобы завести толпу.

Егор Николаевич и сам настроился на тонкое восприятие, в котором толпа выглядела одним ярким пятном. И пятно это переливалось, то остывая до бледно-синего, льдистого, в котором угадывалась настроженность, то вспыхивая всеми оттенками алого.

Эмоции похожи.

Радость и гнев.

Любовь и ненависть. Разница в оттенках, и теперь кто-то старательно эти оттенки выправлял. Егор Николаевич решительно двинулся туда, где билось темно-зеленое пятно чужого сердца. Мерзавец оставался спокоен, хотя не мог не знать, к чему приведет его воздействие.

И хорошо устроился, в стороне от толпы, понимая небось, что ни один дар не выдержит ее напора. Ага... правее... левее... люди расступались. Пусть и лишённые способностей менталиста, все одно они ощущали опасность, исходящую от невзрачного господина с тросточкой.

...Мишка чувствовал себя Богом.

Или почти.

Нет, ему и прежде случалось... работать. А что поделаешь? Мишка ведь взрослый, пятнадцать лет уже разменял, понимает, что задарма и кошки не котятся, чего уж о людях говорить. В смысле, люди и так не котятся, а вот благодетель Мишкин еще тогда сказал, мол, отплатишь.

И Мишка готов был.

Что ему оставалось? Папка сгинул, когда Мишке и десяти не исполнилось, остальные-то еще моложе, только и способные, что сопли по щекам размазывать да ести полную ложку. Маменька не лучше. Села и рыдает: как теперича без кормильца? Хозяйство-то, конечно, хозяйством, но папкины деньги разом профукала на тряпки да бусики.

Дура.

Нет, Мишка ее любил. И сестер тоже. И брата молодшенького, в котором тоже дар проснулся, правда, огненный, и с того Гришанька едва не спалил хату. Вот было бы... и маменька перепугалась, хотя у нее натура слабая, всего боится.

Зато и внушению поддается легко.

А что? Иначе б Мишку никто и слушать не стал, даром что он старший мужик в доме. Маменька-то с хозяйством не больно-то возюкаться желала, вбила себе в голову, что в Арсиноре работу найдет, и такую, с которой все семейство их прокормит.

Как есть дура, да...

Пришлось Мишке убеждать. Он-то всегда умел, с малых лет научился, даже папенькина мать, презлобная старушенция, которая со всеми лаялась, а то и клюкой поперек хребта перетянуть могла, Мишку жаловала, называла ласково и одного дня даже пряником угостила. Черствым.

Но в том ли дело?

Мишка-то о даре тогда знать не знал, ведать не ведал. Жил себе. Рос потиху, семействие воспитывая. Сестрам бездельничать не позволял, мамку работать приохотил, а того козла, который к ней заглядывать начал, не иначе, хозяйством их завладеть желая, скоренько отвадил, внушив, что не так уж хозяйство и хорошо, чтоб на свою шею выводок чужой вешать. Мамка, правда, потом печалилась, но ей тоже нашлось что внушить...

Он же ж не со зла.

Он как лучше хотел. А что, земляца у них есть. Конь опять же. Коров ажно четыре, с них и молочко выходит, и творог, и маслице. Овцы, куры и гусаки, есть с чем на торги ездить, а уж торговать Мишка с даром своим горазд. Всегда сполна распродался.

Там-то его и заприметили.

Дурак был, что сказать, малому научился, и доволен с того. А вот чтоб чего больше, так где ж без наставника... ему-то скоренько объяснили и про дар редкий, и про то, что ежели кто еще про дар этот прознает, тут-то и спадают, и вовсе не затем, чтоб медаль на шею повесить.

Оно ж как? Есть деньга? Плати и учись, становись магом царским, тут-то тебе почет и уважение. А коль деньги нет, то дар кроют, чтоб на иных людей не воздействовал незаконно. И кому какое дело, что рубликов, Мишкой накопленных, едва на первый курс хватит. А у него сестры, между прочим. Им через пару лет замуж идти, стало быть, приданое надобно, и хорошее, тут телушкой не отделаешься, если хочешь в семью нормальную пристроить и чтоб после не пеняли нищетою.

А запечатывать?

Как можно такое? Это ж... это ж как из сердца кусок выдрать... и никого-то Мишка не неволил...

так, самую малость...

Напужали его тогда изрядно, а после предложили помощь и деньги дали, целых сто рублей. Стипендию, стало быть. И пообещали, что научат даром по-настоящему пользоваться.

Деньги он припрятал. Пригодятся.

Гришке показал, где лежат, тот хоть и малолеток, а все серьезней баб, зазря в заимку не полезет. Да и верно, что самого Гришку учить придется... правда, покровитель Мишкин обещался и тут помочь, но после уже, когда Гришка подрастет.

Оно и верно.

Что до учебы, то Мишке она понравилась. Читать-то и считать он умел, благо в приходской школе научился, а вот те книги, которые ему давали, и упражнения, и практика... Вот смеху было, когда он тому нищему внушил, будто он не человек, а свинья, или еще с бабою, которая начала одежду срывать, или... Покровитель Мишку хвалил.

Деньгою награждал, что правильно: за учебной-то хозяйстве пришлось оставить, а без пригляду оно разом развалилось бы. Пришлось нанимать батраков, искать человека приличного, который бы за мамкою приглядел, не позволил бы хозяйство по ветру пустить.

Внушить любовь оказалось просто.

С его-то умением... и вправду Господь Мишку даром наградил изрядным, все, за что брался, получалось с ходу. И с каждым разом Мишка все ярче чувствовал собственную силу.

Особенность.

И прочие люди, все, пожалуй, кроме хозяина, на которого у Мишки влиять никак не получалось, - тот не злился, лишь посмеивался, называя Мишку волчонком, - ничтожны и глупы. Им же самим проще. Они-то на самом деле не любят ни воли, ни свободы.

Пугает она их.

На всякие глупости подбивает, как от маменьку, которая пять рублей на бусы потратила.

А вот когда б кто мудрый и сильный сказал, чего делать, и так сказал, чтоб и мысли не возникло послушаться, тут-то и наступили бы процветание и благо всеобщее, о котором батюшка в приходской школе сказывал. И раз так, то выходит, что Мишка не сам по себе сильный, а Божьею волей.

Правда, для чего Господу кровь, Мишка не очень понимал, но хозяину верил. Раз сказал, что так надобно, то ему видней.

Он умный.

И Мишке триста рублей целых дал, которых хватит и на приданое сестрам, и на собственным домом обзаведение, раз уж старый ныне матушкиному новому мужу принадлежал. А дом он построит огромный. В два этажа. Из мрамору и с колоннами всенепременно. Мишка у хозяина колонны видел и еще баб голых под ними, но себе он баб ставить не будет, потому как чистое непотребство выходит, которое хозяин, правда, искусством именовал, а Мишку называл темным, диким человеком. Правда, на колонны трехсот рублей может не хватить, но... хозяин обещался, что Мишку своей милостью не оставит, что в новом мире, где новый же порядок установится, пресправедливейшего толку, Мишка получит достойное место.

И дом. С колоннами.

И собак заведет, чтоб всякие там в дом его не лазили... и вообще... надо только постараться. Мишка и старался. Забрался на навес, благо народу было столько, что на него внимания никто не обратил. А Мишка-то не дурак, Мишка навес выбрал крепкий и чтоб труба сквозь него проходила, тоже надежная. По такой на крышу подняться - раз плюнуть. Мишка еще вчерась попробовал, чтоб наверняка. А то ж как полетит толпа, так и раздавит.

Не, Мишке жить охота. И дом.

А что до других... маменьке он строго-настрога велел из дому носу не казать, и сестрам тоже, и братцу, и не просто велел, а так, что не посмеют нарушить. Стало быть, в толпе их не будет, что до людей прочих, то этикие малости Мишку не беспокоили. Да и хозяин говорил, что без крови нового порядку не построить. Ничего, это малая жертва, которая большой избежать позволит.

Это тоже хозяин сказал.

А Мишка хозяину верил. И теперь глаза закрыл, сосредоточился, отделяя нити восприятия. Вот это беспокойство, его надобно усилить.

Страх... его мало, но хватит. Страх – такое дело, он, что огонь, в который только и надо, что керосину плеснуть, мигом разлетится, а потому чутка силы...

– Экий талантливый молодой человек, – восхитился незнакомый господин, который одним прыжком на навес взлетел. Тот только затрещал под весом немалым. – И жаль даже, что этакий талант по столь опасной дорожке пойти решил...

Господин крутил в руках тросточку и на Мишку глядел снисходительно, отчего Мишке не по себе становилось.

– Лет тебе сколько, гений доморощенный? – поинтересовался он.

А Мишка прикинул, что если пинка дать да на крышу подняться...

– Не думай даже, – покачал головой господин и ус соломенный крутанул, отчего у Мишки вдруг престранная слабость во всем теле возникла. – Другими управляешь, а собственный разум защитить и не подумал? Или не учили? Конечно, не учили, зачем... управляемый менталист – куда как удобен в использовании.

Вот же, Мишка понимал. И слышал.

И видел... толпу, которая гудела, приветствуя царский парад, и даже парад этот. Лошадей белоснежных, убранных нарядно, людей...

– Да уж... с тобой придется повозиться... – господин склонился над Мишкой, оттянул веки, заглянув в глаза. – Это даже не воздействие, во всяком случае, не специфическое, просто воспитание, вернее, его недостаток. Даже не знаю, удастся ли исправить, да...

Мишка попытался закрыть глаза.

И ему позволили.

А после он сам не понял, как поднялся и вскарабкался по той самой трубе, оказавшись на крыше. А следом вскарабкался давешний господин. И шел он за Мишкой, говоря без умолку... и обидно было, и горько... небось не видать теперь дома с колоннами...

– Забирайте, – Мишку передали господам, чей цивилизный вид не обманул бы знающего человека. – И поаккуратней. Просто дитё дурное. Но с хорошей перспективой, если, конечно, выйдет до разума достучаться...

На руках защелкнулись браслеты, и стало вдруг холодно-холодно, будто и впрямь кусок сердца отрезали. Стало быть, вот оно как, когда дара лишают.

Тут-то Мишка по-настоящему испугался.

В Базуровой башне, которая стояла наособицу, чем сыскала славу премрачнейшую, причем большею частью зазря – никого-то там не пытали, разве совсем уж иного варианту не было, а если и казнили, то редко, – народу собралось изрядно. Впрочем, местные подземелья были на диво обильны, сразу видно, что строились с немалым запасом, а что ноне хранилось в них всякое, к кровавому режиму отношения не имеющее, так то эпоха такая.

– И вот куда, куда мне девать их? – причитал квартирмейстер, заламывая пухлые ручонки. А из камер выносили ломаную мебель, которая давным-давно была списана, но припрятана для всякой надобности. А что? Вот вновь стул треснет, не списывать же его по-за этакой мелочи, тем паче что бюджет на содержание башни выделяли вовсе небольшой. Проще уж взять досочку...

Или вот нары.

Имели дурное обыкновение гнить и плесенью порастать. А что поделаешь, река, она близехонько, скребется, поговаривали, в самые стены и порой вовсе в гости заглядывает. Сказывали, что во времена прежние, куда как более самодержавные, иные заключенные реку-то в своих камерах и встречали, а там уж как повезет...

– А это, это-то тебе зачем? – со вздохом спрашивал комендант, когда наверх поволокли вовсе уж древнего вида сундуки. – Что у тебя там?

– Так... гвозди же ж. И молотки. И еще проволока, сам вон жаловался, что внешняя стена слаба

стала... а камни? А ведра, в которых раствор мешать? А...

- Понял, - комендант лишь рукой махнул.

А квартирмейстер насупился, отчего появилось в благообразном облике его что-то до невозможности хомячье. Может, щеки налитые, может, взгляд, тоски перевозданной преисполненный.

- А... Григорич, - он дернул коменданта за рукав и внезапно лицом посветлел. - А ежели их по трех сажать? И кандалами... кандалов-то у нас хватит...

- Не велено.

- Скажи, что места мало...

- Кто ж поверит? И много ты там своего барахла...

- Не моего, - квартирмейстер, который был честнейшим человеком, просто несказанно хозяйственным, за что, собственно, и ценили его, обиделся.

- Не твоего. Много?

- Ну... первый-то уровень... что? Когда он нужен был? Даже после Смуты небось пустовал. А со второго сидельцев-то по пальцам перечесть можно. На верхах все ж чисто.

Сундуки сменились бочонками, а те - вновь сундуками.

- Что это деется, что деется, - запричитал квартирмейстер, провожая взглядом катушку с обрывками веревки. А что, хорошая, крепкая, конопляная. Такая-то на рынке немало станет, а у башни бюджет... одни сидельцы вон сколько проедят. Это-то в следующем квартале траты возместят, выдадут на поголовное кормление, да поди-ка доживи до этого квартала, и так, чтоб клиент не помер с голоду...

- Смута, - комендант был мрачен.

Опять к ужину опоздает, и супруга огорчится, да и огорчение свое всенепременно выскажет. А он-то обещался в театру сводить, где, как сказывали, наследник появится, а может, и сам император с супругой... Он и билеты достал в приличную ложу, впервые, пожалуй, за долгие годы воспользовавшись положением.

Пропадут...

Или послать кого, велеть, чтоб брала свою сестрицу и шла себе глядеть на наследника? Глядишь, и отгадет сердцем любезная Капитолина Федотовна. В другом каком разе он бы так и сделал, но, глядя, как заполняется подотчетное заведение смутьянами, комендант испытывал вполне обоснованные сомнения. Этих-то отловили, а сколько осталось?

Бунт, стало быть.

А где бунт, там и покушение на высочайшую семью. И ладно, если стрелок какой... стрелка отловят, а коль решат театру спалить со всеми гостями? Нет уж, супружница ему досталась норовистая, однако любил ее комендант, сколько лет вместе прожили.

Объяснится.

Потом, когда снимут гриф государственной тайны. И может, вновь воспользовавшись положением, сводит на смутьянов поглядеть. А пока... пока надобно послать человечка с запиской, только не к супруге, а к купцу Выжневатову, который еще с того разу, когда старшенький его набузил и в башню попал, должен остался. Сам обещал норковую шубу, вот пушай и выделяет.

Мерки-то женины комендант знал.

И характер.

Глядишь, и...

- Р-развели бар-рдак, - прорычал кто-то из пришлых, недовольный, что камеры башни занятыми оказались.

- Предупреждать надо, - ответил комендант, заслоня квартирмейстера, который от такого несправедливого упрека - бардака у него никогда-то не было - налился цветом.

Во внутреннем двореке, и без того не сильно великом – все ж строили башню не для прогулок, – становилось тесновато, в том числе и от людей. Одних приводили, и гляделись они растерянными, другие кричали, требовали освободить их немедленно, третьи были молчаливы. К этим вот комендант приглядывался особо, знал, что от тихушников одни беды.

– Много еще будет? – поинтересовался он примирительно, и человек из особого приказа не стал чиниться, кивнул, вздохнул и ответил:

– Больше, чем хотелось бы.

– Вот и чего им не хватало? – комендант распрекрасно помнил и Смуту, и голод, и войну, которая навроде закончилась, а все одно тянулась и тянулась, жизни отбирая.

Сына вот отняла.

И дочь сгорела, потому как отыскать целителя в Арсиноре оказалось невозможно. И сам он едва-едва... благо младшенькие уцелели, иначе б они с любезною Капитолиной Федотовной вовсе разума лишились бы с горя.

– Кто ж знает... вольностей, говорят, мало. И справедливости. Давайте так, кого попроще – и вправду по трое и в кандалы, а вот с одаренными...

– По протоколу, – кивнул комендант. – Не переживайте, Петр Алтуфьевич дело свое знает, скоренько нижний этаж почистит, да и на нулевой уровень пока можно, если есть особо опасные.

– Они тут все особо... нулевой, стало быть?

Комендант пожал плечами: мол, башня старая, отыщется и такой.

– А ниже... есть?

– Ямы. Для особо опасных. Там стены из кизарского гранита, глушат силу... только... если долго одаренного держать, ущерб будет.

– Ничего, переживут, – махнул рукой особист, правда, уточнить изволил: – Долго – это сколько?

– Ну... за месяц болеть начинают, – комендант нахмурился, пытаясь вспомнить статистику. Правда, ямы использовались при нем редко, а вот батюшка, от которого и досталась в наследство башня со всем ее тайным и явным хозяйством, всякого рассказывал. – Там-то сыро. И отхожее место, сами понимаете... вот кто и кишечником маяться начинает, а кто и чахотку цепляет. Но не в том беда, тоскою они маются. Иные и руки на себя наложить пробуют. А как не выходит, то за полгода, самое большее, сами того... уходят.

– Ничего, полгода, чай, нет нужды держать, а вот денек-другой если...

– Денек-другой – это да, – согласился комендант. – Весьма способствуют дознанию... наши-то ямы жалуют. Бывало, посадишь какого особо ретивого, он сперва орет, а после приспокаивается. Глядишь, к утру и вовсе в сознание приходит. В смысле, осознает свое положение и желанием сотрудничать проникается, так что... вы только сами погляньте, кто из них...

Особист повернулся к людям.

– Этот, – палец ткнул в худенького паренька с разбойной рожей. Сам-то чистый сиротинушка, а взгляд бандитский. – И эта...

Девица фыркнула и косой мотнула.

– Этот еще... Сколько у вас мест?

Это он про ямы? Комендант прикинул. Первую еще в том месяце притопило, жить там вовсе не возможно, крысы и те сбегли. Двенадцатая осыпаться начала, пошла по плите трещина...

– Двадцать три.

– Отлично... и кормить в первые сутки не обязательно. Воду давайте, а вот остальное...

Квартирмейстер лишь головой покачал: беспорядок. Контингент, на учет поставленный, беречь надобно, а то выйдет убыток, за который после сами ж особисты спрашивать станут.

– Это произвол! – взвизгнула девка и ножкой притопнула, рванулась, да только охрана удержала.

– Произвол? – особист повернулся к ней. – А как называлось то, что вы учинить хотели? Сколько б

людей в давке погребло бы? Ходынское поле покоя не давало? Молчи уже...

Он развернулся и зашагал прочь, к воротам, которые охраняло две дюжины одаренных. Что он им сказал, комендант не слышал. У него своих забот хватало.

- Акимов! - голос разнесся над двором. - Проводи... постояльцев. И после ко мне...

Надобно послать за шубою.

И еще записочку поставить, чтоб не смела любезная Капитолина Федотовна из дому носу казать. И сестрицу свою, до забав охочую дюже, попридержала. А то ж мало ли что...

Глава 24

- А вы, милочка, уж извольте приодеть чего поприличней. - Вольтеровский оглядел Лизавету, не скрывая своего раздражения.

Блеснуло стеклышко лорнета.

Поджались губы. И бороденка, смазанная маслом, задрожала, надо полагать, исключительно от негодования. Супруга Вольтеровского лишь вздохнула и прижала к щеке кружевной платочек, всем видом своим демонстрируя женскую слабость.

- Всенепременно, - пообещала Лизавета.

А лакеев он и вовсе загонял.

То ему завтрак нехорош, то китель парадный помяли, то сапоги недостаточно блестят, то еще какая напасть случилась. И о них он с превеликим удовольствием рассказывал Лизавете, будто чуял, что выхода у нее другого нету, кроме как слушать.

- Где это видано, чтобы во дворце девицы позволяли себе голыми ногами сверкать, - он был занудлив и несчастен в этом занудстве.

Ворчал.

Вздыхал. Тер платочком злосчастный лорнет, в котором не нуждался, ибо зрением обладал преотменнейшим. Прикладывал его к левому глазу, после, позабывши, к правому.

- Скажи, дорогая? - изредка он вспоминал о том, что не один здесь. И тогда высочайшего внимания достаивалась супруга.

А с ним и неудовольствия, ибо была она супруга отнюдь не молода, а еще полновата, неуклюжа и по-провинциальному проста. Эту-то ее простоту, вырывавшуюся наружу в обилии кружев да бантиков, немодной пышности наряда и какой-то общей неустроенности, Вольтеровский ненавидел всеми фибрами души.

Но сдерживался. Во всяком случае, при посторонних.

- Вы уж не сердчайте на него, - сказала Ангелина Платоновна, оказавшаяся на деле человеком предобрейшей души. - У Ганечки и прежде-то норы были крутоват, а ныне и вовсе разгулялся. Печенка болит. Я уж его и жиром медвежьим потчевала, и настойки гадючьей бутылку целую извела, а он все только ворчит... он хороший на самом-то деле.

Она повторяла это время от времени и розовела.

Терялась.

Вздыхала и раскрывала огромнейший, верно, от бабки доставшийся веер, за которым и укрывалась что от мрачного взгляду супруга, этакой заботы не ценившего, что от самой Лизаветы.

- Дура! - Вольтеровский, слыша разговоры о собственном здоровье, начинал гневаться, наливался краской, а глаза становились подозрительно желты. - Как есть дура! А говорили мне, не гонись за приданным...

И злой, он покидал покои, требуя оставить его в одиночестве.

Лизавета оставляла.

В конце концов, никто не требовал следовать за неприятным сим человеком неотступно. Она оставалась в гостевых покоях с Ангелиной Платоновной, которая уж точно нуждалась в поддержке и утешении. Ибо когда супруг уходил, пухлое лицо его жены вдруг покрывалось пятнами, а все три подбородка начинали мелко дрожать.

Ангелина Платоновна часто моргала, сдерживая слезы.

Она все еще стеснялась Лизаветы, робела перед нею, как робела и перед комнатными девками, и перед лакеями, и перед прочим всем людом, которого во дворце стало вдруг до невозможности много. А ведь празднества только-только начинались.

- Вы уж простите его, - в который раз произнесла Ангелина Платоновна. - Он ведь... он скоро уйдет и знает это. Вот и бесится.

- А целители?

Ангелина Платоновна, нынче обряженная в платье небесного колеру, щедро расшитое серебристым кружевом, лишь пожала плечиками.

- Говорят, что шансов нет. Мы ко всяким обращались. У нас есть деньги... скопил за службу-то...

И скромное это признание заставляло Лизавету отворачиваться. А зеркала в гостиной отражали не ее, но другую какую-то девицу, тоже рыжеволосую, тощую и с неприятным лицом.

- Деньги-то есть, а счастья... как не было, так и... - Ангелина Платоновна махнула ручкой. - Я Левоньке отписалась, чтоб приехал... а он ни слова в ответ. Услали на границу, а за что?

Удивление ее, непонимание были столь искренни, что Лизавета закусила губу. И вправду не понимает? Или...

- Он не виноват, - Ангелина Платоновна прижала мягкие ладошки к груди. - Я и Ганечке говорила, что мальчик не виноват... он хороший, славный... один раз оступился...

Оступился? И убил.

- А его на границу... Тогда с Ганечкой крепко поругались... я думала, что штраф... у нас деньги есть, вы не подумайте, папенька мой генералом был... раньше, давно... и маменька хорошего рода. Мне приданое положили. Мужа подыскали. Он хоть строгий, а... занятой, да... все на службе и на службе. Левочку я одна, считай, ростила...

Ростила и вырастила.

Подали чай, и Лизавете подумалось, что картина-то препасторальнейшего свойства. Сидят две дамы в гостиной, чаи попивают. И кружевам с бантиками в одной картине самое место.

Как и чайнику серебряному. Чашечкам белого полупрозрачного фарфору.

- Он у меня единственный... - Вольтеровская продолжала мять платочек. - Доктора больше не велели, и без того едва не преставилась...

Ангелина Платоновна широко перекрестилась и голову наклонила.

- Три дня лежала... и Левонька родился слабеньким... никто и не думал, что жить будет. Помню, тогда я лежу, едва-едва дышать способная, а Ганечка заглянул и на службу отбыл. Сказал только, что, мол, если чего, то ему сообщат...

Да уж, тактичностью Вольтеровский, как Лизавета успела убедиться, не отличался. Ангелина Платоновна же губу нижнюю покусала да и продолжила. Верно, совсем уж ей в родном доме тоскливо, если она так с незнакомым-то по сути человеком разоткровенничалась.

- Он, знаю, и за гробовщиком велел послать... на всякий случай. Он не злой, вы не подумайте, просто предусмотрительный.

От этакой предусмотрительности Лизавете стало не по себе. Она повернулась к окну, благо выходило оно на сад. За стеклом светило солнце.

Трава зеленела.

Кусты тоже зеленели. Пели птички где-то там... То есть в гостиной слышно было лишь шумное дыхание Ангелины Платоновны.

- Я-то выжила... и Левонька тоже... кормилиц ему нашла трех, и нянек еще, только вы пока молодая совсем, детей своих нет, думаете небось, если няньку взять, то и все заботы на нее перекинуть можно. Только как я могла своего мальчика какой-то неграмотной бабе доверить? Вдруг бы она ему дурное что сделала? Не со зла, конечно, но по недомыслию... я рядом-то была... следила... Одна, представляете, хотела жеваным хлебом накормить. Другая едва сала кусок не впихнула, мол, на деревне всегда так делают... Дикость, да... Потом уже всех прогнала, сама стала... Конечно, Ганечка сердился, говорил, что это не дело. Только... у него работа, а мне что? По магазинам кататься, дитя бросивши?

Ее лицо разгладилось, помолодело словно.

- Вы себе представить не можете, какой он хорошенький был... просто прелесть. Я ему волосики с сахарной водичкой завью, костюмчик розовый вздену... все восхищались. Вежливый был. Ласковый... чудо, а не ребенок... Потом уже Ганечка наставников нанял. В школу отослать хотел, но я воспротивилась. Какая школа? Там же неизвестно, что твориться будет...

Она рассказывала о сыне легко, с восторгом и затаенной надеждой, что восторг этот ее

всене непременно разделят. И Лизавета разделяла, улыбалась, кивала, соглашаясь, что именно так все и есть, что нет на свете человека лучше, чем Лев Вольтеровский.

А что он там кого-то убил?

Наветы.

Сплетни. И вообще случайность. А случайности и с лучшими происходят. Что ж теперь мальчику, остаток жизни на границе провести? Там, между прочим, опасно, хотя Ганечка и заверил, будто пристроил сына в место спокойное, но он же мужчина, а мужчины в большинстве своем к детям равнодушны.

И сами бессердечны.

Это Левонька исключение. Ах, какие письма он пишет матушке... Ангелина Платоновна читает и плачет, перечитывает и тоже плачет. И конечно, деньги шлет. А то ведь Ганечка дюже из-за той неприятности разгневался, содержание урезал. Сто рублей в месяц всего.

Что такое сто рублей?

Лизавета чашку отставила, опасаясь не совладать с собой. Сто рублей? Если б у нее были эти сто рублей в месяц, хватило бы и на целителя тетушке, и на воды, и на...

- Я ему и шлю понемногу, когда сто, когда двести... Ганечка мне тоже содержание положил, а много ли мне на старости лет надобно? Только чтобы мальчик счастлив был.

И глаза Ангелины Платоновны опасно заблестели, а Лизавета поняла, что слез не выдержит, что эта женщина, пусть и добрая, но в доброте своей слепая, вызывает в ней куда больший гнев, нежели супруг ее, приложивший все силы, дабы замять позорную историю.

Его хотя бы понять можно.

И ее тоже, но до чего не хочется... и неужели не видит она, как изуродовала сахарного своего мальчика всеобъемлющею этой любовью? Рассказать?

Не поймет. Не поверит. Не...

- Говоря по правде, - доверительно произнесла Ангелина Платоновна, чашку отставляя. - Ганечка не хотел ко двору ехать, все норовил большим сказаться, но я уговорила. Когда еще такой шанс будет за мальчика попросить?

- Действительно.

- Вам дурно? Вы бледная такая... это все из-за диет. Бросьте, худоба вредит женскому здоровью, уж послушайте меня... А на границе опасно. Стреляют там. Я и подумала, если служить, то пусть тут служит.

- Где?

- В Арсиноре. Есть же тут штабы какие-нибудь?

- Какие-нибудь наверняка есть, - отпуская медленно, тяжело, будто нехотя разжималась невидимая чья-то рука, позволяя сердцу биться с прежней силой.

- Вот! И значит, найдется местечко для талантливого юноши... - Ангелина Платоновна определенно воспряла духом. - Надо просто попросить.

- Кого?

- Кого-нибудь... я Ганечке так и сказала, но он еще злится на Левоньку. Почему? Та история когда была... сколько еще мальчику мучиться?

Лизавета надеялась, что долго. И раздумывала, стоит ли лезть в эти семейные дела или же понадеяться на собственное Вольтеровское упрямство, которое не позволит вернуть блудного сына в Арсинор. А то ведь и вправду хватит у Ангелины Платоновны сил и наглости отыскать протекцию.

- И женить... Я внуков хочу, - произнесла она доверительно. - Двух. И девочку всене непременно... чтобы волосики светленькие и глаза синие.

- А если не светленькие?

Ангелина Платоновна лишь захихикала как-то совсем уж по-девичьи, отмахнулась, мол, глупости

какие. Как у ее идеальной воображаемой внучки могут быть волосики да не светленькими?

- Главное, - она вновь наполнила фарфоровую чашечку, - невесту подыскать подходящую. Вы же поможете?

- Чем?

- Расскажите мне, кто тут и как... не подумайте, мы не бедные, у нас состояние есть. И папенька мне оставил. И Ганечка наслужил... да и Левонька пополнит.

В этом Лизавета изрядно сомневалась, но сомнения благоразумно оставила при себе. Ангелина Платоновна же поерзала и продолжила:

- Я же не глупая, я все понимаю, что здесь связи нужны. У Ганечки медалей за службу много, а вот связей нет. А если у жены будут? Вот вы знакомы с Одовецкой?

- Знакома, - призналась Лизавета.

- И как она вам? Конечно, говорят, что она манерами слаба, в монастыре воспитывалась, но так даже лучше... Я ее в поместье заберу. У нас воздух преотличный, самое то, что для детей надобно. Левонька пока рос, ни разу не заболел. Будет себе рожать тихо...

Лизавета с трудом сдержалась, чтобы не фыркнуть.

- Или Таровицкие... но говорят, что слишком красивая девка. А красивые всегда себе на уме. Мне вертихвостка не нужна ни за какие деньги. Деньги у нас и свои...

- Есть, - сказала Лизавета.

- Я и про тебя думала... ты милая, обходительная, но старовата уже. У старых больные дети рождаются. Да и связей у тебя нет, а еще любовники...

- Какие?

Ангелина Платоновна плечиками пожала, добавив:

- Говорят... я-то сплетен не слушаю, но... ты мальчику не поможешь... еще вот Вышняты дочь есть, но она ж нелюдь! Как можно вообще нелюдей к людям пускать?!

- Не знаю, - Лизавета поднялась. - Прошу простить, но мне и вправду переодеться надо, все же вскоре...

Глава 25

Театр.

И экипажи, которые вытянулись цугом. Ревущая толпа, которая Лизавете видится одним голодным существом, готовым заглотить и экипажи, и лошадей, и весь город. Становится неуютно.

И Димитрий где-то там, в толпе.

Или рядом.

И маги прикрывают, но все равно... Толпа что зверь, который скачет на цепи, того и гляди разорвет. Что будет тогда? Ангелина Платоновна сидит тихонько, только ручками веер сжимает. А вот Вольтеровский мрачен как никогда.

- Говорят, на Ордынке опять давка приключилась? - он смотрит на Лизавету внимательно, и она кивает, уточняя:

- Едва не приключилась... кто-то крикнул, что царских подарков на всех не хватит, - Лизавета поежилась, но вовсе не оттого, что в экипаже было прохладно. Под светлым взглядом Вольтеровского она остро чувствовала собственное несовершенство.

И платье не помогало.

А платья доставили... да у Лизаветы в жизни подобных не было! И не сказать, чтоб столь уж роскошные, без шитья, кружев или вот каменье. И крой глядится простеньким, прямым, разве что сами ткани богатые, что парча переливчатая, что тонкий темный дым.

На сердце беспокойно.

Она ведь сестрам отписалась и тетушке тоже, чтобы не смели из дому носу казать. И тетушка послушается, у нее в крови это, разве что после будет вздыхать долго и тяжело, глядеть с упреком, мол, единственного развлечения лишили. А сестры...

Димитрий обещал приглядеть, но... кто они ему? Не приставит же к каждой по охраннику, небось самому люди нужны. И будь Лизаветина воля, она бы платье это в комнате оставила, а сама, переодевшись в обыкновенное, ушла б из дворца.

Там, на улицах, ее место.

Там...

- Не дури, - велела строго Одовецкая, на которой роскошный наряд гляделся таким богатым подобием формы. И волосы-то она заплела в косу, а ее уложила короной, закрепив дюжиною булавок. И прическа эта сделала ее старше.

Строже.

- Сейчас вряд ли кого-то выпустят, - Авдотье достался наряд цвета морской волны, того оттенка, который редко кому подходит. А вот ей удачно.

И не бледная. И не красная.

И легкий загар, в обществе высшем почти неприличный, он подчеркнул, удивительным образом облагородив. И Лизавета, глядя на приятельниц, вдруг поняла, за что Ламановой платят такие-то деньги безумные. Не за шитье, не за кружева, не за хитрый крой, но вот за само умение выбрать цвет и фасон, за талант удивительный преобразить любую.

Асинья в белом гляделась отнюдь не невестою. Тонкий золотой шнурочек петлей обвивал шею ее, спускался на спину, расплываясь узором. И Снежка, замерев перед зеркалом - в комнатах их было всего-то два, - разглядывала собственное отражение превнимательно. Пальцем трогала. И палец этот убирала.

Молчала.

И было ее молчание опасным.

- Не волнуйся, - Таровицкая, которой досталась яркая травянистая зелень, коснулась Лизаветиной ладони. - Во-первых, папенька сказал, что в город согнали такое количество магов, что, случись бунт, хватит выжечь дотла...

- Успокоила, - фыркнула Одовецкая.

- Или в сон погрузить.

- Уже лучше.

- Во-вторых, сомневаюсь, чтобы князь проявил подобную недалёковидность. О твоих позаботятся, - Таровицкая прикусила губу. - А отец там... у него сердце болит, а он все равно там. И дед тоже. Куда ему лезть? И мама... я просила, чтобы хотя бы она... так ведь служба.

- Служба, - Аглая обняла Таровицкую. - И моя бабушка так сказала... я с ней хотела.

- Тоже не взяли?

- Сказали, что будет еще время и что лучше нам быть ближе к цесаревичу.

Горестно вздохнула из темного угла Дарья, которая и в ярко-алом наряде умудрялась оставаться незаметной. И лицо ее вдруг сделалось таким, будто она вот-вот расплачется.

- Толпу уже пытались поднять, - Таровицкая не стала высвобождаться из объятий, но чуть подвинулась, пропуская Аглаю к зеркалу. - Стой смиренно, тебе эта коса не идет... вот неужели никто не учил?

- Кто? - хмыкнула Одовецкая, позволяя избавить себя от шпилек. - Думаешь, при монастырях курсы есть? Куаферские?

Шпильки ссыпали Лизавете в руку.

- Так что там...

- Мне, когда от папеньки записку передали... так вот... дядька-то меня сызмальства знает, поэтому отпираться не стал. Сперва пустили слух, будто подарков на всех не хватит, мол, буфетчики их только своим и раздадут...

Она ловко разбирала прядки, соединяя их вместе, хитро закручивая и скрепляя собственной силой.

- Толпа-то и поперла, еще и менталисты подстегнули... их с большего-то, конечно, повыбивали, но те, которые остались... Не крутись, иначе неровно получится.

Лизавета молча подавала шпильки.

Что об этом напишут? И напишут ли? Или как тогда, много лет тому, промолчат стыдливо, сделавши вид, будто бы ничего эдакого, кровавого, не было? Ах, беспокойно...

- Наши-то их остановили и угомонили... трое, правда, со срывом оказались, только...

Она ничего не сказала.

Но и говорить нужды не было, каждый в комнате понимал: это лишь начало.

- Плохо, - Авдотья покрутила крохотный ридикюль. - Револьверов мало...

- Ничего, - Таровицкая закончила с Аглаиной прической и выпустила язычок огня. - Мы и без них, если что... Лизавета, ты следующая. Не хочу тебя обижать, но с тем, что у тебя на голове сейчас, в люди выходить категорически невозможно.

...И вот теперь Вольтеровский разглядывал результат трудов Таровицкой, не скрывая своего скептицизму.

- Чернь, - вздохнула Ангелина Платоновна, раскрывая веер, который занял едва ли не половину экипажа. - Совершенно не понимаю, как их вообще допустили к празднествам...

Экипажи шли через Дворцовую площадь, заполненную людьми от края до края. И время от времени останавливались, когда наследник вставал, чтобы поприветствовать народ. Толпа отвечала ему грозным ревом, заставлявшим Ангелину Платоновну вздрагивать, а Лизавету думать, что зря она от револьверу отказалась.

С револьвером было бы куда как надежней.

- Не дрожите, - сказал Вольтеровский. - Они радуются... пока. - И трость свою переложил, провел по ней, с виду простой, ладонью. Вздохнул: - Если вдруг случится... какая неприятность, вы будете делать, что я скажу. Верно?

Лизавета кивнула.

- Без споров. Истерик. И слез. Без того, чтоб страдать о платье или там туфлях... каблук высокие?

Лизавета приподняла ногу, демонстрируя туфельки, сшитые из золотой же, в тон платью, парчи. Каблук у них были, но совсем махонькие, этакие и гувернантке позору бы не учинили.

- Отлично, - Вольтеровский туфли одобрил. - Тогда не скидывайте. Если потеряете вдруг, то помните, голова, она всегда дороже.

- Ганечка, что ты такое говоришь!

- Правду, - он потер переносицу. - Боже, если бы ты знала, как я устал...

Он пошевелил пальцами, будто разминая затекшую руку.

А ногти желтые.

И кожа с желтизной. Сейчас-то незаметно, поскольку на руках положенные уставом белые перчатки, да и вовсе полумрачно в экипаже.

- Если жив останусь, то в отставку подам... уеду...

- Куда?

- В монастырь, - рявкнул Вольтеровский, - грехи замаливать... вот только слез не надо.

- Ты... ты нас бросаешь?

Лизавете было неловко, и странное дело, эта вот неловкость отлично отвлекала ее от всяких страхов. Она сидела тихонько, не желая мешать этому разговору, который, быть может, в иных условиях и не состоялся бы.

- У тебя останется содержание. А я... я никогда-то особо тебе не был нужен. Разве что Левку из очередного дерьма вытащить.

- Ганечка!

- Теперь пусть сам о себе думает. И просить я за него не стану. Говорил и еще раз повторюсь... за эти годы мог бы и сам чего-то добиться, а он только и умеет, что из тебя деньги тянуть да на жизнь жаловаться.

- Ты... - голубые глаза Ангелины Платоновны наполнились слезами. - Ты не можешь поступить с нами так... мальчик...

- Давно уже не мальчик. Ему за тридцать уже... а он... только и горазд, что пить в сомнительных компаниях. Надеялся, хоть на границе ему мозги поправят, но нет... видать, поздно уже.

- Ты несправедлив, - теперь в голосе Ангелины Платоновны звучала не обида, напротив, мягкий некогда, он сделался подобен металлу. - Ты просто не желаешь понять, что ребенку сложно одному, что ему нужна поддержка и... протекция! И где-то да следует... немного попросить. Или... иным способом... помочь. Всем помогают! А ты...

- А я просто закрывал глаза, когда следовало взять вожжи и выдрать. Я позволил тебе менять учителей одного за другим, потому что твой мальчик был слишком гениален, чтобы держаться в рамках. Я не стал отправлять его в школу. Воздержался от личного наставника, как же... слишком строг. Я был занят карьерой, признаюсь, и потому доверил его воспитание тебе. И что вышло? Мой сын - полное ничтожество... зато он маму любит.

Лизавета отвернулась к окну.

Хочет она мести? Или... Она не знала. А толпа кричала, требуя цесаревича, и не только его... пока лишь лицеизреть.

В театре всегда-то было суетно.

Здесь и в обычные-то дни жизнь если и затихала, то ненадолго, под самое-то утро, и то пребывающий в вечном алкогольном дурмане Сидорыч мешал театру погрузиться в тихую полудрему. Покидая свой махонький закуток, в котором Сидорыч провел без малого десятков лет и, казалось, тем самым всецело сроднился с театром, он вздыхал и, тихо матерясь, принимался наводить порядки.

Прибирал пустые бутылки от шампанского.

Подвявшие цветы, которые продавал занедорого бабкам, а они уж, ожививши их в сахарной водице, собирали из старых букетов новые.

Будил пьяненьких кордебалетных, которым случалось засыпать в непристойных позах и виде таком, что, будь Сидорыч помоложе, от греха б не удержался. Подбирал вещицы, выметал мелкий сор.

Слушал жалобы, а порой и драки разнимал.

Сидорыч знал все и про всех, впрочем, знания эти не спешил выпячивать, напротив, он был приятно молчалив и обладал чудеснейшим умением не попадаться на глаза важным людям. А потому, пожалуй, его ценили куда больше, чем многих местечковых актрисок, мнящих себя примами.

Директор, помнится, в прошлом годе, награждая за службу пятью рублями, так и сказал:

- Этих профурсеток я хоть завтра новых наберу, а Сидорыч один.

Было лестно.

А еще боязно, потому как старость - она не радость и для людей богатых, что уж про Сидорыча говорить. То в боку колоть стало, то сердечко прихватывать, а то перед глазами мошки плясать начинали и такая слабость накатывала, что хоть ты за свою метлу держись, чтоб не упасть.

Сидорыч держался.

Не падал.

Но чуял: осталось ему не так и много. Смерть его не страшила, пожил он изрядно и неплохо, особенно в молодости, о которой, говоря по правде, вспоминать не любил.

Впрочем, речь не о том.

Ныне в театре было совсем уж беспокойно. Директор свалился с приступом, и две примы, одна перед одною, обхаживали болезного, норовя то водицей облить, то солей вонючих под нос сунуть, и притом не просто так, но с монологами душевными, сердечными.

Старая-то Авронская чуяла, что и ее время выходит, оно-то театр театром, да только ни один грим не сделает из шестидесятилетней бабы девицу юную. Небось, если б не полюбивник ее высоких чинов, давно б попросили на роли... более соответствующие.

Да, очень директор это слово любил.

- Вы не понимаете, - Авронская, пусть и в годах, все одно была хороша, да и дело свое знала. Стала на свету, чтоб солнышко утрешнее в лицо светило, мол, кожа у нее гладкая, волос густой...

Правда, чужой, давно уж прима в париках ходит. Только знают об этом немногие люди, и Сидорыч в их числе. Ему, между прочим, все-то местные тайны ведомы.

- Естественно, он не понимает, - отозвалась Каврельская, слегка поморщившись. Она-то была хороша, юна, талантлива и голосом обладала таким, что директор плакать изволил.

От счастья.

Ей франки ангажемент предлагали, но нет, уговорили всем миром остаться. Она и осталась, надеясь главные роли получить, да только разве ж Авронская допустит?

- Я не могу выступать в этом! - Авронская двумя пальчиками подняла полупрозрачную ткань, в которую и была облачена.

Срамота.

Или искусство? Сидорыч так и не разобрался, где заканчивается одно и начинается другое. Впрочем, на бабу он глядел охотно.

- Вчера же могли! - попытался возразить директор, привставая с бархатного дивану, о котором в театральных кругах ходили самые разные слухи.

- Так то вчера, - сказала Авронская на удивление спокойно.

- И что изменилось?!

- Все! - она вновь прижала руки к груди.

- Она постарела на день и теперь сомневается, что вид ее прелестей вызовет у его императорского высочества должную... реакцию, - Каврельская двумя пальчиками подняла губку, с которой стекала ароматная вода, и посмотрела на директора этак примеряясь. - Это было очевидно с самого начала... она не потянет роль!

- Я?! - взвизгнула Авронская, давая петуха.

- Вы, вы. Помилуйте, это даже смешно... играть пятнадцатилетнюю пастушку в ваших-то годах... стыд и срам...

Она сдавила губку, и директор поморщился. Быть может, где-то он и был согласен с Каврельской, однако... у Авронской опыт.

И покровитель.

Публика к ней привыкла, полюбить успела, пусть и порой появлялись в газетах преехидные замечки, но... не рисковать же премьерой.

Не сегодня.

Не в такой день, когда... их императорские величества и без того в театре появлялись редко.

И Сидорыч понял: не уступит. Прикинется умирающим, схватится за сердце, а то и вовсе забьется в притворном припадке, но роль Каврельской не отдаст. И Авронскую с ее капризами осадит. Иногда Сидорычу начинало казаться, что в этом-то и весь смысл.

С двумя примами сладить проще, чем с одной.

Он тихонечко отступил, прикрывая дыру в стене заслоночкой. А что, строили театр еще когда, вот и осталось... всякого-разного знающим людям. Порой у Сидорыча появлялось просто-таки неудержимое желание поделиться, провести кого темными тайными путями, показать закуточки, о которых ни директор, ни примы, ни прочий важный местный люд, который на Сидорыча поглядывал снисходительно, а порой и вовсе матерно о нем отзывался, знать не знал и ведать не ведал.

Вот бы удивились...

И разозлились. Особенно кордебалетные, которые в одной комнатухе переодевались, там же и грешили по-малому, и гадости друг дружке учиняли.

Желание проходило вместе с пониманием, что разделенная на двоих тайна тайной быть перестанет. Дознайся кто, и Сидорыча попросят из театру. Куда ему идти?

То-то же...

Сердце опять закололо, и этак нехорошо, что прямо в руку отдавалось. Сидорыч пошевелил пальцами, кровь разгоняя. Надобно будет к старухе на Зарицкую сходить, чтоб травок каких дала. Или лучше к цирюльнику? Пушай пивок поставит. Авронская вон каждую неделю кровь себе пускает для пушей бледности и сохранения молодости ради.

Дура баба, чего уж тут...

Полегчало.

И Сидорыч решил, что всенепременно сходит, но потом... сперва-то поглазеет на цесаревича и, чем бесы не шутят, на императрицу. Он на нее каждый раз любовался, когда в театре показывалась. Издалека, конечно, кто ж его близко-то подпустит. Но с другой стороны, он подходил куда ближе, чем прочие...

Сейчас от тоже Сидорыч свернул в махонький коридорчик, который и коридором-то не был, являясь по сути щелью меж двумя деревянными щитами. Если дальше пройти, выше подняться, то аккурат на чердаку окажешься, где реквизит хранят, а вот свернешь влево, тронешь дверцу неприметную и...

Человека, в тени затаившегося, Сидорыч заметил сразу.

А почуял и того раньше, все ж с театром за годы прошедшие он успел сродниться, и потому чужое присутствие в месте, куда один Сидорыч и заглядывал, его несколько... насторожило.

Человек устроился аккурат там, где собирался сесть и сам Сидорыч.

Даром, что ли, прихватил дерюжку.

Фляжку любимую, за службу еще при том, прежнем, императоре жалованную, да свиные уши в масляной бумаге. В трактире «Три подковы» свиные уши готовить умели, с солью да чесноком, с приправами... лучше немашечки закуски.

И теперь, разглядывая чужака, Сидорыч испытывал пресмятенные чувства.

С одной стороны, раздражение – этак взять и поломать чужие планы, ни стыда у людей, ни совести. С другой – сомнение. Все ж сколько лет Сидорыч при театре, а постороннего в темных тайных коридорах впервые видит. В-третьих, веяло от чужака недобрым.

Сидорыч вздохнул. Огляделся.

И, поднявши золоченую статую, которую давно уже списали, потому как потерялась и отыскать ее не вышло, хотя кордебалетные весь, как им казалось, театр перерыли, подкинул ее, к весу примеряясь. Статуя была оловянная, сверленная внутрих и пользовалась некогда в пьесе про смертоубийство.

Пьеска, к слову, так себе, после двух сезонов ее и сняли.

Ишь ты... и ведь не просто сидит, со свертком ковыряется... замер, покрутил головой, прислушиваясь. Ага, чтоб Сидорыч взял да позволил какому-то щеглу себя обнаружить. Даром он, что ли, без малого два десятка лет в горах провел егерем царским... Ох, развеселые времена были.

Чужак пожал плечами и к свертку наклонился.

Потянул за связки.

Ладони вспотевшие – дрожат рученьки подлые, как есть трясутся – о штаны отер. А Сидорыч статую отставил. Ненадежное это дело, да и паренек непростой, сторожкий, к такому на расстояние удара не подберешься. Рисковать же Сидорыч не желал.

У него здоровье уже не то.

И сердце прихватывает. И пальцы на ногах немеют... нет, иначе надобно. Если и были у него сомнения, то, увидевши, что чужак из свертка достает, Сидорыч их отбросил. Это ж как ему удалось-то в театру да цельную винтовку пронести? И не нашенская, бриттская машинка, дальнобойная. С такой, сказывали, в воробья за две мили попадешь, а до царской ложи поменьше будет.

Вот же ж.

Сидорыч погладил фляжку.

Опустил на пол, чтоб не мешалась, пристроил пакет с ушами да и вытянул ножи. Пара, старшиной даренная, уж сколько лет служила верой и правдой. Пусть поблекли рукояти, а сами клинки потускнели слегка, зато в руку легли знакомо, ласкаячись.

Паренек вытянулся, устраиваясь поудобней.

А Сидорыч сделал шаг. И второй.

Замер, примеряясь. И когда магик – а разило от него все ж изрядно – вновь закрутил башкою стриженной, Сидорыч ножики-то отпустил. И крякнул от удовольствия: не забыли руки науку, да и сами клинки, верно сказывают, наученные.

Левый вошел аккурат под шею, перерубив позвонки.

А правый в спину, под левую лопатку. Может, оно и излишне, да только там, в горах, бить учили наверняка.

Тело Сидорыч после недолгого раздумия вытащил в проход да и кинул вверх мантию Цезареву, мышами слегка поеденную. Еще и шубейку добавил, тоже попорченную, но плотную, зимой Сидорыч в ней грелся, а теперь и труп укрыть сгодилась.

Да, полезных вещей в театре было много.

Винтовку трогать не стал, лишь подумал печально, что сказать придется, а значит, одной тайной станет меньше и навряд ли ему еще раз доведется на императрицу поглядеть. С другое стороны, может, оно и к лучшему, а то ж сердце.

Пальцы.

Того и гляди не станет Сидорыча, кто тогда ее покой сбережет?..

Когда на сцену выпорхнула юная Каврельская, Сидорыч присвистнул от удивления. Как же ж она уговорила-то директора? От шельма! И выходит, что Авронской конец пришел? Или... этакого оскорбления она не забудет, а дружков у примы хватает... быть войне. И стало быть, погодит бабка с травками своими. Когда примы воют, за театром особый пригляд нужен. А Каврельская хороша, от хороша... особенно сиськи.

Богатые.

Глава 26

В театре было душно.

Пахло благовониями и туалетными водами, а еще свечами, воском и чем-то иным, донельзя сладким, неприятным. Почему-то именно эти запахи мешали Лизавете сосредоточиться.

А может, не они, но страх, ощущавшийся остро.

Вот трепещут веера в руках дам.

Поблескивают драгоценные камни, а в вое хора слышится голос той толпы, которую в театр не пустили. Наследник в своей ложе подле матушки, наблюдает за сценой.

Хлопает.

И прочие тоже хлопают, спеша выразить одобрение, хотя пьеска, честно говоря, преглупейшая. Юная прекрасная пастушка и молодой князь, который влюбляется с первого взгляда, только одной любви мало, ведь есть еще батюшка князя, наследство и невеста по сговору. И само собой, невеста зла и нехороша собой, батюшка деспотичен, матушка коварна.

Влюбленных разлучают...

Вместо сочувствия Лизавета испытала престранное злорадство. А следом и понимание, что пастушки за князей замуж не выходят.

Равно как и маги-недоучки, которые в сомнительного толку газетенках подвизаются.

Но она не просто маг, а баронесса.

И дура полная, коль от единственного приличного в жизни шанса отказалась. То есть она не совсем чтобы отказалась, взяла время на раздумье, но... не устанет ли князь ждать, пока в Лизаветиной голове чего приличного надумается? У него ж дворец под опекой.

Красавиц тьма.

И все-то до одной Лизаветы лучше...

Правда, убиваться, как пастушка, она не станет. И уж точно не будет петь перед утоплением. А вот добрейшей Ангелине Платоновне пьеска по сердцу пришлось, ишь, слезы платочком утирает и даже обиду свою на супруга позабыла.

Почти.

- Сердечно-то как, - сказала она, когда артисты вышли на поклон. И тут же добавила: - А Левонька не видел...

Вольтеровский сделал вид, что не услышал.

Обратный путь был... похож.

Та же толпа, только... чуть более злая? И кто-то свистит, а стенка экипажа вздрагивает, принимая удар. И руки Вольтеровского сжимаются в кулаки.

- Господи ты божечки мой, - Ангелина Платоновна размашисто крестится и спрашивает, кажется, у самой себя: - Что же это творится... что творится...

- Бунт, - мрачно произнес Вольтеровский. - Ишь, разгулялись...

Коляска задрожала, и все вдруг стихло.

- Щиты поставили, - на сухом лице Вольтеровского появилось выражение глубочайшего удовлетворения. - Молодцы...

А Лизавета лишь подавила горестный вздох.

Димитрий сам в толпу не полезет. Он же... он начальствует, и вообще для того особые люди есть. И маги тоже... Таровицкий вон одним ударом спалить всех смутьянов способен.

И тут же стало стыдно.

Там же... там не только смутьяны, там женщины и дети малые, которых взяли на наследника

поглядеть. И еще веселья ради. Там просто люди, оказавшиеся случайно, шедшие на площадь потому как праздник. А их огнем?

Душу сдавило недобрым предчувствием.

Может, так оно и должно... кортеж, крикуны подосланные и маги, которые ответят ударом на удар, не особо разбираясь, в чем дело?

Тогда бунт, может, и не случится.

Или наоборот.

А еще захотелось поговорить с кем-нибудь из тех самых магов, в охранение поставленных. Каково им знать, что, возможно, придется по людям бить? Огнем, водой, просто силой... по обыкновенным таким людям, среди которых наверняка сыщутся знакомые.

Если и незнакомые...

Опасная тема.

А в коляске тишина. И лишь Ангелина Платоновна восклицает с немалым возмущением:

- Отчего они смутьянов из города-то не выслали? В такой-то праздник...

Вольтеровский молча подымает взгляд к потолку.

Димитрий Навойский был мрачнее обычного, и немало способствовал тому новый старый костюм, который был слегка измят, слегка испачкан, но в целом весьма подходил для человека малого. Только в плечах вот жал немилосердно, да и спина поднимать стала.

- На площади задержано двенадцать человек, еще семерых на площади придавили, - человек вытер испарину, - не наши... люди, когда поняли, что те в кортеж кидаются... из задержанных семеро - слабые менталисты, остальные - с амулетами, усиливающими эмоции.

А толпа на эмоции падка.

- Что говорят?

- Ничего не говорят, проклинают только, но это пока. В башню доставили... комендант ругается крепко, что места мало... Может, еще куда?

- Нет, - Димитрий поморщился - голова ныла, а предчувствие дурное не отпускало. - Скажи, чтоб сажал теснее.

Гости.

И Лизавета улыбается, раскланиваясь с кем-то, кого знать не знает и ведать не ведает. В пестрой толпе она чувствует себя на редкость неудобно.

Все кажется, будто бы люди, тут собравшиеся, сделали это лишь затем, чтобы поглазеть на Лизавету. Обсудить ее.

И посмеяться.

Вон кривится в притворной улыбке дама со старомодной высокой прической, из которой выглядывают жемчужные нити. Некоторые спускаются на шею, на плечико острое, чтобы змейками перетечь на платье из темно-вишневого шелку. Отчего-то Лизавете этот наряд кажется кровавым.

Она закрывает рот ладонью. И отворачивается.

На Ангелине Платоновне лазоревое платье с тремя рядами широких оборок. Платье расшито синими же камнями и серебром и потому глядится жестким, этаким изукрашенным панцирем. Вот супруг ее облачен, как и подобает, в парадный мундир, перечеркнутый синей орденой лентой.

Он строг. Сух.

И сердито сжимает трость, то и дело касается положенной регламентом сабельки. И тогда губы его шевелятся, будто бы Вольтеровский готов выругаться, да место не позволяет.

В Большой зале людно.

Где-то там, далеко, укрытый на балкончиках, играет оркестр.

Душно. Веера трепещут.

Балконные двери приоткрыты, но за ними маячит охрана. И Лизавета крутит головой, но не видит...

- Кого ищешь? - князь выныривает из толпы, чтобы удостоиться презрительного взгляда Вольтеровского. Правда, Лизавета уже успела убедиться, что взгляд этим он достаивает без исключения всех людей, а потому закралась мыслишка, что взгляд этот, как и вся презрительность, есть не более чем маска усталого человека, не желающего вступать в пустые беседы и вовсе тратить силы на людей иных.

- Тебя, - Лизавета приняла предложенную руку, заработав еще несколько преудивленных взглядов.

Да уж, среди блистательных кавалеров, которых на бал слетелось что мух на мед, скромный чиновник пусть и в парадном, но изрядно поношенном, а местами откровенно тесном мундирчике гляделся на редкость нелепо. И очки эти в роговой оправе.

Ужас ужасный.

- Я волновалась.

- Выходи замуж, - отозвался князь, очки поправляя. И носом этак дернул смешно. - Я тебе тогда амулетик один подарю... всегда сможешь понять, где я.

- А сейчас не подаришь?

- Молодой человек, - милейшая Ангелина Платоновна поспешила вмешаться. - Вам не кажется, что подобные знаки внимания не совсем уместны в нынешних обстоятельствах?..

- Это моя невеста, - князь выдержал взгляд и даже сумел изобразить преглупейшую улыбку.

И неловкая. И растерянная.

Этакая, будто бы до сих пор не способен он поверить своему счастью.

- Но все же...

- Простите, - в руку Лизаветы скользнуло что-то плоское и округлое, навроде монетки. - Но мне и вправду пора... дела...

- Береги себя, - сказала Лизавета.

А ей улыбнулись, и совсем иначе, светло и ясно: мол, поберегу, несомненно, но и ты тоже...

- Конечно, это не мое дело, - Ангелина Платоновна смотрела вслед неприметному чиновнику, которого просто-напросто быть не могло в этаким чудесном месте, как дворец, неодобрительно и даже с некоторым удивлением. - Однако вы себя недооцениваете. Поверьте, деточка, вы способны составить куда более удачную партию. Конечно, возраст у вас уже не юный, но титул... и расположение к вам ее императорского величества...

- Ты совершенно права, - Вольтеровский переложил трость в другую руку. - Это не твое дело.

- Но девочка совершает ошибку!

- Это ее ошибка.

- Ваши родители...

- Я сирота, - Лизавета закрыла глаза, успокаиваясь. А кругляш в ладони нагрелся. - И это не ошибка...

Тем более что она еще не согласилась.

Пока.

Свяга не слушала человека, который что-то говорил, должно быть, важное или даже, может быть, интересное. Иногда он трогал свягу за рукав, силясь обратить внимание, и тогда она кивала и улыбалась.

С людьми это помогало.

Если кивать. И улыбаться.

Человек улыбался в ответ и продолжал говорить.

Мужчина.

А с ним три женщины. Одна постарше. Ее лицо темно, как и волосы, а душа смятенна, а вот две другие светятся. И мужчина тоже. И смотрит на дочерей с любовью. Сказать ему, что в них нет его крови? Похожая, да, имеется.

Брата?

Отца? И не потому ли так кривится женщина, когда задерживается взглядом на том, с кем обещала разделить жизнь. Впрочем, свяга привыкла уже, что люди к обещаниям относятся с удивительной легкостью.

Она вздохнула.

Неспокойно.

Мир замер, словно перед ударом. И свяга вытянула руку, касаясь незримой струны.

- Да она тебя не слушает совсем, - не выдержала смуглая женщина, о которой поручили заботиться, но делать этого совершенно не хотелось, потому что женщина своей злостью отравляла мир. - Нелюдь треклятая...

- Милая, нельзя же так...

- А как можно? Сколько мы здесь торчим. Настя, не горбись, я сказала! И перестань так улыбаться, ты не лошадь, чтобы всем зубы показывать. Шурка, а ты ржешь, как пьяный гусар...

Злость свяга забрала.

Это просто.

И наверное, все-таки надо сказать, объяснить как-то, что иные тайны душу разъедают. Вон от нынешней лишь кружево осталось.

- Признайтесь, - свяга заглянула в темные человеческие глаза. - И вам станет легче.

- Что?! - в них мелькнул страх.

- Если будете и дальше молчать, то умрете, - у нее всегда получалось плохо с объяснениями. И Асинья ткнула пальцем в грудь, где свернулась комком болезнь. Еще немного - и разнесется, расплзется по телу, сожрет всю несчастную вместе с бессмысленными тайнами ее, и терзаниями, и совестью, и ненавистью ко всем, кого она полагала виноватыми. - Скоро.

- О чем она?..

- Ни о чем, - женщина, чье имя упрямо ускользало - все же в нечеловеческой крови были свои недостатки, - резко захлопнула веер. - Говорю же, нелюдь... Шурка, перестань трогать свое лицо! Ты бы еще палец в нос засунула! Кто тебя такую замуж возьмет, а ты...

Дальше свяга не слушала. Задумалась.

А если она сама расскажет, поверят ей или нет? Проверить несложно, хотя, конечно, родственная близость между мужчиной и девушками имеется и может смазать картину.

- Помоги, - Асинью тронули за руку, и она отвлеклась.

Стена ускользнула, а вопрос остался нерешенным. Отец говорил, что люди не любят, когда кто-то вмешивается в их дела, но если все оставить как есть, женщина умрет.

Это ведь плохо? Или нет?

- Помоги, пожалуйста, - Дарья мелко дрожала и выглядела расстроенной. - Мне нужно встретиться с ним. Я знаю, ты можешь проложить путь. Пожалуйста. Я должна рассказать. Пока еще не поздно.

Она горела.

Белое пламя. Холодное. Опасное.

Асинья протянула руку и убрала. Лед какой... этак и замерзнуть недолго.

- Пожалуйста. Я... я дам тебе что ты хочешь.

- Вряд ли. - Люди легко давали обещания, исполнить которые не могли, но с этим их недостатком Асинья успела свыкнуться. - Ни ты, ни кто другой не заберет мои крылья.

- А ты хочешь от них отказаться? - Пламя притихло, позволяя проступить удивлению.

Свяга кивнула. И пожаловалась:

- Тяжелые. Я бы их отдала, но кто возьмет? - она протянула руку, и белые поддрагивающие пальцы коснулись ладони. Асинья не удержалась, чтобы не сказать: - Ты умрешь, если скажешь.

- И если промолчу, тоже умру... но не только я.

В глазах Дарьи жила тоска. И еехватило, чтобы мир дрогнул, расступаясь. Это только кажется, что тропу легко отворить. Качнулось невидимое небо, отозвалось журавлиными слезами и исчезло.

Свяжки тропы высланы чужой болью.

Страхом.

Или вот огнем, который мучит Дарью. Если вытягивать его по ниточке, если...

Она вышла в знакомом месте, огляделась и, увидев цесаревича, который держал за руку женщину, притворяющуюся императрицей, кивнула.

Об этом Асинья не скажет.

И о другом тоже.

В конце концов, ее ведь никто не спрашивает.

...Лешек ощущал себя престранно. С одной стороны, вроде все шло по плану. И отравителей удалось перехватить, и крикунов, готовых нести весть, что, дескать, нелюди простой люд изводят, поприжали. Вон все участки полны, полиция только и успеваает, что признания писать.

Наемники опять же, которым велено беспорядки начать. Поддержать.

Изъяты огненные снаряды немалым числом, а с ними - амулеты, большею частью ментального воздействия. Их задачей было усилить панику, а если бы резонанс случился...

Лучше б не думать.

Но ведь остановили же.

И с толпой уладили. И менталистов поприжали чужих. Прав Димитрий, надо будет что-то с этой братией делать, как и с одаренными. А то ишь, на огромную державу всего один университет, в который попробуй-ка попади... нет, нельзя разбрасываться подобным потенциалом.

Все шло по плану.

И даже стрелок в театре в него вписывался, хотя и доложили, что пули при нем особого толку, рунного изготовления. И защиту, надо полагать, преодолели бы, и...

Взяли. Всех.

И еще многих до конца вечера возьмут, тех, которые прячут в карманах да нарукавниках алые повязки, дожидаясь момента. Лешек вот тоже ждал, только ожидание давалось с немалым трудом.

Но батюшке приходилось и того хуже.

Что уж говорить об Анне Павловне, которой пусть и случалось прежде нынешнюю маску носить, но в те разы ее хотя бы убить не пытались. Теперь же женщина была напугана, но полна решимости. И Лешек был ей за то благодарен.

- Прошу прощения, - сказал он, чувствуя, как меняется мир по воле чужого. - Дорогая матушка, позвольте представить вам мою невесту...

- Нет, - сказала Дарья, прижимая руки к сердцу. - Не невесту. Нельзя... ты не должен... выбери

кого другого, только не меня... кого угодно.

Она замолчала, озираясь, беспомощная и растерянная.

Несчастливая. Хрупкая.

- Я... я должна вам все рассказать, только... прости, пожалуйста. Мне раньше следовало бы, но я... я боялась. Его все боятся.

И Дарья вздохнула.

А когда Лешек поднес ей чашу со змеиной водой, взяла ее и выпила одним глотком. Удивленно моргнула. И произнесла этак с обидой:

- Горькая какая...

- Яды сладкими не бывают, - Лешек взял ее за руку. - У тебя осталось минут десять. Хватит?

Надо же, почти не испугалась.

Улыбнулась этак с пониманием, оглянулась. А Лешек кивнул, отпуская Анну Павловну: хоть доверенный человек, однако некоторые беседы предназначены для двоих.

- Он, - Дарья присела в кресло. - Он был мне братом... то есть я думала, что он брат, а на самом деле... понимаешь, у меня маленькая семья... а у отца сестра имелась. Правда, потом я уже поняла, что она не сестра... все так запутанно. И я не знаю, с чего начать. Холодно становится. Так и должно быть?

- Приляг, - Лешек подхватил свою женщину, легкую, будто и не из камня сделанную. Но это обманчивая легкость, его натуру не проведешь, он чуял свой нефрит.

Молочный. Легкий, воздушный, но все же камень.

- Ты сердисься?

- Нет.

- Ты... знал?

- Да.

Камню нельзя лгать, он все одно правду почует. А раз так, то какой в обмане смысл? И Лешек осторожно касается хрупких волос.

- Я умру?

- На некоторое время.

Он бы и без змеиного напитка обошелся, вот только иначе заклятье, на ней висящее, не снять. Уж больно хитро вылетено, лежит на плечах шалью пуховой, а чуть потревожишь - и вопьется, раздерет на куски быстрое сердечко.

- Я... никого не убивала. Веришь?

- Верю.

Сейчас нет нужды лгать, и Дарья вдруг успокаивается. Она закрывает глаза и говорит, а Лешек слушает, осторожно сжимая каменеющую руку. Не в его силах замедлить время, которого стало вдруг недостаточно, но он может придержать яд.

Ненадолго. Просто чтобы договорила.

Свет из окна ложится на хрупкое ее лицо, подчеркивая остренькие черты его. Вот хмурится. Вот улыбается. Вот вновь.

Глава 27

Давным-давно, еще в том, сгоревшем от Смуты мире, случилась любовь. Большая, само собою, иной любви и не случается.

А еще недозволенная.

Она была замужем и уже при детях, во всяком случае, сына родить успела. Он – женат и тоже наследником обзавелся, стало быть, о разводе речи идти не могло. Да и кто бы ему, хранителю древнего рода, позволил развестись?

Отправить нелюбимую жену в монастырь? Так у нее тоже родня имеется, и не из простых. Не поймут этакой обиды, а у рода свои интересы, дела и политика. Что оставалось? Встречаться. Сперва тайком, после, презрев правила писанные и неписанные, съехаться, жить одним домом, вычеркнувши из своей новой жизни всех, кто был не согласен.

Супруг?

Он не стал мешаться, слабый, никчемный человечиска, больше озабоченный своим благосостоянием, нежели честью. Ему хватило пары поместий и тысяч двадцати в утешение, благо возможности любовника были велики, а стало быть...

Жена?

Она пробовала обратиться к родне, та явилась с претензиями, и состоялся-таки некрасивый разговор, который, впрочем, ровным счетом ничего не изменил. Разве что любовники покинули блистательный Арсинор. Что им до дворца с его увеселениями?

Они словно чувствовали, что жизни недолго осталось.

Да...

Она родила дочь и, утомленная, свалилась в родовой горячке. Он метался, собирая целителей, обещая золотые горы, но...

Счастье было недолгим. И было ли?

Дарья не знает. Она слышала эту историю от матушки, с которой беседовал батюшка, а уж он-то – от своей полукровной сестры.

– Пойми, дорогая, я не мог ей отказать... она с детства была несчастна.

Уже потом Дарья поняла, сколь сильно несчастье уродует людей. А тогда тоже жалела добрейшую тетушку. Та сперва появлялась в доме изредка, привозя расписные пряники, золоченые орехи и иные сладости, а еще волшебной красоты игрушки, которые раздавала щедро.

Она называла Дарью красавицей.

Восхищалась успехами ее братьев, особенно Мишаньки.

– Он... я думала... он старше всех... с ним всегда наособицу занимались... а матушка холодна была... я тоже чувствовала, – ей тяжело говорить не потому, что тело каменеет – вон, пальцев Дарья уже не ощущает, – а потому, как Лешек глядит на нее немигающими желтыми глазами.

Как есть змеиный царь.

Вот бы забрал он ее под землю, туда, где вьются-льются жилы драгоценные, где сокрыто озеро с живою водой и другое – с мертвою. Где нет людей.

И никогда не будет.

– Я его всегда побаивалась. Он... он, бывало, глянет, и все... будто руки отнимаются. Потом другое... как-то подслушала, что матушка на него отцу жалуется, что совсем сладу не стало, никого слушать не хочет. И если так дальше пойдет, то не в ее доме. Пусть тетушка, раз она такая добрая, Мишаньку забирает к себе... ублюдка.

Дарья выдыхает, а змеевич ловит ее дыхание и касается пальцами губ.

Холодно.

Там, внизу, наставник сказывал, горит вечный огонь, который и греет весь мир, и может, если так, хватит у этого огня сил согреть и Дарью?

- Нехорошее слово. С батюшкой рассорились вовсе... он сказал, что Мишанька ему давно как родной. А матушка ответила, что родных он бы за такие штуки вожжами выдрал бы, на возраст невзирая.

Лешек наклоняется к самому лицу.

И губы губ касаются. Шепчут:

- Не бойся.

А она и не боится, уже не боится, совсем.

Раньше боялась, когда вдруг очутилась у пруда, который папенька велел вырыть. И главное, помнить не помнила, как сюда пришла. Стоит. Ноги в воде озябли. Пальцы в ил зарылись, и темно.

А еще она пошевелиться не может.

- Я тебя и утопить могу, - Мишанька тут же сидит, на камушке. Дарьино платье подстелил, ботинки скинул. Пирожок жует. - Не веришь? Смотри.

И Дарья шагнула в воду.

Она не хотела идти, но тело ее само... кричать попыталась, а не смогла.

- Вот что настоящий дар, а не твои эти... пропаданки, - сказал Мишанька, выбирая грибы из разломанного пирожка. - Хочешь жить? Вижу, хочешь. А еще, наверное, хочешь, чтобы братики твои жили... младшенький особенно. Маменька его любит. Огорчится, если вдруг в колодец упадет. Или в лес сбежит. Или еще куда... мало ли какая напасть приключиться может, правда?

Она только и смогла, что заплакать.

Ей было тринадцать.

А Мишанька фыркнул и сказал:

- Я тебя отпущу, если ты сейчас поклянешься служить мне верой и правдой. Поклянешься ведь?

Что ей оставалось делать? Клятву она принесла тут же, у пруда, пролив кровь, которую Мишанька подобрал белым камушком. Сказал еще:

- Не подумай, я и без тебя обойтись могу. Просто так... интересней.

- Зачем?

Он пожал плечами и все ж ответил.

Тогда-то Дарья и узнала, что тетка родилась от внебрачной связи. И про Смуту. То есть про Смуту Дарья и без того знала, чай, не так уж давно эта Смута и отгремела, чтоб люди ее позабыли.

- Понимаешь, матушка моя, конечно, изрядная дура, если под проклятье подставилась, но благо тетка оказалась умнее, хотя и не сказать чтоб намного, - он позволил Дарье вылезти из воды, платье отдал и половину пирожка протянул.

Тогда еще ей подумалось, что не такой уж он плохой человек.

- Спрятали меня здесь, - сказал он, вытирая пальцы о траву. И стрекозы носились по-над водой. - Кровью укрыли. Теткина полюбовница постаралась. Что? Разве не знаешь? По-моему, про это все знают. Вон в следующий раз приглядишься. Как только слух появляется, что она в гости заглянет, так наши девки по углам жмутся... дуры. Нет бы шанс использовать. Ты пирожок ешь. Не бойся. Я тебя не убью. Привык. Да и польза от тебя быть может.

Она послушно ела, пытаясь уложить все в голове.

- Правда, она слегка разумом повредилась после того, как эту ее... подружку... повесили. Вот. Думает, что как только я корону получу, так первым делом велю Стрежницкого казнить. Дура... все они не сильного ума... и Ветрицкий, помнишь, приезжал в прошлом году? Решил, что раз я годами мал, то буду плясать под его дудку. Ученические узы предлагал.

- А... что это? - заговаривать с Мишанькой, с этим новым, которого Дарья не знала, было слегка страшновато, но и молчать далее она не могла.

- Это... это, сестричка, древняя магия. Роды ж не просто так, у них своя сила, свое знание, которое лишь бы кому в руки не дастся. Вон матушка моя уж на что хитра была, если рассказам верить, а все равно не сумела про все дознаться. Узы нужны. Или кровные, или ученические. Только кровные тебя ни к чему не обяжут, а вот учителя ты должен будешь слушать, во всяком случае, пока он сам не решит, что твое ученичество закончено.

- А если не решит?

И по тому, как Мишанька улыбнулся, Дарья все поняла.

- Ты сообразительная, не то что остальные. Вот увидишь, мы с тобой еще всем покажем. А пока слушай, что нужно делать...

Ничего-то особенного он не потребовал.

Слушать, о чем маменька с папенькой говорят. Правда, после и сам велел прекратить, потому как говорили они большей частью о делах совершенно неинтересных. О посевах или вот косьбе, о том, кому из деревенских помощь нужна и давать ли церкви на починку крыши или пускай сами, десятиной честной обходятся.

О маменькиных планах на ремонт гостиной.

Обоях. Зеркалах.

О мебели, которую она хотела выписывать, а папенька говорил, что глупости это все и лишние траты, вон Виталюшка не хуже режет, а то и лучше...

Мишаньке эти простые разговоры были неинтересны, а вот о его особе родители, будто сговорившись, не упоминали даже. Нет, относиться иначе никто не стал. Мишанька по-прежнему сидел за столом подле батюшки, и тот выспрашивал о делах дневных.

Об успехах.

Еще она слушала тетку, когда той случалось оставаться в тихом их поместье, и удивлялась тому, сколько ненависти быть может в одном этом существе.

Как можно так?

Она разговаривала с собою, то грозилась кому-то всеми карами, то хохотала, то шпыняла служанок, то, выбравши одну, велела вечером кровати стелить и...

- Да уж, совсем ума лишилась. С менталистами это бывает, - Мишанька не удивлялся, он старался держаться от тетки подальше, словно опасаясь заразиться от нее этою ненавистью. - Они цепляются за одну идею, пусть бы даже самую безумную... Не лезь к ней. И надо будет Ветрицкому сказать, чтобы дело какое ей нашел.

А потом Мишанька уехал.

В университет, пусть тетка и была против, и даже скандал устроить не постеснялась, но появился Ветрицкий, который скоренько ее заткнул.

- Ты не знаешь, а он ей родня... папочка у них один, - той ночью Мишанька забрался в комнату Дарьи. - Не трясись, мелкая, не трону я тебя... кому ты, тощая, нужна. Да и будущей царице невинною быть надо, это проверять станут... так что смотри у меня.

И пальцем погрозил.

- К-какой царице? - спросила Дарья, леденя.

- Обыкновенной... нет, мне там Ветрицкий кого-то нашел, вроде как перспективная линия, только нет у меня желания под боком жену-менталиста иметь. От них ведь никогда не знаешь, чего ждать, верно? То ли дело ты... тебя я с малых лет знаю. Тихая. Спокойная. Покорная... хорошей женой будешь. Ведь будешь?

И что Дарье оставалось делать?

- Скоро я уеду, но ты не думай, клятва сроку давности не имеет. Мы ее, правда, немножко изменим, а там... тетка больше мешаться не станет. Я сюда заглядывать не буду, мало радости быть там, где тебя не любят. Ничего... вот стану царем, то-то матушка порадуется. Думаешь, порадуется?

- Не знаю.

- Вот и я не знаю, - он поцеловал Дарью в лоб. - Спи уже. И не думай дурного, я тебя не обижу. Если, конечно, ты сама себя обижать не станешь.

Это было не угрозой, а так, предупреждением, которому Дарья вняла.

Она впервые вздохнула с немалым облегчением, и не только она. К тому времени Дарья изрядно понимала в людях и в происходящем, чтобы обратить внимание и на то, как повеселела матушка, и на братьев, что стали вести себя много вольней, и на прочий домашний люд, будто бы разом очнувшийся от тягостного сна.

Чем она занималась?

Ничем.

Училась вот... тут не соврала. И про ярмарку тоже. И вообще она лгать не любит, но клятва, та самая, которая давит, душит даже через сеть змеиного напитка, почти уже добралась до сердца. Но не страшно.

Умирать не страшно.

Он вернулся, Мишанька, когда матушка заговорила о женихах. Он вернулся один, мрачный, темный, приехал верхами, вошел в дом, оставляя грязные следы на паркете, и, оглядевшись, сказал:

- Боже ж ты мой, какая вопиющая убогость.

И от этого стало обидно.

Страшно еще.

- А ты выросла и похорошела, - он оглядывал Дарью с немалым интересом, от которого начинали дрожать руки. - Успокойся, я о тебе позабочусь...

Он появлялся в доме, и жизнь замирала. Правда, никогда-то он не останавливался надолго, день-другой - и вновь исчезал по неведомым делам своим. Каким? Кто ж спрашивал? Вздыхали с облегчением и тайною надеждой, что уж этот-то визит будет последним.

Нет, он больше не пугал.

Не веселился, заставляя дворню творить безумные вещи. Впрочем, совсем уж безумные он и прежде творить не заставлял, всегда-то соблюдая границу меж шуткой, пусть и прескверного толка, и преступлением. Нет, повзрослевший Мишанька стал серьезен.

Спокоен.

Он разговаривал с батюшкой об урожаях с удоями, сетовал, что в наших краях не найти действительно голштинских чистокровных, о которых слухи ходят преудивительные, обещался заняться овцами, ибо спрос на шерсть растет и расти будет.

Он привозил матушке пяльца и шелка и даже икону в храм пожаловал в позолоченном окладе.

Он давал деньги беднякам.

И нанял целителя, когда приключился скотий мор, чем снискал немалую любовь среди крестьян, но... свои-то чуяли. И матушка благодарила за шелка сдержанно, а батюшка слушал, но спорить не смел, хотя ж с соседом они про этих овец едва до дуэли не договорились.

Мишанька чуял.

- Одна ты меня не боишься, - пожаловался он как-то, укрывшись от родни на конюшне.

- Боюсь.

- Не боишься, - он покачал головой и ласково потрепал солового мерина. А тот доверчиво ткнулся в руку человеческую, выпрашивая подношение. - Если б боялась по-настоящему, то признаться б не сумела... они вот все своего страха прячутся. Скажи: почему?

- Что «почему»?

- Почему они так... разве ж я кому худого сделал? Обидел? Раньше... да, случалось... помнишь, Пантелеймонку? Как он кукарекал на подоконнике? Сам виноват, нечего было розгами грозиться. Но вреда-то, чтобы настоящего, я никому ж... а матушка сторонится. И отец тоже будто чужой. Нет,

я знаю, что чужой...

- Плохо? - Дарья осмелела настолько, чтобы подойти и обнять.

И он обнял.

Уткнулся носом в волосы да замер.

- Плохо, - признался через долгое-долгое молчание. - Если бы ты знала... политика - такое дерьмо...

- Не лезь.

- Уже влез.

- Тогда брось все...

- И дальше что? - он отстранился, вздохнул. - Вернуться? Заявить права на это поместье? А как же Ивашка, которого папенька в наследниках видит? Куда ему? Или даже... получить свои отступные? Деньги у меня и без того есть. Прикупить землицы и овцами заниматься?

- Хоть бы и овцами, - Дарье было неожиданно видеть его таким.

- Не смогу... не тот нрав, да и... не позволят мне отступить. Слишком много людей в этом деле увязло, покажу слабину - сожрут мигом. Тот же Ветрицкий первым придет... возомнил себя хозяином. Думает, что если старше, то можно мною управлять... Ничего, пусть себе думает, я с ними всеми... вот куда...

Мишанька сжал кулачок.

А Дарье подумалось, что не такой он и страшный, ее названный старший брат. Только безумный слегка, да с менталистами подобное случается.

- Погоди еще пару лет... - попросил он.

Дарья же кивнула.

Погодит.

- На конкурс он велел отправиться? - спросил Лешек, отпуская побелевшую руку, в которой уже не осталось жизни.

- Да. Мы... ко двору... собирались... матушка против... отец... убедился, что Мишанька зла не желает... хотел... чтобы... я нашла себе партию. Он изменился. Очень. Что-то случилось... нехорошее. Я знаю. Спрашивала. Он не говорил. Только стал совсем-совсем злым... и сказал, что Ветрицкий... не знаю, но он плохо поступил.

Это Лешеку не понравилось.

Вот просто так, отвлеченно, можно сказать. О какой такой партии может речь идти, если эта нефритовая женщина принадлежит ему.

Ишь, придумали.

Даже щека зачесалась, покрываясь свежей чешуей.

- Извини...

Но во взгляде ее не было ни испуга, ни отвращения.

- А... в змея...

- Не получится. Кровь уже слабая, но пошипеть могу, если хочешь. Или ядом в кого плюнуть.

- П-полезное умение, должно быть, - она еще дышала, хотя камень почти уже добрался до груди. Того и гляди замрет сердце.

- Еще как полезное, особенно во дворце... значит, он был в твоей свите?

- Нет. Он... здесь... давно. Сказал, что дворец ему что дом родной. Кровь чует... старое место... хранители... Ветрицкие при императорах состояли... ему многое открыли... тайные пути... знания...

Она закрыла глаза.

- Я... слушала... когда... Кульжицкая... она в меня... расческой кинула... она... она думала, что за Мишаньку замуж выйдет... их... старуха познакомила...

- Ее бабка?

- Да. Она... сказала, что Гдынька... что она подходящей крови... и знания... что... у нее есть дядька, который императору подчинится... поддержит... особенно если пообещать прощение. Мишанька готов был простить всех. Он... он не злой, только запутался... корона ему не нужна... он мне не сказал правды. Никогда не сказал бы правды, но я его знаю, - близость смерти придала Дарье сил. - Молчи. Умоляю, молчи... времени не осталось. Кульжицкая... стала вести себя опасно... а еще было рано... так он сказал. Избавился от нее... случайно получилось... тайный путь... он сюда заглядывал... часто заглядывал... хотел понять, каково это, императором быть... или наследником.

- Ничего хорошего, - проворчал Лешек.

- А Кульжицкая грозиться стала, что выдаст, что... Ее... пришлось... мне он так сказал.

- Вторая девушка?

- Она... она видела... его... и еще тетюшку... тетка здесь... она свою воспитанницу... мне жаль... она ненавидела того человека, Стрежницкого... хотела, чтобы он умер... она говорила это своей девушке... а та, другая, услышала что-то... может, не только это... она сама не понимала, но Мишанька решил, что она опасна. Сказал, что надо убрать, сделать, чтобы она уехала... сбежала... Я... это я виновата... я нашла ее дневник, там она про любовника писала, и я отнесла Мишаньке, а он... он обещал, что не тронет, что просто поможет девушке... личную жизнь.

Соврал.

И Дарья знает. И верно, подозревала, что с самого начала это было ложью. И белый камень начинает темнеть, что Лешеку не нравится. Камень в силе его, но стоит ли тратить силу?

- Я... ты прав... я догадывалась, что будет... нехорошо... не хотела верить, что он убивает... может убить... он ведь мой брат... пусть не самый лучший, но брат. И меня любит. Так говорил... он сказал, что... что никогда не обидит. Я верила... долго верила, а еще чувствовала. Ему больно. Всегда больно. Он сгорел внутри... когда - не знаю.

- Что еще делала?

- Слушала. Кто говорит и о чем... Цветана... я не знаю, почему он ее... за что...

Вероятно, потому что надоела?

Или решил, что хватит и одного соглядатая?

- Еще записки носила... от одних людей другим. Я... у меня в платье... список есть. Кого знаю... он... он там тоже... и рисовала, но у него много лиц. Ему легко меняться.

С менталистами и вправду надо будет придумать чего, закон какой или уложение, а то уж больно свободно братия сия себя ведет.

Ни страха. Ни совести.

А Дарья вздохнула и закрыла глаза.

- Не спеши пока. - Сила тянется по капле, тонкою ниткой. - Что сегодня случится?

- Не знаю... он никогда ничего не рассказывал... но что-то случится. Обязательно.

Она все-таки ушла.

Обратилась в камень. И очнувшееся было заклятье, с удивлением обнаружив вместо жертвы нефритовую глыбу, пусть и самых очаровательных очертаний, рассыпалось.

Так-то...

Лешек провел пальцем по полупрозрачной щеке, коснулся губ. Тронул хрупкие реснички, что больше походило на иглы инея. Вздохнул.

И вот что с тобой делать?

Предательница? Или жертва?

Или и то и другое?.. Ее ведь не случайно к Лешеку подослали, будто знали, что из всех он именно ее выберет. А этакая уверенность не на пустом месте возникла.

Он отстранился. Прошелся по комнате.

Время... времени почти не осталось. И без того с открытием бала припозднился, что не есть хорошо. Конечно, дурачку простительно за временем не следить, однако...

Лешек огляделся.

И подошел к окаменевшей девушке. Тронул складки платья... мягкое какое. А вот снять его не получилось, все ж таки статуи гнуться не способны. Пришлось воспользоваться ножом. Конечно, Дарья, когда очнется, не поблагодарит, да и к творению Ламановой следовало бы проявить больше уважения, но как-нибудь в другой раз.

- Есть что-нибудь? - поинтересовалась Анна Павловна, переступая порог. Личина матушки заставила вздрогнуть, все ж таки работали они не только магией, а потому даже для иного, змеиного взгляда сходство было преудивительным.

- Пока не знаю. Вы все слышали?

- Бедная девочка.

- Бедная ли?

- Сомневаешься?

- Не знаю, - со вздохом признался Лешек. И сдернул покрывало с ближайшего дивана, все ж таки не извращенец он, разглядывать несчастную, пользуясь ее беспомощностью. И что с того, что взглядов этих девица в лучшем случае не заметит. - Одно дело, если я сам ее заметил. И другое... травы ведь разные есть. Просто мало кто о них знает. Думаю, поэтому они и не спешили. Сперва ждали, пока наследник подрастет. После готовились... и его готовили.

Он прошупывал остатки платья, некогда роскошного, а ныне представлявшего собою грудку разноцветных лоскутков. Лешек прислушивался.

Золото. Серебра капля.

Каменья вот искусственные, хотя с виду и глядятся настоящими. Пожалуй, и не всякий ювелир разницу почувствует. Для Лешека вот она очевидна. Что еще? Ткань. Белье, которое трогает он осторожно. Неудобно, право слово, и...

- А это что? - Анна Павловна коснулась тончайшей, что паутинка, цепочки, которая уходила в окаменевшие локоны. - Позволишь?

- Только не повредите, мне ее еще оживлять.

- Думаешь, стоит?

И смотрит аккуратно как матушка, с сомнением и насмешкой, мол, бестолочь ты, а не сын и наследник престола. Впрочем, на престол, как выяснилось, иные желающие имеются.

- Думаю, или судить, или прощать... После решим, но все не статую. Статую судить - это как-то... чересчур уж...

Анна Павловна ничего не ответила. Коснулась легонько цепочки, подцепила мизинчиком и потянула, а та заскользила змейкой ядовитою, на мгновение натянулась, зацепившись за каменный локон, да и порвалась.

- Погоди... - Анна Павловна взяла нож для бумаг.

- Что вы...

- Нам это достать надо? Надо. А если слегка без волос останется, то сама виновата, нечего с заговорщиками связываться. И не надо дуться, Лешек. Вреда большого не будет, попросишь после куафера, пусть новую прическу твоей сердечной придумает...

Она отколола кусок нефритового локона и вытащила-таки цепочку с махоньким камушком.

Нефритом. Белым.

И... голубым, лунным, который рождается раз в сотню лет во глубине затерянного Иртыш-озера,

которое люди называют Проклятым. Камень лег на Лешекову ладонь, переливаясь мягкими оттенками от сизого до лазури, будто играясь.

Что, змееныш, и вправду решил, будто вот она, любовь случилась? Та самая, которая одна на всю жизнь, да еще иным и на посмертие хватает? Душа в душу, сердце в сердце...

Анна Павловна осторожно тронула его за плечо.

- Это то, о чем я думаю?

- Змеев камень, - Лешек старался говорить спокойно, но голос все ж дрогнул. - Говорят, что если собрать их дюжину и венец сделать, то тот, кто этот венец примерит, Змеиным царем станет и сам Великий Полоз служить ему будет верой да правдой.

- Венца у нас нет...

- Зато камень есть, - Лешек сжал его в ладони. - И тот, кто его достал...

Змеев камень не так просто купить, ибо опасно Иртыш-озеро, глубоко, сказывают, что вовсе бездонно. Но это ложь. Просто дно его укрыто мягким илом, а в нем открывают рты три сотни ледяных ключей, из-под гор выходящих. И оттого даже в самую жару вода Иртыш-озера студеная.

Сунешься - и враз схватит судорогой.

Силы высосет-выпьет до дна.

Нет, находились смельчаки, которые ныряли, а порой и выныривали. Иногда даже с добычей, правда, вновь же шептались люди, что никому она на пользу не шла.

- Мне вот одно интересно, - Лешек камень положил на стол. - Откуда они столько о нас знают?

Анна Павловна не ответила, лишь протянула сложенный вчетверо листок.

Имена.

Что ж... за одни эти имена Дарью можно было простить.

Можно. Будет.

И Лешек простит. Он не злой, он просто... обижен? Пожалуй. Однако он слишком змей, чтобы позволить обиде разум затуманить. А потому с легкостью поднимает холодное тело: негоже в наследниковых покоях девкам, пусть и каменным, разлеживаться. Анна Павловна остается. Присев в кресло, она с задумчивым видом список изучает, а заодно уж перебирает пальчиками, на которых поблескивают перстни.

Кожа ее величества императрицы, пусть и подложной, отливала каменной белизной.

- Непривычно, - Анна Павловна коснулась круглого кольца, безопасного с виду. - И... мне все одно не по себе.

- Не обязательно это делать...

- Обязательно, - покачала она головой. - Я давала клятву. А даже если и нет... моя семья сгинула в Смуту. Теперь у меня есть новая. И мнится, ее тоже не пощадят.

Кто и когда будет допущен до белой этой руки?

Удостоен высокой чести коснуться ее губами?

А что после сердце засбоит...

Или вот в боку колоть станет, или еще какая напасть приключится? От волнения все, исключительно. А уж что волнение болезнью обернется, так и вовсе несчастливый случай виной тому. Лешек самолично некоторых заболевших проведает.

Другим открытки отправит.

Вон целую корзину заготовили. Да и кольца... яды в них разные, правда, все до одного редки, и потому мало шансов, что кто-то правду узнает. А догадается если, то все одно победителей не судят.

Он отнес девушку в спальню, из которой дыхнул сыростью подземный ход. Спускаться далеко не пришлось, вот она, комната тайная, созданная Лешековой собственной силой, а потому и видимая лишь ему. Вряд ли родственничек объявившийся сыщет, а сыскав...

Что ж, один змеев дар другим отменить можно. И если Лешек вернется...

Он уложил Дарью в друзу горного хрусталя, которая раскрылась по просьбе змеевича, вытянулась, меняясь, посветлела, приняла драгоценную ношу. Правда, с виду стала донельзя похожа на гроб, но... кому тут на нее смотреть-то?

А пара золотых змей, клад стерегущих, поверху легли цепями.

Теперь вернуться.

Привести себя в порядок. И тоже кольца выбрать. Не одной Анне Павловне работать предстоит, список вон какой большой, зато и понятно, на что смутьяны рассчитывали.

Не смута им нужна была, но, напротив, ее использовать желали, припугнув тех, кто не с ними, что вновь полыхнут алыми знаменами улицы. Если не станет императора.

И жены его.

И наследника... примут любого, кому покорится треклятая шапка. Примут и не спросят после, как ко власти пришел... главное, чтобы не допустить новой смуты.

Проклятье.

Глава 28

Димитрий даже не удивился, увидавши на балу самого себя. Конечно, чей еще облик выбирать, как не человека, который их императорским величествам близок.

Ишь ты.

И неужели Димитрий в самом деле так... нелеп?

Костюмчик выбрали, право слово, отвратительный. Никогда бы он, настоящий, не примерил этакое болотное убожество, да еще оттеночек самый что ни на есть лягушачий. На шитье тоже не поскупились. Золота не пожалели, шитье, кажется, в два слоя, по новой франкской моде.

Димитрию предлагали уже.

Он ткань пощупал, восхитился плотностью ее – не каждая кираса сравнится – и отказался от высокого чести. А этого, стало быть, не отпугнуло...

Многих не отпугнуло.

Но многие Димитрия интересовали мало. А глядел он на себя, вернее, на человека, который им притворялся. Нехороший. Лицо вон злое. Черты грубые, нос вовсе будто наскоро леплен и к лицу приставлен. Да быть того не может, чтобы сам Димитрий с таким носом ходил. Он, между прочим, собственное отражение изучил распрекрасно, не в одном зеркале с собою здоровался, а тут... волосы вот причесать мог бы, а то торчат, что иглы ежиные.

И эта премерзкая привычка замирать на одном месте, взгляд в неведомые дали устремив. Неужели вправду оно так? Платочек к носу...

Подойти? Или...

А если Лизавета его заметит? Если решит, что Димитрий вправду решил личину скинуть? От этакой мысли в груди похолодело. И Димитрий велел себе успокоиться: если и заметит, то навязываться не в ее привычках, во всяком случае, ему так казалось. А подойдет... нынешнего Навойского толпа окружила, и сплошь из девиц, матушек их и компаньенок, через такую не всякий гусар пробиваться рискнет, что уж про Лизавету говорить.

Навойский же, который поддельный, девицам улыбается.

Авансы, стало быть, раздает.

Говорит что-то этакое. Они и хихикают, краснеют, благо хоть в обмороки никто падать не спешит. Димитрий вздохнул и, вытащивши из кармана часы, покачал головою: опаздывать изволят их императорские величества. Вон клиент весь прямо извелся, то и дело взглядом на дверях останавливается, перед которыми герольды истуканами замерли.

Вот интересно, сразу убивать пойдет или погодит немного?

И способ каков? Бомба?

Если так, то пронести ее во дворец непросто, а с другой стороны, кто ж рискнет Навойского обыскивать? С третьей же ежели, то для самого этаким способ – верная смерть. И стало быть, личина навешена вовсе не на того, кто трон получить желает.

Еще одна пешка?

И знает ли она, что вот-вот смахнут ее с доски? Не потому ли нервничает? Озирается, будто пытаясь отыскать в зале кого-то знакомого, и вновь улыбается, вымученно так, но эту вымученность спишут на низкое происхождение и отсутствие манер, что для выходца из низов простительно, а порой даже мило.

Этакая естественная простота.

Зато костюм понятен.

Камзол широк, будто ватой набит. Ткань плотная, этакая не ляжет мягко, обрисовывая взрывное устройство на радость охране.

Герольды затрубили, а Димитрий подошел поближе.

Сразу взрывать не решится. Все ж таки толпа.

Желающих лицеизреть их императорские величества много, и среди них не найдется человека, готового уступить свое место Навойскому... к счастью. Вон девицы и те позабыли про брачные перспективы, вернее, мигом их переоценили, поспешив к дверям, которые вот-вот распахнутся.

А значит...

Толпа. Охрана.

И сомнительный шанс, что осколки долетят до цели. Дернулась левая рука и опала бессильно, а на лице лже-Навойского появилось выражение, заставившее Дмитрия сделать шаг к чужаку. И еще один. Замереть... спешить нельзя, ибо тот, кто вывел несчастного в зал, где-то поблизости, спрячется среди лиц и людей, меняя маски с легкостью. Ему даже носить их не надо, всего-то и требуется, что малость убеждения.

Толика силы.

И вот уж человек видит перед собой того, кого должен.

Вопрос: кого? На месте его непризнанного императорского высочества Дмитрий выбрал бы личину попроще... чью?

Лакея?

Вон того, который замер с подносом на руке и вид имеет весьма отрешенный? Нет, обслугой опасно, конечно, менталист не позволит услатить себя на кухню, но и тратить силы попусту... Охрана тоже отпадает.

Что остается?

Гости.

Их тут тысячи собрались. И даже примерь он собственное, верно, крепко позабывшееся личико, вряд ли кто узнает. Твою ж... выпроваживать всех?

Нет. Не так глобально.

Осторожно надобно. Сперва вот подойти к Навойскому, а сие просто, ибо толпа пришла вдруг в движение, подалась в одном верноподданическом порыве, желая преклонить колени пред императором.

И Дмитрий тоже преклонил.

Ненадолго.

А там отступил в сторону и вбок, и повернуться, протиснуться меж двумя дамами столь солидных форм, что спрятаться за ними сумел бы и человек куда более внушительного телосложения, чем Дмитрий. В общем, он сумел, благо шествовали их императорские величества с положенной статусу неторопливостью. На придворных с играми их взирали снисходительно, иных удостаивали кивками, да и вовсе гляделись в должной степени величественно, непоколебимо.

Мантии, горностаем подбитые.

Золотые цепи, что глядятся едва ли не кандалами, и камни драгоценные в них.

Венец Мономахов, который если и извлекался из сокровищницы, то вот для таких, особых случаев. И силу, от него исходящую, ощутили все. Она оглушала.

Парализовывала.

Лишала возможности двигаться, оставляя в голове одно лишь желание – подчиниться тому, чью голову он украшал. Дмитрий пусть и знаком был уже с воздействием проклятого венца, преодолел его с трудом, что уж говорить про поддельного Навойского, застывшего с приоткрытым ртом.

Преглупейшее выражение!

Не могли иное какое лицо выбрать для издевательств? Как дети, право слово... и Дмитрий не без удовольствия вогнал крохотную иголку в бок чужаку, а на ушко сказал этак преласково:

– Дыши ровнее, сейчас полегчает.

Тот только и сумел, что моргнуть.

– А теперь пойдете-ка, ваше сиятельство, – Дмитрий подставил плечико. – Не хватало еще

прилюдно чувств-с лишиться. И не смотрите так, кто ж виноватый, что вы перебрали-с? Ай, нехорошо... слухи пойдут...

Лже-Навойский переставлял ноги, но глядел гневно.

Пусть глядит.

Это все, что ему дозволено. Да... иные яды весьма полезительны, жаль, что редки и долго не хранятся. Впрочем, долго Димитрию и не надобно.

- Йа...

- Вы, вы, ваше сиятельство... извольте сюда... и вот потом туда... и не спешите благодарить, после уже...

Всем видом своим лже-Навойский явно демонстрировал, что весьма далек от мыслей о благодарности.

- Неудобно? Это пройдет... во всяком случае, мне обещали, что пройдет, но как оно будет на самом деле, знать не знаю. Однако будем надеяться на лучшее. Будем же?

Залу удалось покинуть, что было само по себе презамечательно. Теперь если тот, кто затеял сию игру, и сумеет пробиться сквозь блокирующий полог, то навязать свою волю ему будет презатруднительно.

Главное, не замолкать.

- А вот скажите, дорогой ваш-сиятельство, о чем вы думали, являясь в свете в столь поразительно уродливом обличье? И главное, казенных денег небось не пожалели на камзол?

- Мне... н-надо... в-вернуться...

А сила воли у паренька имеется, если заговорить без прямого дозволения сумел. И за то Димитрий его уважает безмерно, хотя уважения будет маловато, чтобы на каторгу не отправить.

- Вернетесь... от как есть, так и вернетесь... сходите... скажем, до ветру? Вам же позволено до ветру? Или как? А то ж обидно, наверное, помирать, до ветру не сходявши...

Постоянно говорить тяжело. Во-первых, во рту пересохло безбожно, а во-вторых, лезет в голову чушь невероятнейшая, которую Димитрий и выплескивает на уши несчастного. А тот этой чуши внимает с видом обиженным. Но внимает.

Куда ему деваться?

Песнь сирены, чтоб ее... и похоже, не шутил Лешек, когда говорил, что в зелье чешуя этой самой сирены вошла.

- И вообще, позволено будет вам сказать, что глупость вы придумали невероятнейшую. Что принесли с собой? Заряд? Порох? Ах да, один порох не комильфо, а вот если добавить магии немного. Слышал я, что для горных работ новое вещество изобрели огромной разрушительной силы, вот только крайне неустойчивое, взрывоопасное... до нас, слава богу, пока не довели, а то...

Он моргает.

Переставляет ноги, уже не глядя по сторонам. И кажется, теперь ему в самом деле все равно, во всяком случае, гневный блеск в глазах поугас, да и сам лже-Навойский сгорбился, сдулся словно бы. Этак еще немного, и Димитрий к несчастному жалостью проникнется, что будет совсем уж нелепо.

- Вот сюда... прошу... и ниже... ступенечки высоковаты, так что глядите под ноги. И поведайте мне исключительно интересу ради, на что ж вы, бестолочь этакая, рассчитывали? С самодержавием бороться взялись принципов ради или из личной выгоды?

- Я... не...

В подземельях было тихо, спокойно и даже по-своему умиротворенно. Тускловатого света хватало, чтобы не плутать в потемках, однако он делал прямой коридор странным образом уже и длинней, отчего тот вообще казался бесконечным.

Темнели двери.

И решетки на них гляделись мрачно, как и кандалы, вывешенные каким-то шутником в коридор. А

вот и престарелый скелет, скраденный во времена незапамятные из анатомического кабинета и обряженный в лохмотья. Было дело, Дмитрий распорядился скелет убрать, но после передумал.

Традиция-с.

Да и на многих гостей вид сего несчастного – а заросшие паутиной кости гляделись пренатуральнейше – действовал положительно.

Вот и лже-Навойский сглотнул.

Побледнел ощутимо.

– Прошу вас, – Дмитрий гостеприимно распахнул дверь из зачарованного дуба. Хлопнул, активируя камни. – Располагайтесь со всеми удобствами. Их туточки не сказать чтобы много, но хватит, да... на первое время хватит. А там уже и суд, и плаха...

– К-какая? – Действие зелья стало ослабевать, если клиент сумел не только заговорить, но и без дозволения присел на дощатую кровать.

– Какая-какая, обыкновенная, которая с палачом. Правда, в нынешние просвященные времена грамотного палача отыскать непросто. Всё же гуманисты виноваты... но, может, государь смилуется и веревкою пожалует? А то ж, поверьте, мало удовольствия, когда вам голову недоучка рубит.

Лже-Навойский сглотнул.

И в волосы себе вцепился, дернул:

– Что вы... как вы...

– Одно крайне редкое, специфического толку зелье... голос сирены. Говорят, придумали его сицилийские потаскухи. Одна капля – и человек лишается собственной воли, он готов сделать все для того, чей голос слышит... к примеру, камзол снять. Вам не жарко?

– Н-нет.

– Жаль, опять колоть придется.

– Нет! Вы... вы не понимаете... если кто-то возьмется... попробует снять... она треснет.

А вот это уже интересней, намного интересней.

– Ты один такой?

Хлопнул ресничками. И за волосы потянул, от парика избавляясь. Провел ладонью по ежику светлых волос. Вздохнул:

– Полагаю, что да... вы не подумайте, я не хотел, но он... он умеет убеждать. Знаете, у меня есть сестра... и она... он... я дурак, да?

– Еще какой, – Дмитрий подошел к сидящему парню.

Молод.

Лет двадцать, вряд ли больше.

– Она давно у него... то есть с ним... то есть... он ей голову заморочил. Заставил. Он сказал, чтобы я выбрал, что если откажусь, то он ее заставит бомбу нести. А как я мог?

Никак.

Сестер у Дмитрия не было, но он охотно поверил этому разнесчастному идиоту. Вот только плахе до благородных намерений дела нет.

– А ты понимаешь, что умер бы?

– Я и так умру, – паренек виновато улынулся. – Он не допустит, чтобы я... только, может, ее не тронет. Как вы думаете?

– Тронет, – жестко сказал Дмитрий. – Как твою сестру звать?

– Дарья... и... я вот подумал, вы маг? Структура нестабильна. Как вы говорили, сила взрыва была бы такова, что в зале никого бы не осталось... почти никого... и меня тоже. Но я смерти не боюсь. Лучше так, чем жить, зная, что ее не сберег...

Димитрий вздохнул и поднял очи к потолку.

Вот же...

Умру - и гори все синим пламенем, главное, что сестрицу дорогую спасу. Конечно, спасет... а остальных? Пусть императорская семья - на них не раз и не два покушались, но ведь в зале кроме них еще сотни и сотни людей... пожилых.

И молодых.

И совсем юных, вроде дебютанток, которых на представление ко двору пригласили. Их не жаль? А чего жалеть, если совесть умрет вместе с героем.

Смертью храбрых.

- Дурак, - сказал Димитрий, придерживав пару слов покрепче.

А паренек кивнул, соглашаясь, мол, как есть дурак, только что делать, если дурость, она такая, урожденная, и самому с нею справиться не выходит.

- Покажи, что там у тебя...

- Вы купол хоть поставьте, - паренек поерзал. - Чтоб если оно вдруг...

- Как взорвать должен был?

- Подойти поближе... чтоб наверняка... чтоб шагов с пяти, а лучше вовсе подле трона, но если не получится, то шагов с пяти. Пуговку оторвать. Вот эту.

Он указал на золоченую, украшенную зеленым камнем пуговицу.

- Руки! - рявкнул Димитрий.

Не хватало, чтобы случайным прикосновением этот идиот прекрасодушный заклятье пусковое активировал. И парень послушно застыл.

- Звать как?

- Егорушкой.

- И что ты о заряде знаешь... Егорушка?

На щеках паренька вспыхнул румянец, должно быть, обидно стало за тон, которым Димитрий имя произнес.

- Я... он... он сказал, что с трудом получилось... купец Сафронов для горных работ взял попробовать и дюже ругался, что возни много. На подводе не довезешь, чуть колбутнешь бутыл, она и того... у него всего пять зарядов было.

Пять?

Мать его...

- Три он на испытаниях извел. - Егорушка глядел светлыми наивными очами, и чужое лицо сползло с него медленно, издеваясь будто бы. - Еще один хотел на хлебные склады отвезти, но чего-то там не заладилось... злился крепко. А этот вот мне вручил. Он... я думаю, если структуру стабилизировать...

Ага, еще бы знать, как это делается.

- А ты...

- У меня особый дар, - Егорушка вздохнул тяжело. - Я с материями не работаю. Не умею. А вы?

- И я не умею, - признался Димитрий, прикидывая, доживет ли этот герой, пока он за помощью сходит, али все же рискнуть? Нет, камера взрыв выдержит.

В теории.

А проверять на практике не хотелось бы.

- И давно ты при дворе, Егорушка? - Димитрий прикоснулся к зеленой ткани, пытаясь услышать, что происходит за ней. Вот громко стучит сердце бестолкового взрывателя.

А ведь не мог чужак рассчитывать только на него.

Не мог.

Слишком продуманный план. Слишком долго готовились к этому проклятому балу, чтобы доверить успех бестолковому мальчишке.

А вдруг бы силы духа не хватило?

Все ж верная смерть... или убеждение? С менталиста хватит повесить на разум цепь, за которую после только и надо, что дернуть.

И все одно ненадежно.

Значит, колб не пять? Есть шестая? Или седьмая? Или...

Вещество отозвалось, пусть структурная магия никогда-то не давалась Димитрию, слишком сложными ему казались все эти расчеты.

Плотность. Вес. Переменные Тарина.

А теперь вот вспомнились, будто только вчера лекцию прослушал-с... и главное, отвлекся. Огонь чует родную стихию, ластится, бьется бабочкой о стеклянные стены колбы. Если треснет, то сил у Димитрия не хватит, чтобы сдержать безумное это пламя.

Думай.

Огонь...

- Лед, - сказал Егорушка шепотом. - Я пытался расчеты проводить, но... понимаете... он всегда знал, что другие делают, поэтому писать никак нельзя было. И думать следовало осторожно, чтобы он не понял. Я не хотел никого убивать. Я просто... я не знал, как сделать, чтобы он остановился, чтобы не тронул... И подумал, что если мне удастся стабилизировать структуру, а после вывести ее на низкоэнергетические связи... по принципу Штоффена. Вы ведь читали его работы?

- На сон грядущий, - проворчал Димитрий.

- Не читали. Он полагает, что не стоит напрямую использовать антагонистические стихии, поскольку в первом приближении наблюдается классическая экзотермальная реакция с высвобождением деструктурированной энергии...

Еще один умник на голову Димитрия.

Пламя подуспокоилось, но это не значит, что оно готово было подчиниться человеку.

- Но если несколько изменить изначальную структуру воздействующего элемента, используя классические таблицы сродства, то становится очевидно...

Парень несколько приободрился.

- И я решил, что если уж пробовать, то вот... - он раздвинул пальцы, активируя заклятье, структура которого заставила Димитрия поморщиться. Может, силы у него и хватает, но вот чтобы такой точности... - Правда, вам лучше выйти, а то вдруг не получится? - Егорушка потупился.

А Димитрий встал. Выйти? Отчего ж не выйти, если так... стало быть, структура... по классическим таблицам сродства... ага... и как это он сам-то не додумался?

Глава 29

- Видите? - паренек сидел на дощатой койке и крутил в руках шарик.

Стеклянный. Инеем подернутый.

- Мне удалось достичь стабилизации, однако требуется поддерживать внутри колбы оптимальную температуру, которая не допустит деструктуризации вещества. В принципе, исходя из общих...

- Короче, - потребовал Димитрий и руку протянул.

Но паренек мотнул головой, пояснив:

- Как только я ее отпущу, температура внутри начнет расти. А следуя теории Аблонского, рост будет происходить по экспоненте с...

Руку Димитрий убрал.

- Но в то же время, - колбу Егорка положил на колени, - если попробовать действовать через сродство материала локально, то можно создать нацеленный узкоспециализированный поток...

Он и создал.

Там, в камере, одной рукой придерживая треклятую колбу, которая виделась Димитрию почти средоточием зла, а другой вычерчивая на стене некие, одному Егорке понятные закорючки.

- Смотрите... площадь охвата около... если принять во внимание... конечно, гарантии я дать не могу, но вот... энергии, правда, уйдет...

Энергия имелась.

- И маги понадобятся. Один я не потяну... хорошо бы кольцо полноценное с резонатором.

Вот чего Димитрий никогда не любил, так это резонатором выступать. А с другой стороны, что еще делать? Подниматься и обыскивать гостей? И то счастье, что время им дали.

Дали время. Почему?

Впрочем, эту мысль Димитрий отбросил. Если и дали, то немного, а круг собрать...

На зов откликнулись все, благо того и ждали. И лишних вопросов задавать не стали.

Шапоткин скинул серый мундир. И рядом лег изукрашенный шитьем камзол Верховского, которого Димитрий крепко недолюбливал за врожденный снобизм и легкое презрение к начальству. Оно, невысказанное, меж тем отлично чувствовалось в каждом жесте, в каждом слове.

Первым за нож взялся престарелый Аксенов.

Его бы вовсе отстранить, но куда... связанный путами многих клятв, он обречен был доживать на работе. Впрочем, несчастным он не выглядел.

Аксенов полоснул по вене, пуская кровь на выбитые руны, и передал клинок Верховскому.

- Признаться, эта затея мне кажется сущим авантюризмом, - сказал тот, впрочем, крови жалеть не стал. После перехватил запястье платком.

- Поспешать надо, - Нодриков, как обычно, был напрочь лишен сомнений, единственное, что его беспокоило - и не только его, - страх не успеть. - А то ж если рванет... плохо будет.

- Шапка защитит...

- Защитит ли? - сомнение Верховского передалось и Дьюреву.

И тот, обычно молчаливый, позволил себе высказаться:

- Все же мы слишком мало знаем о ее возможностях. И не случится ли так, что мы их несколько... переоцениваем?

Этот вопрос занимал и Димитрия.

Он молча пустил кровь и встал в центр круга, потянув за собой Егорку.

- Любопытный выбор, - Межеватый никогда и ничего не говорил прямо, и эта его манера изрядно злила коллег. - Впрочем... если вы полагаете...

- Полагаю.

Выбора у них все одно нет. Сила - это, конечно, хорошо, особенно если совокупная, но вот структурировать ее кто будет? У Егорки хотя бы с одной бомбой вышло, значит, исключительно теоретически он и другие способен обезвредить. Мелькнула мыслишка, что и этот круг мог быть частью чужого плана, но Димитрий перехватил Егоркино запястье и сказал:

- Сперва поклянешься кровью.

Егорка кивнул. И поклялся.

А потом в круг вступил Горовой, замыкая кровью вязь рун, и сила зазвенела. У каждого она была своя. Верховский звучал тонко, зло, надрывно, а тот же Нодриков гудел, что земля, которая вот-вот раскроется трещиной, и тогда мало не покажется.

Вихри. И искры.

Разные стихии, нити неровные, которые приходилось сплести в один толстый канат. И даже сплетенные, они норовили разбежаться, разлететься, растянув и суть Димитрия.

Шалишь.

Ему не впервой было стоять в круге, и потому сознание не уплыло. Напротив, оно, обостренное, позволило заметить и некоторую бледность Аксенова, и закушенную губу Горового. И Егорку, что покраснел от натуги, застывши истуканом.

Создаваемое им заклятье было... необычным?

Пожалуй.

Еще и красивым. Именно в круге Димитрий получал удивительнейшую способность не только слышать, но и видеть магию.

Чудо. Не иначе.

И чудо, что у него, этого мальчишки, хватило сил не сбиться, не сорваться под напором чужой силы, а работать...

Заклятье поднималось.

Сперва куполом.

И под ним стало холодно. До того холодно, что в бороде Аксенова появились сосульки, а дыхание Верховского опадало сонмом снежинок.

Купол ширился. Рос. Поднимался.

Уходил туда, куда вел его Димитрий, ориентируясь по нити кровной связи.

Дальше. И еще.

Скорее, ибо время, отведенное им, уходило, а с ним появлялось неприятное беспокойство, что все-то Димитрий сделал правильно, но... не так.

Венец Мономахов и вправду мало изучен. Кто ж сие позволит? Но силы его хватит защитить высочайшее семейство не только от взрыва... будь в тот роковой час венец на голове его императорского величества, ни у кого и мысли не возникло бы о бунте...

Так зачем бомбы?

И... нить купола со звоном оборвалась, но заклятье не развеялось, как Димитрий опасался, а, достигнув метки, развернулось полной силой.

Люди замерзнут.

Не до смерти, но... ничего, там, наверху, целителей хватает. А стало быть, помогут... и лучше уж легкое обморожение с простудой, чем могила почетная.

Егорка беззвучно рухнул на пол, и Димитрию пришлось сесть рядом, ибо наклониться было выше его сил. Он потрогал шею.

Живой, мелкий засранец... отлично... живой...

- Какой безусловно талантливый молодой человек, - заметил Межеватый, вытирая кровавую юшку. - Полагаю, наше пополнение?

- Откуда взялся? - Верховский протянул Аксенову белоснежный платок с монограммой. И сам приложил к уху, привычно перехватывая темную кровяную змейку на полпути к воротничку.

- Ай, будто вы не знаете, откуда такие вот, с позволения сказать, таланты берутся. Небось в заговор влез... ничего... сами не без греха, - Аксенов платок принял.

Он о заговорах знал многое, самому случалось участие принимать.

- Главное, чтобы одумался человек вовремя. Здесь, как мне кажется, он успел... но, господа, прошу простить меня великодушно, однако возраст сказывается. А потому позволю оставить за собой первую камеру. Я и одеяло туда принес.

- Одеяло? - Верховецкий сменил один платок другим.

- Из верблюжьей шерсти. Весьма рекомендую. А что вы хотите? Заговоры заговорами, а ревматизму все одно, кто там на троне сидит...

- Я в третьей, - сказал Нодриков.

- Тоже с одеялом? - Верховецкий бровку приподнял, выражая удивление.

- Да нет... с коньячком... мне оно получше будет. Если что, то поделиться могу...

- С превеликим удовольствием...

А Дмитрий встал, сперва на четвереньки, потом на ноги. Он бы тоже куда устроился, что с одеялом, что с коньячком, но чутье подсказывало - рано говорить о завершении дела. А стало быть, его место наверху.

- Что с юношей делать? - поинтересовался Аксенов, отвечивая указанному юноше пинка.

- Положите... куда-нибудь. И закройте...

Дмитрий вытер нос.

Крови не было. Хорошо.

Хоть что-то сегодня да хорошо...

- Вы бы, милейший, - Верховецкий соизволил обратить внимание на того, кого явно полагал не достойным ни чинов, ни званий, - себя поберегли...

- Верно, - Нодриков достал из кармана фляжку, хлебнул, плечами повел и протянул Дмитрию. - А то угробитесь вконец, а нам потом к новому начальнику привыкай.

Коньяк был с травами, щедро приправленный силой, он огнем прокатился по телу, снимая и слабость, и немоту. А и хорошо...

- Как-нибудь, - Дмитрий глотнул снова. - Привыкнете.

- И с этим делом аккуратней, - Нодриков мягко отнял флягу. - Семейные рецепты - вещь, безусловно, хорошая, но исключительно для дел малых...

Флягу он передал Аксенову, который не стал чиниться.

- А посему все же постарайтесь поаккуратней там...

Дмитрий постарается.

Вот только до бальной залы дойти не получилось. Бой захлестнул еще на галерее. Ничего. Так даже лучше. На галерее сдерживаться нужды нет, а у него нервы, и вообще... поднакопилось. Гнев на людях срывать нехорошо? Так то смотря на каких.

Только...

Сердцу тревожно было.

Рыжая. Успела ли уйти? Или снова влезла куда... ничего, Стрежницкий присмотрит. Он не дурак,

понимает, за кем смотреть надо...

Огненный вал, рожденный и гневом, и страхом, прокатился по мраморному полу, стирая наемничьи щиты. Кто-то заголосил, а кто-то молча кинул ответку... Бой – это хорошо.

Правильно.

А правильный бой и того лучше.

Лизавета вздрогнула и поежилась.

Похолодало?

Или это ее от нервов знобит? Тетушка, помнится, сказывала, что в годы девические очень нервной была и от малейшего волнения дрожать принималась. А вот Лизавета за собою этакой напасти не замечала. А теперь вот... ощущение неприятнейшее, будто из окна сквозит.

И не из одного.

И поземка расползается по мраморному полу, но, белесую, ее не видать. Белое на белом поди-ка разгляди.

- Как-то здесь... дует? – с удивлением произнесла Ангелина Платоновна, веер складывая, и поежилась. – Ощутимо, я бы сказала. Вам не кажется?

- Не уверена...

Лизавета огляделась.

Общество пребывало... в смятении? Нет, в верноподданическом восторге, само собой, ибо иначе пред высочайшими лицами невозможно, но и в смятении. Вот украдкой подула на бледные ручки бледная же девица в легком, на грани дозволенного, платье.

Вот ее маменька хлопнула себя по плечу.

Кто-то заозирался, верно силясь понять, откуда идет этот самый холод.

- Так должно быть? – Вольтеровский удостоил Лизавету высочайшим вниманием.

- Н-не уверена.

Вряд ли их императорские величества желали заморозить гостей. Может, с охлаждающими заклятьями что-то да приключилось? Ошибка там в расчетах... без заклятий никуда, этакая толпа народу да в помещении, пусть и столь огромном, как парадная зала, все равно задыхаться станет. И техники работали.

Должны были.

Но вот... холодало.

И кажется, стены инеем покрылись, причем отнюдь не призрачным. Вот старушка в старомодном наряде трогает стену пальчиком, а после сует его под нос моложавому господину. И жалуется... определенно жалуется, уж больно выражение лица характерное.

У выходов появляются люди в лакейской форме.

А колонна ошетиливается ледяными иглами. И вот уже с Лизаветиных губ срываются клубы пара.

- Извините. – Она оборачивается на тусклый голос, принадлежащий неяркому господину в темно-синем одеянии. Его костюм столь прост, что кажется едва ли не бедным. – Вы Дарью помните?

- Помню.

У него красивое лицо.

Да, пожалуй, невероятно красивое. На такое можно глядеть, как... на икону?

Лизавета моргнула, избавляясь от наваждения. Вот уж чего за ней и вправду никогда не случилось, так это любования посторонними типами. И лицо... обыкновенное. Черты правильные, пожалуй, но и только.

- Не поможете мне ее найти? - поинтересовался молодой человек и поклонился, представляясь: - Михаил.

- Лизавета.

- Я знаю, - он одарил Лизавету улыбкой, от которой мороз по коже продрал. - Дарья о вас много рассказывала. Но здесь становится неуютно, правда? Так вы мне поможете?

- Простите, но...

Ангелина Платоновна глядела мимо.

И не только она.

- Не всем дана устойчивость от ментального воздействия, - сказал Михаил, помахав ладонью перед застывшим лицом Ангелины Платоновны. - Вернее, если быть справедливым, дана она как раз всем, однако... это похоже на тело. Чем больше тренируешься, тем лучше результат. Вот вы, Лизавета, явно не пренебрегали тренировками, добавим к тому родовые способности... впрочем, боюсь, вам это тоже не поможет. Руку.

И Лизавета подчинилась.

- Куда мы идем? - Нет, она вроде бы могла не идти.

Если сосредоточиться.

Очень-очень сосредоточиться... сильно... так, что просто-напросто ни о чем другом не думать, кроме, пожалуй, вот этого лица.

- Не стоит, дорогая. Я много сильнее вас, а подобное упрямство может дорого обойтись. Я-то своего все одно добьюсь, а вот вы... нехорошо, если станете, к примеру, слабоумной. Князь не одобрит.

И подмигнул.

А у Лизаветы появилось желание укунить этого прелюбезного кавалера.

- Не отрицаете? Чудесно... признаться, он оказался довольно пронырлив, а это заслуживает внимания. И оно будет оказано.

- Куда мы идем? - повторила Лизавета вопрос.

Люди расступались.

И отворачивались. Лица их делались пусты, равнодушны...

- Покушаться на императора.

- Зачем?

- Как зачем? Из мести. Поверьте, дорогая, нет ничего страшнее мести маленького человека... обиженного маленького человека... вы ведь так хотели справедливости. Ах, простите, не заметил, что вы замерзли...

На ледяные плечи упал пиджак.

Тяжелый.

- Спокойнее. Там в кармане бомба. В двух карманах, - уточнил Михаил. - Извините, но... у меня особо выбора нет. Вас знают. Сами виноваты. Если бы вы так не стремились влезть в это дело, мне бы и в голову не пришло вас использовать.

- Меня... не подпустят.

- К самому трону, конечно, нет. Но нам к самому и не нужно. Нам достаточно будет, если вы станете у подножия...

- А вы...

- А я, дорогая моя... - Холодные губы коснулись Лизаветиной щеки. - У меня есть другие дела. Мне выжить надо, чтобы потом появиться и не допустить новой Смуты... полагаю, в подобных обстоятельствах меня примут с превеликим удовольствием.

Лизавета ощутила тычок в спину и сделала шаг.

Потом второй. И...

Она не станет. Она... она развернется и уйдет, пусть с бомбой, которую, как она подозревала, ей не позволят снять, но уйдет... из зала.

Вот только шла она прямо к трону.

Медленно.

И все вокруг тоже стало вдруг медленным. Вот обернулась Одовецкая, о чем-то беседовавшая с молодым человеком крайне болезненной наружности. Вот резко, но все одно медленно, крутанулась Таровицкая, расправляя руки, и бледное сияние охватило пальцы.

А толстячок, стоящий за ее спиной, рот приоткрыл, будто в крике.

Не слушать их.

У нее есть шанс. Всего-то один.

Сопrotивляться она не может? Не так? Не в мире этом? Зато если в другом, который всегда рядом...

Закрывать глаза, иначе у Лизаветы ничего не получится.

Вспомнить, чему Едэйне Заячья Лапа учила.

Бьет бубен.

Дрожит земля. Мир здесь. Мир слышит. Мир боится. Он готов помочь Лизавете, но как? Белая поземка ластится к ногам. Холод? Это хорошо. Надо просто впустить его в себя.

Нет нужды бояться холода.

И Едэйне не только говорила, показывала, ступая по хрусткому насту босиком. Лизавета помнит, как и сама... страх свой первый, недоверие. И хруст. И лед, от которого пальцы, смазанные гусиным жиром, занемели.

И то, как провалилась она в ставший вдруг горячим снег.

Бубен. Путь.

Рисованное кровью солнышко катится по небосводу, тревожа оленью упряжку. И вот уже летят они, несут на рогах мир... и Лизавету тоже.

Здесь все иначе.

Зыбко.

Сюда нет пути обыкновенным людям. Вот они. Остались вовне. Лизавета видит их. И Одовецкую, за чьей спиной, кровью привязанные, души выстроились. Ишь, злые какие, тянут руки, норовят ухватиться если не за плечи, то хотя бы за краешек самый наряду.

Душ много.

И сил у них изрядно. Рано или поздно доберутся, тем паче право имеют на кровную месть. Откуда Лизавете известно? Она видит.

Как видит и кровь под ногами Одовецкой.

И пламя у Таровицкой.

Опасная стихия. Чуть ослабишь пригляд, и полетит, поднимется, сметая все.

Вздых.

Летят олени.

И из-под земли доносится слаженный волчий вой. Надо остановиться. И Лизавета застывает. Как все просто, только... мир крутится-вертится, того и гляди рассыплется на куски. И становится на грань, уже не мир, но огромный бубен в умелых руках. Тонкие пальцы касаются кожи, и сердце стучит-стучит.

Скинуть чужой камзол. Сунуть руку в карман.

Нащупать что-то холодное, подернутое изморозью. Надо же, стеклянный шарик навроде тех, которые делают детишкам на радость. Только внутри не фигурки, но муть темная, переливается тяжело, бултыхается, и чуетя, вырвалась бы она на волю, но сил не хватит.

Лизавета вздохнула.

А дальше что? Куда идти? Или?..

Она, сунув пальцы в рот, свистнула, и снег взметнулся, вылепляя фигуру огромного оленя. Рога его застили небо, спина была широка, что стол, а глаза – черны. И из черноты на Лизавету взирало нечто...

Иное?

Пожалуй.

Стоит олень. Глядит. Усмехается, будто спросить желает, мол, хватит ли у тебя, девица, духу сесть на спину мою? Прокатиться по рисованному небу и, добравшись до края мира, отпустить зло? А после вернуться.

Ты же знаешь, что немногие возвращаются.

И что шаман, ступивший на призрачную дорогу, всегда рискует. Оттого и сидят у тела ученики с ученицами, бьют в бубен, поют песни заунывные, путь душе прокладывая. Оттого и заплетают семь кос, в каждую по ребру белой рыбы пряча. А на губы семь камней кладут, чтобы не пробралась чужая душа, не нырнула в освободившееся тело.

А ты вот так решила. Сама.

И ни крови в тебе нет. Ни силы особой. Дурость одна.

– Прости, – сказала Лизавета оленю, и тот наклонил увенчанную золотой короной голову, будто приглашая Лизавету сесть. – Прости, но выхода другого нет... там бы все умерли, понимаешь? А потом... снова кровь и опять кровь.

Отец говорил, что кровь – не вода, много ее земля не выпьет.

Вот и выходит...

Плохо выходит.

Она забралась на оленью спину, села, ухватилась за жесткий волос, сдавила пятками бока. И только подумалось, что платья жаль. Красивое. А олень с легкостью оттолкнулся и понес Лизавету прочь от мира. Вернет ли обратно?

Как знать.

Нет у нее алых бусин в дар.

И кишок волчьих, из которых можно сплести упряжь. Нет резных колокольчиков из кости индрик-зверя. Нет бубна и даже простеньких медных браслетов.

Но... даже если она не вернется, это будет хорошей платой.

Мир будет жить.

Лизавета же... она попробует.

Глава 30

Стрежницкий моргнул.

Вот была девица – и вот исчезла.

Не бывает такого, а все одно... шла, решительно так, быстро, и люди, которые всегда-то норовили в толпу сбиться, сами расступались, освобождая рыжей путь. А у нее лицо что у куклы.

И Авдотья за револьвером потянулась, только как-то медленно. И сам Стрежницкий вдруг понял, что воздух загустевает и что он в этом воздухе – муха, в медовую лужу угодившая. Вроде и живая пока, но ненадолго. По нервам резануло предчувствие беды, и хотел было закричать, предупреждая разноцветную толпу, которая тоже что-то такое чуяла, а потому беспокоилась, только понял: голос забрали.

И силу.

И... револьвер выпал из Авдотьиной руки, громко ударившись о пол, а кто-то сказал рядом:

– Вот мы и познакомимся... я с детства многое о вас слышал.

У парня были Маренины глаза.

И сам он...

Сперва даже под сердцем кольнуло: неужели?.. Но нет, не было у нее детей. Или были? Как знать, правды-то она, сука этакая, не говорила. Впрочем, что эта правда изменила бы? Вот то-то же. И потому снизошло вдруг спокойствие вместе с пониманием: теперь точно убьют.

Пускай.

– Лично у меня к вам претензий нет, – меж тем сказал молодой человек с весьма знакомыми чертами лица. – Однако тетушку, мне мать заменившую, я уважал безмерно. А еще она в свое время клятву взяла, что я отомщу.

– За Марену?

– Приятно иметь дело с понимающими людьми, – он чуть склонил голову.

– Вы... – Авдотья глядела на револьвер, и пальцы ее подрагивали. – Вы...

– Я, дорогая моя, весьма надеялся, что мой братец исполнит свое предназначение. И тогда все обошлось бы малой кровью. К сожалению, в этаких делах вовсе без крови не получится. Даже если б неизвестная болезнь прибрала бы дорогого дядюшку вместе с семейством, нашлись бы те, кто отказался б признавать мои права. И что тогда? Смута? Война? Нет, война мне не надобна. То ли дело, когда нервный анархист проносит бомбу и взрывает все высочайшее семейство вместе... с некоторыми излишне преданными ему людьми. И уж тут сам возмущенный народ потребует мести...

А с учетом того, что погибнут не только их императорские величества, но и большая часть присутствующих...

Офицеры. Бояре. Промышленники из числа первой сотни.

Страна будет обезглавлена.

Шокирована.

Новый император. Спаситель.

Надежда, что все вернется на круги своя. А если надежду эту поддержат чудом уцелевшие боярские роды, то... у них выйдет.

– Вижу, вы поняли. – Стрежницкий ощутил ледяное прикосновение. – Если бы все пошло как надо, вы бы ничего и не поняли. А так мне придется убивать вас собственноручно... ничего не сделаешь. Клятву крови и я нарушить не могу.

И нож в руке безумного – а в том, что этот мальчишка был безумен, Стрежницкий не сомневался – свидетельствовал, что речь идет не о шутке.

– А будете мешать, – сказал он Авдотье, которая силилась пошевелиться, но, на счастье свое, не могла, – я и вас убью. В этом есть своя романтика, если подумать...

Когда нож взрезал плотную ткань мундира, Стрежницкий лишь поморщился. Смерти он не боялся, но и умирать вот так, из-за чужой дури?

Не дождется.

У него хватило сил сдвинуть крохотную жемчужину в руке, и та треснула, выплеснув белесую волну силы. Отзываясь на сигнал, поднялись щиты, блокируя бальную залу, отрезая ее от внешнего мира.

А там...

Навойский не подведет. Не должен.

И хорошо, что рыжую убивать не пришлось. Не простили бы... Авдотья вот и не простила бы. Ишь, глядит с укоризной, будто бы он виноват, что так глупо получилось. Может, и виноват, только что ж теперь? Главное, чтоб сама выжила.

А она сумеет.

Пружанская ведь. Папенькина дочка.

Аглая Одовецкая полагала себя в целом человеком неплохим.

Нет, она была далека от пагубной мысли о собственной идеальности, зная за собой и грех честолюбия, за который не единожды пеняла ей матушка Серафима, и упрямства, и... и хватало их, грехов великих и малых, но у кого их нет-то?

Однако грехи - это одно, а...

- Дорогая, - бабушка в узком платье вызывающего черного цвета выглядела неприлично молодо. - Мне кажется, тебе пора покинуть это место. - Она всегда, волнуясь, начинала выражаться пространно, будто желая скрыть неприглядную суть за словами.

- Почему? - Аглая давно уж вышла из возраста, когда бабушку слушалась безоговорочно, испытывая перед нею немалый душевный трепет. Теперь вот трепет остался, но и силы появились переступить через него.

- Потому что если что и произойдет, то скоро... а ты последняя из рода и...

Стало холодно. И неудобно.

Захотелось вдруг сесть, сжаться в калачик и замереть, надеясь, что не увидят.

Не услышат. Не найдут.

Тук-тук-тук... кто это? Сердце стучит-стучит, перестукивается. Собственное, Аглаино. Всего-навсего приступ паники. Не первый, но и, как она знает, не последний. Плохо быть целителем, порой знания надежд не оставляют.

И хорошо, ибо их хватает, чтобы с самым первым порывом управиться.

Душно.

И Аглая привычно трогает горло. Когда-то она в панике срывала одежду, забивалась под кровать и там билась, задыхаясь... Когда-то.

Давно.

Все прошло, все ушло... нервы остались. Последние дни были напряженными, и это не могло пройти бесследно, ей ли не знать. А тут еще зал этот парадный, люди, которым всем любопытственно на отшельницу глянуть. Дай им волю, под юбки полезут, выискивая хвост, копыта или еще какое уродство. Ведь если она, Аглая, не уродлива, то зачем было ее от общества прятать?

Мысли эти вызвали злость.

- Дурно? - от бабушки не укрылось, и цепкие пальцы впились в запястье. - Дыши, будь добра, глубоко.

Аглая дышит.

Вдох по счету и выдох тоже. И голова кружится, а где-то там, далеко, мерещится огонь. Нет, это просто... перед глазами плывет.

Обманка. И верить нельзя.

Чему здесь гореть? Стены вот каменные. Аглая их потрогала, убеждаясь, что камень по-прежнему прочен, не спешит плавиться. И пол тоже мраморный. А что сполохи, так освещение... позолота... украшения на дамах и люстры хрустальные. Вот все одно к одному.

Надо лишь со страхом справиться.

И она справится. Справлялась же раньше? Справлялась. Сколько лет... просто очень уж не вовремя.

- Я не уйду, - Аглая удивилась тому, до чего тонко и неприятно звучит собственный ее голос. И повторила уже куда как решительней: - Не уйду. Не сейчас.

- Совсем от рук отбились, - проворчал старший Таровицкий.

Он не был стар, но был болен.

Сердце.

Аглая видела темный камень его, чересчур уж большой даже для немаленького этого человека, рядом с которым сама бабушка гляделась невероятно хрупкою.

- Драть их некому было...

- Некому, - неожиданно согласилась бабушка и, окинув Таровицкого взглядом, вздохнула: - Опять целителя прогнал?

Таровицкий лишь руками развел, то ли признавая вину, то ли совсем даже наоборот.

- А ты, детонька, и вправду иди... и ее вот прихвати, - голос его гудящий прорывался сквозь сполохи, которых становилось все больше. Того и гляди подберутся, окружают Аглаю, и бежать вновь будет некуда. - Целителям тут не место. Чуется, целители позже нужны будут.

- К-кому?

- Кто ж его знает, - Таровицкий был неуместно благостен. - Кому повезет...

- Дурень!

- Сама такая.

Никто и никогда не смел разговаривать с бабушкой в подобном тоне. И вспыхнул румянец на бледных щеках, а в глазах появилось что-то этакое, заставившее Аглаю улыбнуться.

Когда улыбаешься, оно легче.

- Поздно, - Таровицкая встала подле деда. И больше не казалась она хрупкою красавицей, напротив, Аглая сполна ощутила мощь, что скрывалась в этом теле. - Контур замкнулся... и боюсь, нас просто не выпустят.

- От же ж...

- Ты, деда, пригляди...

Огонь жил в ней.

Он плясал. Он играл.

Он казался ручным, как тот, который некогда обитал в камине. И матушка, бывало, садилась близко-близко, так, что белое длинное платье ее подрагивало от жара. А угольки, выскочивши за каминную решетку, подбирались к самым ногам.

- ...Дорогая, этак еще обожжешься, - в голосе отца звучит неодобрение, но матушка привычно отмахивается. Она протягивает к огню руки, и кожа становится красной, полупрозрачной.

Это красиво. Горячо только.

И Аглая хочет как матушка, но боится. Она однажды схватилась за каминную решетку и обожглась. Рука потом долго болела.

Почему ту рану просто не заростили?

Чтобы запомнила?

Голова болит. И в зале холодно. До того холодно, что зуб на зуб не попадает. А еще воздух сухо потрескивает.

Плохо. Страшно. Страх вновь затапливает сознание.

Прятаться.

Огонь был. Жил. Шел. Он растекался по стенам, вгрызаясь в шелковые матушкины обои. Он играл с отцовскими записями, трогать которые Аглае было строго-настрога запрещено. Он поднимал листы и кружил, кружил, пока те не превращались в пепел.

А пепел падал на бледное лицо отца.

И еще в ту темную лужу, которая растекалась под его телом. Там, где ковер, лужа была меньше, а вот по паркету она совсем уж расползлась, добравшись даже до секретера.

Память?

Аглае говорили, что когда-нибудь воспоминания вернутся. И было дело, она ждала. Она пыталась. Она перепробовала не одно зелье, открыла не одну книгу, силясь ускорить это возвращение. А после отчаялась.

И успокоилась.

Сама себя убедила, что ничего-то в детской той памяти нет.

– Аглая... – бабушкин голос доносится сквозь шепот пламени. – Ее надо посадить куда-нибудь... это шок...

Подхватывают на руки.

Тогда тоже. Было страшно-страшно... и мама кричала на отца. Ее голос разбудил, хотя в последние ночи Аглая и без того спала на редкость тревожно. Нянюшка исчезла. Сперва, конечно, исчезли другие. Аглая слышала. Та, прошлая, маленькая, мало что понимала, а вот нынешняя холодно отметила.

Помощница кухарки. Невзрачная некрасивая женщина с пегими волосами. Она была глуповата, но добра. И когда Аглае случалось сбегать на кухню, угощала сладкой булкой.

Конюх.

Его она помнила слабо, разве что запах особый, хлеба и лошадей.

Старуха-ключница, склочная, сварливая, помнящая еще прежних хозяев.

Кто-то шепчется, что пропали дети.

Трое братьев, что забирались в сад и рвали яблоки. Аглае случалось играть с ними, и они ее не боялись, только обзывали барчучкой. И девчонка, дочь прачки, нагулянная невесть от кого.

Лица. Много лиц.

Люди.

Выходят. Проходят. Глядят на Аглаю с немym упреком, будто она в чем виновата. В чем? Она запуталась. А огонь все ближе и ближе, от его жара Аглае дурно.

И страшно.

Она готова вцепиться в человека, который склонился над нею.

– Вот ты где... не надо, я тебя не обижу.

От этого человека тоже пахнет огнем и дымом, но этот запах не пугает. Напротив, Аглая прижимается, прячет лицо в складках одежды. А человек несет ее, и огонь, такой уже злой, ничуть не похожий на тот, игривый, живший в камине, расступается.

– Ничего... мы тебе построим новый дом... красивый... такой, чтоб и следа не осталось... это важно, чтобы не осталось и следа...

Он говорит, а огонь за спиной разгорается, и когда Аглая находит в себе силы оторваться от человека, заглянуть за его плечо, она видит лишь сплошную темную стену огня. Она слышит рев его и хруст дерева. И...

- Мама...

- Нет больше мамы, лисичка, - тяжелая ладонь ложится на голову. - Так уж получилось, что я опоздал... ты ведь все видела, верно?

Видела.

Только... что?

Память играет. Память не вернется сразу. Может... может, оно и к лучшему? Ей говорили, что, вероятно, она сама не желает вспоминать. Тогда Аглае это казалось глупостью, теперь же...

Вдох. И выдох.

И отрешиться от вереницы лиц, многие из которых ей незнакомы. Стало быть, дело не только в памяти. Где она?

Во дворце.

Сидит.

Прижалась спиной к ледяной стене. Этак и почки застудить недолго, впрочем, Аглая подозревала, что почки - наименьшая из ее проблем. Она стиснула кулаки и заставила себя проморгаться. Призраки... кружились, что воронье. Полупрозрачные, легкие, они то становились плотнее, будто обретали силу, то вновь отступали, почти исчезая.

Призраки кривили рты.

И кажется, что-то хотели сказать. Важное. Но дело не в этом... откуда взялись? Или, вспоминая свягу, они всегда были рядом? И не они ли виноваты в приступах того, всепоглощающего страха?

Пусть так.

Аглая заставила себя смотреть.

Паренек, чье лицо покрыто черными рывинами язв.

И девушка с длинными русыми волосами, которые облезли с одной стороны. У нее язвы красноватые, отечные, совсем иного типа. А вот у этого мальчишки годов пяти с виду язв нет, но есть синюшные пятна, проступившие на коже. Гематомы?

Женщина, которую выворачивает желчью.

Мужчина с кровавой рвотой... разные симптомы, но должен быть в них смысл. Должен.

- Я не понимаю, - голос сиплый, и Аглая пытается встать. Ей помогают. И вместе с тем приходит ощущение тепла, спокойствия.

- Это бред...

Бабушка.

Она не видит? Если бы видела, она бы помогла... у нее опыт... а Аглая... она слишком молода, чтобы считать себя по-настоящему хорошим целителем.

- Нет... - ей тяжело говорить, действительность будто расслаивается.

Эффект Кричевского.

В поле с высоким коэффициентом напряженности... что-то там с материализацией... декомпенсация... так... сосредоточиться.

Думать.

Это не память, это действительно призраки, которые привязались к Аглае. Почему? Когда? Хотя...

Снова язвы. Крупные гнойники, которые прямо на глазах лопаются, выплескивая желто-зеленое содержимое. И человек кричит, от крика его у Аглаи перехватывает дыхание.

Спокойно.

Даже материализовавшись, призраки не способны причинить вред, если только...

Наследие...

Кровь.

- Бабушка, - у нее получается говорить, особенно если вцепиться в эту вот руку, от которой знакомо пахнет гарью. И сила такая... родная почти. - Чем они занимались?

Закрывать глаза, отрешаясь от вереницы лиц.

Заставить себя не думать о тех людях, которые умерли... когда-то давно умерли, когда Аглая была еще слишком мала, чтобы...

- Кто, дорогая?

Если стоять с закрытыми глазами, то призраки отступят. Недалеко. Они впервые за долгое время получили шанс достучаться.

Потребовать ответа.

И они в своем праве.

- Мои родители. Чем они занимались?

- Жили...

Не знает, иначе не было бы такого удивления.

- А еще... они... что-то исследовали.

Комната.

Подвалы, куда Аглае путь заказан, а ей интересно, хотя нянюшка и ругается, потому что девицы не должны заниматься богопротивными делами. В доме всякое говорят, но Аглая не верит. В подвалы папенька ходит, и маменька тоже, и тогда их невозможно беспокоить, потому что они работают.

Предупреждение.

Духи здесь.

И вьются, и пьют жизненные силы. Пусть у целителей их больше, чем у обычных людей, но и они небесконечны.

- Что-то очень важное... я не помню... не знаю...

Аглая сама уже руку держит, тянет силы, пропахшие дымом. Как тогда, когда...

- Она же еще ребенок! - мамин голос прорывается сквозь сон. - Что ты творишь?!

- Успокойся, - это отец.

От него нехорошо пахнет. А еще он злится. Отец часто злится, и тогда Аглае не стоит его отвлекать. Взрослые, они такие, постоянно заняты. Ей же скучно, особенно после того, как нянюшка уехала.

Куда?

И почему Аглае ничего не сказала?

- Я спокойна, - мамин голос рядом. И сама она тоже рядом. Если Аглая проснется, то увидит ее подле кровати. Как вчера.

Или лучше.

Мама вчера сидела, смотрела на Аглаю и плакала. Почему? Аглая себя хорошо вела и даже не потеряла ни одного банта с платья.

- Тогда ты должна понимать, что это вполне закономерный шаг.

- Это не шаг, это наша дочь!

- Именно. У нее отличные показатели. Потенциал...

- Как и у тебя.

- Если ты намекаешь, что я собираюсь использовать нашу дочь там, где мог бы взять собственный

материал...

Неприятно.

И лежать неудобно.

- Я проводил предварительные испытания, - голос отца становится мягче. - Ты же знаешь... мы же вместе...

Память.

И снова лица.

Дышать становится сложнее, это потому, что дым проникает внутрь. Правильно. Многие, погибшие на пожарах, умерли вовсе не от огня. Отравление дымом. Иногда оно наступает далеко не сразу... Та женщина из Вирятишек, которая приехала в монастырский госпиталь вместе с обгоревшим братом. Тот поправился, а она взяла и умерла.

Тихо. В уголочке.

Аглая не хочет умирать. Она уже почти поняла. Почти догадалась.

- И я безумно рад, что ты в отличие от многих понимаешь, насколько важна моя работа...

- Понимаю, - в мамином голосе чудится что-то такое. Неправильное.

- Я возьму лишь немного крови... мне надо проверить одну теорию. И если я прав... если мы правы, мы совершим невозможное! - отец горячится. - Представь себе мир, где искоренены болезни, все, кроме разве что простуд... а серьезные... чума и холера, красная сыпь. Кровяные лихорадки или даже шаврево безумие. Представь себе многих детей, которые не погибли лишь потому, что у родителей их нет денег заплатить целителю. А целители как таковые станут не то чтобы не нужны вовсе, но смогут сосредоточиться на делах иных. Мы близки к прорыву. Мы...

Кровь он взял.

А потом взял снова. И потом еще... он уже приходил один, без мамы. И однажды даже забрал Аглаю в свой подвал. Показал ей белых мышек и еще смешных поросят, которых разрешил покормить. А взамен всего-то и нужно было, что посидеть на большом стуле и дать уколочку ручку.

Аглая большая. Она не боится уколов.

Вот только мама рассердилась. Не в тот раз, в другой, когда пришла... нет, Аглая не рассказывала ей. Она просто сидела и думала про поросят, что даст им яблоки и, пока они есть будут, почешет спинку. Поросята очень любят, когда им чешут спинку.

А потом пришла мама. И стала кричать на отца...

Огонь. И дым.

Бумаги, которые летают, летают, превращаясь в пепел. Отец, уставившийся в потолок. Его ноги вытянулись непреодолимою преградой. И у Аглаи кружится голова. А еще у нее совсем нет сил. Она сидит тихо-тихо, хотя знает, что так нельзя.

Что надо выбираться во двор. Звать на помощь.

Или вылезать в окно... ей нянюшка говорила, что дети, которые при пожарах прячутся, сгорают. Разве она хочет сгореть? Но сил совсем нет. И еще очень страшно. Поэтому Аглая просто плачет и дергает маму за руку. Но та лежит. И тоже смотрит в потолок. Но под ней крови нет.

Это потому, что целители умеют убивать бескровно.

Что ж, теперь она знает, что случилось.

Почти все.

И, взглянув очередному призраку в глаза, Аглая сказала:

- Простите меня... пожалуйста.

Стало холодно.

А потом огонь вспыхнул вдруг ярко-ярко, жарко-жарко. И раздраженный женский голос произнес:

- И куда это ты сбежать вздумала? У нас тут, между прочим, конкурс... идет. И переворот тоже. Государственный.

Пламя было ласковым. Всеобъемлющим.

И совершенно не страшным. Его хватит, чтобы напоить голодные души, а еще выслушать каждую. Забрать их боль. Кто сказал, что душам не нужно исцеление? А там... лица коснулось что-то мягкое, пуховое, и свяга сказала:

- Дальше я. Теперь они уйдут... почти все.

- А те, кто не захочет?

- На них моих сил хватит, - она вновь была нечеловеком, пожалуй, более нечеловеком, чем когда бы то ни было. - На этих... другим... он сам заплатит цену.

И тут дворец содрогнулся. Аглая же подумала, что, верно, многое пропустила, но... в конце концов, она и вправду бесполезна в бою. А уж после... поможет.

Кому-нибудь всенепременно поможет.

- Знаешь, - произнесла Таровицкая, разжимая кольцо рук, - я всегда знала, что целители слегка безумны, а теперь окончательно в этом убедилась.

- Спасибо.

Что еще было сказать?

Глава 31

Лешек знал, что просто не будет.

И когда откуда-то из-под земли поднялся купол заклятья, какого-то на редкость пакостного, сдирающего кожу, он закрыл глаза.

Начинается.

Лешек чувствовал холод.

И тот был неприятен змеиной сути его. А вот и дрогнули незримые врата, что разделяют миры, и сила, такая знакомая горячая сила оказалась заперта.

Вздыхнула тихонько Анна Павловна, лица касаясь.

А человек, согнувшийся в поклоне, говоривший что-то совершенно неважное, но выпретенное, вдруг разогнулся, кидая в лицо ей горсть колючих снежинок.

- Умри, нелюдь! - завизжал он, перекрывая настороженный гул толпы.

Вспыхнула у дверей завеса ледяного пламени, а человек, вытащивши из рукава склянку, кинул ее на пол и замер, зажмурившись, ожидая чего-то эдакого, но...

Склянка раскололась, и содержимое ее - густое, что переваренное варенье, - растеклось по алой ковровой дорожке. Красное на красном плохо видать.

- Простите, - Анна Павловна смахнула снежинку, для человека безвредную, а вот будь на месте ее маменька... стало быть, не прослышали. - Что вы сказали?

Она поднялась, и горностаевая мантия потекла, повинувшись движению той, кого полагали императрицей.

- Мне почудилось, дорогой, - голос ее звучал невозмутимо, - или меня собирались убить?

- Полагаю, что не почудилось...

Человек, явно ожидавший иного, лишь рот раскрывал. Савойский, стало быть, из мелких поместных, приближенных ко двору за особые заслуги. Причем Лешек сколько ни силился, не мог припомнить, что это за заслуги такие.

Стало быть, пустое.

- По-моему, это возмутительно, - Анна Павловна раздавила последнюю снежинку. - И ковер испортил... между прочим, казенный...

- Ты... ты... - Савойский сунул руку за пояс, выхватывая махонький револьверчик. - Сдохни!

Выстрелить он выстрелил, а Лешек оглянулся на охрану, которая стояла, будто бы ничего такого эдакого и не случилось.

Полыхнуло пламя.

И Савойский упал, покатился, схватившись за обгоревшую руку. Впрочем, Лешек подозревал, что досталось не только ей.

- Благодарю, - сказала Анна Павловна Дубыне Таровицкому.

А вот охрана...

Лешек подошел, помахал перед глазами казаков. Ничего... и глаза эти что стеклянные, и разума в них ни капли. Да и сами люди будто истуканы.

Жизни и той не чуется.

Как же получилось... или... девиц в коридор Лешек не просто так подкидывали, но проверяли, сработает ли наговор, сумеют ли обнаружить эдакий вот поводок скрытый.

Не сумели.

И пусть тех казаков от дела отстранили, но нынешние ничем-то не лучше...

- Правильно мыслишь, братец, - сказали Лешеку. И голос этот доносился будто издали, хотя Лешек не мог отделаться от ощущения, что человек говоривший за спиной стоит. - Знаешь, родовая магия, она на многое способна. К примеру, казаки вот клятву давали служить императору и семье его. Клятву на крови, между прочим... а где одна кровь, там и другая. И слово было дано, а стало быть, при умении и взять его несложно. У меня вот умение имелось. Батюшка-то твой где?

- Здесь.

Мир расслаивался.

Вот один, где схлестнулись маги с магами. И он, укрытый двумя куполами - внешним блокирующим и внутренним ледяным, гудит от натуги. Поднимаются по обшарпаным стенам огненные лозы, пышут искрой, силясь удержать периметр. И Таровицкие хороши, теперь-то ясно, отчего на землях их Смута не задержалась.

Задержишься тут...

Вот осыпается пеплом Боровецкий-старший, а следом и пара его провожатых, тоже магов не последней силы. Но огонь встречается с водой и шипит, сердится, рождая пар.

Пар заполняет купол, и дышать становится тяжело.

Таровицкая вскидывает руки, пуская огненную стену на боевую пятерку, с которой сползают личины приглашенных. И кто-то верещит, катится, а кто-то молча оседает грудой костей.

Гудит стена, не выдерживая удара. Сыплется мрамор.

Визжат девушки.

И хмурый, недовольного вида мужчина отталкивает от себя пухлую женщину в кружевах. Он ставит руки на эту стену, будто пытается удержать ее, и трещина замедляет бег. А наверху, на балконах, скачут сполохи ударов.

Пахнет кровью. И болью.

Анна Павловна, коснувшись перстечка, берет за руки супруга, и вот уже вдвоем вплетают собственную силу в нити ледяного купола, а заодно уж тянут и водную силу из мятежника.

Его Лешек разглядеть не успевает.

Человек вдруг падает, давится криком, превращаясь на глазах в иссохшее чудовище.

- Страшно, да, - соглашается тот, другой, который идет по полу, а чудится, что по костям. - Смута всегда страшно... и кто бы из нас ни победил, ему придется устраивать похороны.

- Чего тебе надобно?

- Шапку отдай, - попросил самозванец, руку протянувши, с клинком черным, от которого нить тянулась. - Вам она все одно без надобности.

- А тебе, стало быть, нужна?

Тот кивнул и руку не убрал.

Рушится декоративный балкончик, и кто-то, на нем задержавшийся, падает. И видно, как оседает на пол, молча, медленно, все еще упрямо хватаясь за жизнь, тот мужчина в грязном уже мундире.

- Зачем? Что в ней такого?..

- Тебе ли, силу родовую оседлавши, спрашивать? - он был похож на Лешека, правда, пожалуй, потоньше, поизящней. И черты лица знакомые. Не как в зеркало глядишься, отнюдь, скорее как семейный альбом смотришь. - Знаешь, что смешно? Они все здесь полагают, что мне корона нужна. Они меня растили с мыслью, будто бы престол - это верх мечтаний. И было время, когда я думал именно так, когда исходил от ненависти, понимая, чего лишен. Точнее, не понимая.

Светлые глаза. Правильные черты лица.

И тени людей, сквозь которые проходит маг императорской силы, запретного знания. Здесь, в мире ином, почти ничего не меняется, разве что люди видятся яснее. Вот и он, темный в сути своей, виден. А еще нити, которые протянулись от него во все стороны, привязывая душу ко дворцу.

Сам неужто не чувствует? Не замечает?

- Пожалуй, лет до десяти я был счастлив, - он остановился шагах в трех, заслоняя собой кипевший бой. И лишь эхо силы долетало до Лешека, но и по нему можно было увидеть многое.

Престарелая матрона выплетает щит, пытаясь укрыть за ним дебютанток.

Чей-то предсмертный вздох, только чей? Наши, чужие... люди, которым вновь было мало, стало быть отец допустил ошибку.

И не одну.

Лешеку на них учиться надобно, чтобы не позволить...

- Пока думал, что такой же, как все... мои братья... сестрица... ты ее знаешь. Правда, хороша? Особенно если змеев камень на шею повесить. И главное, что никто, ни один менталист не почувствует дурного. Это ж просто камушек, обыкновенный, силы в нем ни капли, а уж что силы разными бывают...

Кривая усмешка.

- Чего тебе надобно? - Лешеку хватает умения отрешиться.

Заставить себя не слышать.

Крики... кто-то молит о помощи, а кто-то - о пощаде. Кто-то ругается зло, а кто-то с молчаливым остервенением выплескивает силу, понимая, что не стоит ждать милости, что жертвы давно уже определены. И вот обрываются нити жизни некоторых, кого успела коснуться милость императрицы... Что ж поделаешь, магия усиливает действие многих ядов.

Жаль, что не всех.

Суда не будет. Слишком уж много оказалось тех, кто готов был рискнуть. И над этим тоже придется подумать.

- Чего надобно? Сложный вопрос. Сперва я хотел власти. Я думал, что взойду на трон, положу на голову растреклятую шапку и буду править. Всенепременно мудро. Никто не идет к трону с мыслью, что станет бездарным правителем.

В этом есть свой смысл.

Только еще чья-то жизнь обрывается, и это не добавляет Лешеку спокойствия. Правда, отец в городе, с войсками. Мать...

- Знаешь, мне повезло, что я менталист, хороший менталист, с высоким уровнем эмпатии. Ты не поверишь, какое количество менталистов напрочь эмпатии лишены. А это как... не знаю, глухому быть при орлином зрении. Вроде бы и хорошо, а толку мало. Мне говорили, нашептывали то одно, то другое, то третье. Много ли мальчишке надобно, чтобы в избранность свою уверовал? Чтобы смотрел на прочих как на игрушки... Они отчасти игрушки и есть. Взять мою сестренку. Мучилась-мучилась, а все равно терпела. Жалела меня, разнесчастного. Вот скажи, это нормально?

- Не знаю.

Войска давно уже вошли в Арсинор, подавляя и те вялые очаги мятежа, которые еще остались. Однако войска не способны уберечь от слухов.

А слухи, что император погиб, будут.

Дальше... смута, страх людской, и вот уже сама армия готова склонить голову перед самозванцем. Лешек не знал, чей это план, однако согласился, что тот хорош на диво.

- И я не знаю. Наверное, если бы не она, если бы не такие, как она, я бы стал тем, кем меня хотели видеть. Я попал в университет, всецело уверенный, что стою выше прочих.

- Звать-то тебя как?

- Мишкой... а ты Лешек... все так называют. Кстати, под дурачка у тебя получалось играть так себе, если б не шептуны твоего Митеньки, многие раскусили бы. А так, когда самому умному человеку постоянно приговаривают, что цесаревич дурковат, поверить немудрено.

- Актер из меня никакой.

- Верю... так о чем мы? О них вот? - он взмахнул рукой, и купол задрожал. - Знаешь, у меня хватит сил смести его и поднять мертвых. И еще на многое хватит сил, только не на то, чтобы ее вернуть.

Ветрицкий, сука этакая, он ко мне частенько наведывался, проверял, как я учебу постигаю, да и прочих... Студенты – братия ненадежная, в головах ветер, а где ветер, там и семена бури посеять легко. Он и старался, сеял. Рассчитывал, что при моей особе станет советником. Хватило ума в правители не лезть, правда, с каждым разом он все больше край терял. Знаешь, как бывает, то тут оговорка, то там... он как раз эмпатии лишен был. А я вот... чувствовал себя рядом с ним неправильно. Не всемогущим правителем Арсинора, но мальчишкой глупым, которому надо говорить определенные вещи, убеждать, удерживать. Ненавижу уроды... если бы он только меня...

Мишка мотнул головой и пот вытер.

– Тяжелое это дело... я влюбился. Представляешь? Думал, меня это минет... и влюбился... вляпался с... я не хотел признавать, что влюблен. Нет, решил, будто меня очаровали, приворожили... такое случается ведь и с лучшими. Она... она была на редкость неподходящей особой. Водница, но сил в ней была капля. Сама из купечества... представляешь? Ни манер, ни понимания, как себя в обществе вести. И родители не сказать чтобы состоятельные. Какие-то там лавки у них были, но где лавки, а где корона Арсинора...

Да уж, лавки с короной сочетаются плохо.

– Я долго боролся с собой. Я... я ее затравил, думал, выживу из университета и тогда-то вздохну вольно. Только ж она гордая, да... не выжилась, а... главное, в какой-то момент я понял, что если ее не станет, то и меня не будет. Знаешь же про эту нашу черту, верно? Если вляпался, то уж до конца жизни. Твой отец вон не побоялся с нелюдьми связаться, готов был и корону, и страну послать куда подальше. Всерьез подумывал, чтобы тоже отречься. И отрекся бы. Мы... сильны, но и уязвимы. Я тогда этого не то чтобы не знал. Не понимал. Меня сводили с правильными девушками, а я в купчиху влюбился... да... неудачно получилось.

– Что произошло?

– Моя собственная дурость произошла, – Мишка дернул плечом и поморщился. – А еще Ветрицкий с его советами. Будто он не знал, чем оно... мол, подчини себе, получишь, что хотел, а дальше... какая разница, что с ней будет дальше? И я ведь поверил, что это все-таки не любовь. Страсть. Бывает. Это вот... знаешь, что случается с менталистами, одержимость... которая опасна, если не дать возможность реализоваться. Думаю, он и на меня воздействовал. Кем я был тогда? Самоуверенным мальчишкой, полагающим, что он сильнее остальных. Только сила – это ведь еще не все. Ты вот способен дворец в камне утопить, а как остановить нынешнюю грызню, понятия не имеешь.

Лешек склонил голову.

Способен или нет... он не пробовал, право слово. А вот что касается грызни, то бой затихал. И кто бы ни одержал победу, отец...

– Потом спасибо мне скажете, – Мишка крутанул кинжал на пальце. – Когда еще выпадет подобный случай убрать всех, кто мешает. Но ты не стой, веди, что ли... мне и вправду нужна эта шапка.

Лешек повернулся спиной.

Нужна?

Что ж, путь к той сокровищнице несложен, и братец пройдет, если кровь позволит. А она позволит, она многое ему уже позволила.

– Я не буду врать, что долго сопротивлялся Ветрицкому. Напротив, в какой-то момент я вдруг решил, что другого способа просто-напросто не существует. Что я должен подмять под себя ее разум, а уже тогда мы будем жить долго и счастливо. Я на троне, а она где-нибудь, где не станет мозолить глаза людям. Женюсь я, само собой, на женщине куда как более подходящей по статусу... хотя о женитьбе я тогда еще как-то не думал.

Вниз.

Туда, где звенят силой каменные жилы. И та, родовая сила, она тоже рядом, только руку протяни. Но в одном братец злосчастный прав: одной силы мало.

– Как оно получилось... да дерьмово получилось, честно. Сперва я пытался воздействовать опосредованно, исподволь. Усилить симпатию и вообще, но у нее амулет был. Да и сама она, говоря по правде, пусть и не сильна, но весьма изобретательна. Сумела красивые щиты выстроить. Женщине приходится... защищать себя. У меня ничего не получалось. Это злило. И ее насмешливости тоже. И Ветрицкий стал появляться чаще. Он выслушивал меня. Успокаивал. Но на деле после наших бесед я часто впадал в ярость и... творил глупости, еще больше ее отталкивая. Знаешь, я теперь понимаю, что был по-настоящему мерзок.

И еще ниже.

По рунам, вплавленным в камень. Они оживают под ногами и засыпают, убедившись, что люди, потревожившие покой их, имеют на то право.

Крови. Рода.

- А у нее появился ухажер. Чужак. Я... я дурень, мне бы подумать, что я никогда-то прежде его не видел, что в университете чужим взяться просто неоткуда, что... Я взбесился. Я потребовал у нее отправить этого хлыща прочь. Она, само собой, отказалась. Я... я признался, что люблю ее. Сказал, что готов измениться. Она же ответила, что этакая любовь хуже ненависти. И что люди... они меняются, конечно, но не так... и если бы она знала про любовь мою, то сразу бы уехала. Вот как... И я испугался. Понял, что вот-вот потеряю ее, насовсем потеряю. Не понимаешь? Еще пока не понимаешь... этот страх... он мешает думать. И я ее подмял. Я... лишил ее воли. Заставил уйти из университета, хотя знал, что она хочет доучиться. Но зачем ей? У нее был теперь я. И только я.

Еще ниже.

И камень теряет жизнь. Здесь когда-то вычищали место, аккуратно, бережно даже, избавляя от малейшей капли магии. И ступать за черту этого круга неприятно.

Будто шкуру сдирают.

- Я... был счастлив, - Мишка запинается, впрочем, ему хватает силы признать свою слабость. - Сперва. Ненадолго. Я возвращался домой. И на меня смотрели с любовью. Моего слова ждали. Любого. Что бы ни сказал, это принималось с восторгом. Моя просьба, любая... я мог отправить ее гулять по улицам нагишом. И она пошла бы. Без сомнений. Без раздумий. С восторгом даже, ведь меня это порадует. Понимаешь?

Лешек склонил голову.

А вот и кровь.

Она здесь подолгу не уходит, стоит на камне лужицами, не засыхает, не меняется... напоминает, что и Лешек давно уж не свят.

- Я... мне будто подделку всучили. Сахарный такой крендель, только из гнилой муки. И ласки... какие у нас были ночи, пока я не понял, что... лучше уж с поганой девкой, чем с нею... с такою. Я долго маялся, а потом снял воздействие, насколько это было возможно. Я надеялся, что сумею объяснить. Я ведь... я хорошо с ней обращался. Не бил. Не унижал. Я дом купил ей красивый. Платьев и...

- И волю отнял.

Мишка упрямо тряхнул головой, а потом вцепился в седые пряди.

- Она... она выслушала. Как есть выслушала. И клятву приняла, что я больше никогда... ни словом, ни делом... никогда не причиню ей вреда. Не обижу. Не позволю обидеть. Я готов был сочетаться с нею браком по нашему родовому обряду, мне плевать было, что скажет Ветрицкий. Да и на всех остальных. Кажется, именно тогда я стал думать, что престол мне не слишком и нужен.

- Она... - Лешек остановился перед дверью, лишенной засовов.

- Она ничего не ответила. Попросила оставить ее, дать время подумать. И я оставил. Я ж не знал, что она решится на... такое...

Дверь отворилась беззвучно.

Пахнуло в лицо гнилью, и вонь эта заставила Лешека поморщиться. А вот спутник его запаха будто бы и не заметил.

- Я почувствовал неладное, но... не успел. Почти успел. Человеку не так просто себя убить, и... я не позволил. Я позвал целителей. Лучших целителей, которых только можно было купить. Я... я готов был жизнь отдать, лишь бы она жила. А Ветрицкий обозвал меня идиотом, который сам не знает, чего ему надо, покорности или вот этого вот... по-его выходило, что все-то у нас было преотлично. С-скотина...

В хранилище по-прежнему спокойно.

И вспыхивает свет.

Он тусклый, неровный, беспокойный даже. Оживают сокрытые сокровища, они сонны, беспокойны,

и сила, в них укрытая, далека от светлой. Впрочем, свет и тьма давно уже сроднились здесь, внизу.

- Целителям удалось залечить ее раны, но удержать душу, заставить вернуться в тело... Она теперь кукла, понимаешь? В ее глазах пустота. И я устал ее видеть. Мне... мне было сказано, что я сам виноват, что если бы действовал аккуратней или хотя бы был последователен в своих желаниях. Что ее надо убрать и найти другую. Только тогда-то я понял, что другой не будет. И я убил этого придурка. Потом. После. Сначала вытянул у него все, что Ветрицкий знал. А знал он, поверь, многое.

Шапка Мономаха с виду была именно шапкой.

Некогда роскошною, подбитой собольим мехом.

Ткань укрывали золотые пластины с чеканным узором. И вроде буквы знакомые, но начинаешь глядеть, и плывут, мешаются, не позволяют прочесть, что же там такого написано. Верно, нечто донельзя важное. Батюшка Лешеку сказывал, что человек, который сумеет прочесть зачарованную фразу, обретет силу небывалую.

На кой ляд она нужна только?

Вон Лешеку хватает и той, которую он оседлать сумел.

- Древние роды... гордые роды... давным-давно они пришли на эту землю из страны, которой не стало. И принесли с собою свет силы, покоривший дикие народы. Они дали им многое, взамен ставши владыками новой страны, - Мишка отстранил Лешека и сам подошел к шапке. - И самые сильные из них провозгласили себя стоящими выше прочих, а прочие смирились, ибо не было среди них никого, кто мог бы бросить вызов и остаться в живых. А может, дело в том, что земель хватило всем. И рабов, которые сами не знали, что они рабы, но глядели на хозяев с восторгом, как на богов... Ты знал?

- Легенды...

- Может, и так... Возьмешь ее?

Это уже не вопрос, а просьба, и Лешек протягивает руки к венцу, который лежал в сокровищнице не одну сотню лет. Он смахивает незримую пыль с меха, трогает ледяное золото. И вспыхивают камень.

Два сапфира. Два рубина. Алмаз, ограненный кругом, потому похожий на обыкновенную стекляшку. Разве что сила, заключенная в этом шаре, величиною с детский кулак, пугает.

- Они жили. Строили свою страну... страны... кто-то остался, кто-то ушел. Кто-то утратил знания, а кто-то сумел приумножить... полагаю, твои родичи сумели предвидеть многое. Они взяли союзников послабее, с помощью их одолевши сильных. А после окончательно подмяли слабых под себя. Это место ведь непростое, ты чувствуешь?

- Так же, как и ты. - Шапка тяжела. Нет, весу собственно в ней немного, но силы она пьет изрядно и потому ощущение, будто держит Лешек в руках целую золотую жилу.

- Верно... они не просто принесли жертвы, но... особые... те, в ком текла та же древняя кровь, что и в твоих предках.

- Как и ты?

- Как и я... Люди поразительно мало внимания уделяют собственному прошлому.

- Значит, Кульжицкая была нужна...

- Сила была нужна, - Мишка сунул руку в карман и вытащил синий камень, а рядом на ладонь лег и красный. - Твой хромоногий пес знает ничтожно мало. Мне не нужна была вся душа, мне хватило лишь той малости, в которой жила любовь. Примеришь?

- Воздержусь.

Отец надевал шапку на коронацию, ибо того требовал обычай. Он ничего не сказал. Даже матушке не сказал, хотя она обмолвилась, что ему сделалось дурно, что после коронации он слег на сутки, и этого хватило, чтобы создать другую шапку.

Разве так сложно повторить ее?

Пара собольих шкурок. Золото. Камень.

И встроенные ментальные усилители, которые создают то ощущение оглушающей мощи, что влияет на людей. Военная разработка, да... закрытая, полузабытая, но вот же, пригодившаяся. Оно, конечно, кому случалось примерить истинную шапку, тот с поддельною ее не спутает.

Но кому?

- Правильно... она ничего не берет даром. К сожалению, даже Ветрицкий о ней мало знал, а твой Бужев и подавно. Младший сын, которого и не учили-то толком, да... упущение. Знаешь, я как представлю, сколько всего утеряно из-за глупого этого обычая передавать знания лишь наследнику. А с другой стороны, может, оно и к лучшему?

Он протянул руку, коснувшись меха.

- Та вторая девушка...

- И она тоже... правда, в ней кровь совсем ослабла, но мне ведь много не надо. И другие... их оказалось несложно найти. Ты вот, к примеру, знаешь, что многие здесь служат поколениями? Да, Смута проредила, но после люди вернулись, а заодно вернули своих детей. И не все эти дети были только их. Понимаешь? Времена прежде были вольные, вот и... хорошее место охоты.

Мишка высыпал горсточку камней.

- Поставь ее, да на пол, не бойся, пылью ее не испортишь... О чем это я? Так вот, Ветрицкий бредил этой самой шапкой... подозреваю, будь он уверен, что сил хватит удержать, сам бы добрался. Он и меня видел лишь, скажем так, временною мерой... женил бы, дождался бы наследника, а там... когда человек жаждет власти, его не удержать.

- А ты...

- А я слушал. Я помогал. Я подумал, что если что и способно мне помочь, то она. Ты знаешь, что благодаря ей нам покорились племена диких югров и татарва? Та, прошлая, которая ходила на эти земли за добычей? Что эта мощь проложила водные пути, что сокрытых в ней сил хватит даже на то, чтобы выстроить лестницу в небо? Так он говорил. Только дело не в том, что силы есть, дело в том, чем за них платить. Ничего не бывает даром, да.

Он опустил на грязный пол и пальцем перебрал камни. Подцепил один, тусклый, некрасивый с виду, и вогнал в золото.

- Сила за силу... Ветрицкий уверял, что ни твой отец, ни ты не решитесь воспользоваться ею. Что если бы дорогой дядюшка хотя бы изредка давал себе труд выходить в люди с нею, то ни у кого и мысли не возникло бы о бунте, что все дело в крови, которая ослабла. Вы стали слишком уж... обыкновенны. Чистые руки - дело, конечно, хорошее, но за эту чистоту приходится платить другим. Мой отец вот оказался чересчур благороден. А его брат - труслив... не знаю, как еще сказать? Он бы мог попросить... скажем, здоровья для своего сына. Здоровый наследник серьезно укрепил бы его позиции. Конечно, пришлось бы отдать кого-то из своих детей взамен... А что? Ничего не дается даром... Но можно было бы не из своих. Правда, не одного, а, скажем, десятерых или сотню - древние артефакты прожорливы.

Один из камней не удержался на золотой пластине и был с раздражением отброшен в сторону.

- И переборливы без меры, - проворчал Мишка. - Я не сомневаюсь, что в отличие от твоего батюшки Николай знал об особенностях Мономахова венца. И мог бы воспользоваться. Но не захотел... И что в итоге? Вся его семья мертва, включая несчастного мальчишку. А с ними погибли и тысячи других, ни в чем не повинных людей. Так что вся эта брезгливость ни к чему хорошему не приводит.

- От брезгливости тебя избавляли.

- Не без того, - согласился Мишка, украшая камнями шапку.

Выходило... ловко.

Вот смуглые пальцы цепляют камушек, крутят, будто пытаются определить ценность. Затем силой впечатывают в золото. А то, еще недавно плотное, размягчается, расплзается, принимая подношение. И тусклый камушек вспыхивает.

- Мне позволялось многое, а многое приходилось делать, доказывая, что я способен на поступки. Мне пришлось играть удобную для них роль. На самом деле после того, что случилось с Хеленой, я даже в чем-то понимал тетку с ее одержимым желанием избавиться от этого несчастного Стрежницкого. Впрочем, если подумать, то теткина любовница сама была виновата... как и я.

Камней было... много.

И за каждым стояла оборванная жизнь. И надо было бы помешать, остановить, призвать родовые силы, обрушить на негодея, но Лешек ждал.

- Что до Ветрицкого, то я понимал: мне нужны были его знания, а еще его связи. Не подумай, я не собираюсь занимать трон, я хочу лишь вернуть ее. Прежнюю. И я знаю, что она может, что... если накормить ее досыта, то она исполнит любое, самое безумное желание! А я не безумен. Я знаю, что Хелена жива, что она просто заблудилась где-то там, между живыми и мертвыми. И она вернется. Ко мне. А потом мы уедем. И ни ты, ни отец твой никогда более не услышите о нас... я знаю. Я все придумал...

И теперь, кажется, Лешек действительно понял, что такое безумие, которым пугали менталистов. Оно и на безумие-то не похоже.

Ведь что дурного в желании вернуть душу любимой?

Или вот уехать?

Далеко, как он говорит, на Север, где небо бескрайнее лежит на вершинах вековых елей. Где реки столь широки, что с берега иного берега не видать. А воды их - свинец и слюда.

Где солнце летом жарит так, что из дому не выйти.

А зимой снега ложатся, укрывая весь мир. И единственное, что остается не белым, - черное небо с искрами звезд.

Он, безумец, говорил и говорил.

Про Север.

И про дом, который поставит сам, ведь у него хватит сил. Про двор и частокол. Крыльцо резное. Он выбрал узор и научился держать в руках инструмент, ведь без него там не выжить. Про полы из белого дерева, что растет лишь в одном месте. Оно редко и ценно тем, что даже в самую лютую стужу остается теплым. По таким полам ходить одно удовольствие.

Про сундуки. Ковры.

И прочее, к перевороту дела не имеющее.

Он задышался, рвался к этой мечте, готовый мир уничтожить, лишь бы воплотить ее. И мир слышал, дрожал в страхе...

- А если... - Лешек осмелился заговорить, когда последний камень встал на место. - Если она не захочет возвращаться?

Ответом ему был снисходительный взгляд.

Безумие не позволит отступить от мечты.

Мишка встал, поднял шапку, потяжелевшую от сотни драгоценных камней, переливающуюся огнями, грозную и видом своим, и силой, от нее разящей. Он осторожно опустил шапку на голову и сказал:

- Я... послал за ее душой хорошего человека. Она справится. А мне всего-то нужно сделать так, чтобы им хватило сил вернуться... и... не держи на меня зла, ладно? Мне нужна была лишь шапка...

- А попросить?

Лицо Мишки исказила гримаса боли.

- Шапку, может, вы бы и дали... только... не позволили бы... цена высока... а я сам... я все сам... ваши руки будут чисты, а этих... этих давно нужно было бы прижать к ногтю... радуйся, братец... уйдем, а ты будешь себе царствовать... И пусть царствование твое будет спокойным. Считаю это моей платой за услугу...

Он покачнулся.

Удержался.

Глава 32

Летит земля под ногами, кружится, катится бубном, а вот небеса неподвижны. Что с них взять-то? Твердь небесная, она, как ни крути, твердью и останется. Разве что звезды приколотые поблескивают да небесные волки заходятся заунывным воем.

Будто хоронят кого. Например, Лизавету.

Она идет. Знает, что не выберется, потому как хоть мал мир под ногами, но все одно огромен, однако упрямство мешает просто сдаться. Вот если бы кто там, с другой стороны, додумался вывести белого оленя, да рога его выкрасил алым, да повесил на них три по тридцать бубенцов и столько же колокольчиков.

На шею – ленту волосяную, вдовами плетеную.

На спину накинул узорчатый ковер.

А после открыл заговоренным ножом горло, сманивая черные тени. Они до крови охочи, и уже тогда, словчившись, можно было бы поймать одну-другую на нить из девичьей пряжи. Тонка бы она была, да крепка, не вырвешься...

Поговаривали, что в стародавние времена ученицы плели целые сети.

В сеть теней много поймается.

Коль хватит сил усмирить, запряжет их шаман в скорлупу ореховую, кинет в нее маковый лепесток и, свистнув, гикнув, взмахнет по-над головами плеткой. Полетят тогда тени, понесут скорлупу над мирами, а с нею и дух шаманов. И тогда-то легко им будет мир этот, который на самом деле мал, как на кончике иглы Матери Великой уместился только, облететь.

Отыскать душу заблудшую. Или даже не одну.

– Кто ты? – спросила Лизавета у девушки в роскошном наряде.

Такие давно уже не носят, чтоб юбка в пол и расшита златом-серебром. Здесь, в мире заклятом, нити горят ярко, и оттого кажется, что сама девушка пылает.

– Хелена, – сказала она, склоняя голову набок.

Личико ровное. Бледное.

Глаза вот туманом завлоклись.

– Тебя он прислал?

– Ты про кого?

– Михаил...

– Честно говоря, не знаю, как его звать, – призналась Лизавета. – Он не представился. Он хотел всех взорвать. Точнее, чтобы я всех взорвала. А я вот... ушла сюда.

Волки пролетели по небу, чтобы скрыться за горизонтом, но вой их все одно тревожил нарисованные сосны, заставляя их уккоризненно качать ветвями.

– На него похоже... я тоже сюда ушла.

Она поежилась и пожаловалась:

– Здесь тоскливо.

Мелькает игла в руках Великой Матери. Бубном, заставляющим мир дышать, гудит ее сердце. И что за дело ей, огромной и вездесущей, до двух заблудших душ? Найти бы тропу, только их пишут кровью.

А оленей в Арсиноре нет. Разве что тот, в зоосаду, но он не белый вовсе.

– Давно ты здесь?

– Не помню... я... глупость сделала, – призналась Хелена. – Поспешила. Собиралась уйти от него так, чтобы точно не догнал... а выходит, догнал. Ты меня заберешь?

Боялась ли она того или же, напротив, надеялась?

- Если хочешь.

- Не знаю. Я... я уже ничего не знаю. Он сказал, что любит... было время, когда я за эти слова душу продала бы... Или на самом деле продала? Это же не ад. Чертей нет. Только волки.

Волчья стая спрыгнула на землю.

Они приближались неспешно, зная, что бежать Лизавете некуда.

- Не бойся, - сказала Хелена, выступив вперед. И руки раскрыла, протянула, позволяя волкам прикусить ладонь. - Они не тронут. Я, наверное, скоро стану такой же. И ты становись. Будем по небу бегать.

У волков были человеческие глаза, и это Лизавете совершенно не понравилось.

Вот не для того она на свет появилась, чтобы по небесам зачарованного мира носиться, хотя огромный белый зверь усмехнулся и голову наклонил: мол, отказываешься зря. Даже не пробовала ведь.

- Поехали, - Хелена легко вскочила на другого волка, поменьше и вовсе бледного. - А я... я сбежала, но все равно ждала, что он за мной придет. Сам придет. Понимаешь? А он тебя послал. И наверное, я дура? Нельзя любить чудовище.

- А ты его любишь?

Волки легко оттолкнулись, кувыркнулись, и уже земля осталась внизу. Небо было гладкое, будто шелками вышито. И звезды горели ровно такими рождественскими фонариками.

- Раньше любила, когда... он мне гадости говорил, а я лишь глядела и думала, как бы не узнал. Если бы узнал, я бы от стыда провалилась. Еще и этот его... дядюшка со своими разговорами задушевными. Мол, мальчик нервный, но это из-за дара... у менталистов бывает... надо лишь потерпеть... главное, не уступать ни в чем. Я и не уступала. Держалась.

А шерсть у зверя мягчайшая, будто пух лебединый.

И Лизавета гладит волчью шею, приговаривая:

- Неси меня за дальние леса, за горы и моря...

Он и несет. Только лапы легко касаются небес, а где-то внизу и вправду мелькают горы, будто из бумаги вырезанные, с морями вместе. На морях даже кораблики есть, Лизавете видно преотличнейше. А вот и город... игрушечный, не иначе.

Но стена стоит высока.

Людишки, будто муравьи, внутри мечутся, а по-над ними громадиною стеклянной поднимается замок.

- Красиво, - сказала Хелена равнодушно. - Раньше такого не было.

И волку свистнула по-разбойничьи, подгоняя. Тот и кинулся вниз, к замку сияющему. Красным горит, точно пламенем объят.

И страшно. И тянет вниз неудержимо.

И вот уже волк, оземь ударяясь, человеком оборачивается. И не только он, вся стая.

- Идите, - говорят в один голос. - Вам тут не место...

- Но...

Лизавета хватает Хелену за руку и тянет. Нечего спрашивать. Если путь кто-то открыл, неважно как, надобно пользоваться, а то ведь мир здешний дюже ревнив, не всякого человека выпустить готов. А уж такого, который сколько-нибудь времени провел в нем, так и подавно отдать не захочет.

А идти тяжело.

Ноги проваливаются в камень, словно в мох. И вытаскивать приходится, а сил нет. Сесть бы... вот тут, на землю...

Хелена и села, обхватила колени, голову положила.

- Вставай, - Лизавета дернула ее за руку. - Нельзя здесь.

- Я не хочу возвращаться.

- Почему?

- Там опять он будет.

- И что?

Она все же поднялась. Замок, объятый алым пламенем, гляделся нестрашно, нарядно даже. И Лизавета точно знала, что идти ей туда и сворачивать невозможно, главное вон до той тропки добраться, которая нитью пролегла по-над землей.

Всего-то шаг. Или два.

Сдюжит. В конце концов, у нее сестры...

- Я не хочу к нему... - Хелена сделала этот треклятый шаг.

- К нему не иди, - согласилась Лизавета. - А что, кроме него у тебя никого нет?

- Отец меня после всего не примет... он строгий. И у меня еще сестры. Им замуж идти. Если кто узнает, что я... что такая... опозоренная... а матушка против отца не пойдет. Она всегда говорила, что мне университет не нужен. Сговорила даже за родственника своего дальнего... только я... я батюшку умоляла отпустить... надеялась, что выучусь и никто мне не указ будет. А вышло... что вышло.

- У меня вот сестры есть. - Лизавета стиснула вялое запястье. - Две. И тетка престарелая. Я к ним вернуться хочу. Понимаешь?

- Да.

А взгляд вновь пустой. Крепко держит ее мир, опутал душу шепотом лживых обещаний, мол, останься и примеришь теплую волчью шкуру. Научишься оборачиваться, через пень кувыркнувшись, а там и небо близехонько с колючими звездами. Вольное, бескрайнее.

Врет.

- Да и... разве не хочешь поговорить со своим этим... как его?

Хелена промолчала.

- Высказать ему в лицо все, что наболело?

- А если убьет?

- Ты и так почти мертвая. Больше не убьет... и вообще, ты его и сама можешь... если захочешь, конечно. Хочешь?

- Н-нет.

Растерянность.

И обида. И... любовь вправду болезнь, коль так на людей действует.

- А может, еще помириться, если простишь его...

- Его простила...

Красная нить дорожки сама скользнула под ноги. А тонкая, и гудит, и звенит струной. Попробуй-ка удержаться на ней, не свалиться в пропасть, что вдруг открылась.

- Давно простила, - Хелена всхлипнула тихонько и спросила: - Только понять не могу, почему у нас все так... криво получилось?

- Ты это у меня спрашиваешь? Вот найдешь его... только сразу не говори, что простила. Сперва скалкой там поздоровайся или сковородкою. Оно для вразумления самый что ни на есть отличный инструмент.

Не замолкать. Идти.

И вниз не глядеть, потому как снизу на Лизавету тоже смотрят, и отнюдь не волки с человеческими

глазами. Люди... сколько их... женщины и девушки... вот одна в знакомом платье, какое во дворце носит прислуга... а вот и дама, явно из тех, о ком в обществе приличном говорить не принято. Она презрительно кривится и явно сказала бы Лизавете что-то, только разве ж ей позволят.

Идти.

Не замечая их. Не глядя на руки, которые протянулись к тропе. Сперва показалось, что эти руки собираются вцепиться в алую ленту, но нет, скрюченные пальцы расправляются, выгибаются ладони, соединяются одна с другой.

И вот уже сама лента ложится на них, на мост, сотворенный из людей.

- Что... происходит? - Хелена и та приходит в себя.

Она смотрит на женщин с ужасом, а те... улыбаются.

- Иди, девочка, - говорит седая старуха с бельмяными глазами. Она не похожа на других, и потому Лизавета поспешно отводит взгляд: есть то, на что смотреть не стоит. - Иди... им обещали достойную цену за помощь. И раз мальчик готов платить... иди.

Спеши. Беги.

Быстрее, пока руки держат, пока живет тропа, проложенная меж миром живых и миром мертвых. Пока держат ее руки мертвецов, пока питают силой жизни. И бьется в висках одна-единственная мысль: а что, если не успеют?..

Бросить.

Хелена медленная. Она и сейчас не особо спешит, то спотыкается, едва не падая, то вовсе останавливается в раздумьях, не понимая, как его мало, времени. Она вздыхает.

Трогает губы, то ли вспоминая о поцелуях, то ли...

Она здесь давно и сама не против остаться.

Нет.

Лизавета дергает случайную подругу, заставляя идти. Тянет за собой едва ли не волоком. Ругается. И чувствует спиной взгляд слепой старухи.

Именно.

Нельзя верить лицам, а... вернуться... уже рядом дверь. Тянет из нее... живым. Кровью пролитой.

Жертвой вольной и невольной. И чем больше они медлят, тем...

Что-то страшное произойдет. И Лизавета, оглушенная этим пониманием, хватает Хелену, толкает ее в алое огненное пятно перехода и почти даже не удивляется, когда то, получив подношение, начинает таять. И стремительно так...

Лизавета успеет. Она...

Она закрывает глаза и шагает, стараясь не думать, что застрять в мире мертвых - не самый дурной вариант. Гораздо хуже застрять в двух мирах сразу.

Глава 33

Лешек смотрел на двоюродного братца, который стоял прямо, хотя из глаз его текли кровавые слезы.

- Знаешь, - просипел Мишка. - Я не думал, что будет настолько... больно. Дерьмово, да?

- Наверное.

Бой там, наверху, стих. И настало время целителей, отделяющих раненых от раненых. В извечной своей любви к живому они не станут делать различий, но список есть.

И Анна Павловна, коль уж уцелеет, всенепрременно пройдет, касаясь некоторых бледною ручкой своей...

Не всех можно казнить, но те, кто устроил резню, должны уйти. И если не Анна Павловна, то... Лешек сам позаботится.

- Все равно... - Мишка закрыл глаза, но кровавые слезы катились по лицу. - Я... надеялся... что хватит... на обмен... сотня душ... сотня... не думай, что мне доставляло удовольствие убивать. Я... мне было жаль... будь иной вариант...

- Был. Ты мог бы просто прийти...

- Не мог. Сперва мне говорили, что меня спрятали, чтобы уберечь... как же... наследник... кому нужен конкурент? И я верил, всем им верил, позволил себя изуродовать. На Дашку не держи зла... она бестолковая и меня жалела. А на деле подлости в ней нет... дурость вот есть, и изрядно. И еще трусовата, конечно, но это...

- Сам разберусь.

- Разберись, - Мишка поднял руку. Двигался он медленно, то ли опасаясь, что от резкого движения драгоценный венец упадет, то ли просто сил не было. - Но не обижай. Пожалуйста... сошли куда, если уж на то пошло... и братьев моих... Егорка умный, засранец, ему бы учиться, но младшенький... матушка в нем души не чаёт... и ей скажи, что мне жаль. Я дурак был... корона, власть... на хрена они нужны? Если б не корона и власть... если бы... глядишь, хорошая бы пара получилась... купчиха и мелкий помещик. Как думаешь?

- Думаю, что тебе бы не тратить силы, - Лешек поднял один из негодных камней, покрутил и кинул в ларец, подобными камнями доверху наполненный. - Глядишь, и живым останешься.

- Чтобы на плаху?

- Кто ж тебя на плаху сошлет? Слишком много объяснять придется. Нет, удавят потихоньку, и все дела.

- Спасибо за откровенность.

Кровь пошла из уха, и Мишка закрыл глаза, скривился.

- Больно.

- Тогданими.

- Нет... я должен... ее вернуть... иначе все зря. Понимаешь? Заговор этот дурацкий... смешно, они там ждут, что сейчас я поднимусь с этой шапкой и заставлю всех склониться передо мной... К слову, передай Егорке и остальным, бомбы бы не взорвались, не взорвались бы... Мне просто надо было, чтобы... чтобы все думали, что оно по-настоящему.

Кровь пропитывала рубашку.

И запах ее, сладковато-горький, отчего-то цветочный, заставлял Лешека морщиться. От тех, которых он принес в жертву Книге и, как выяснилось, зря, пахло иначе.

- Чтобы... на краю... ты не представляешь, до чего сложно найти кого-то, кто сможет не просто пойти, но вернуться... я... ее... долго... так долго... угасший род... слишком много их угасло... Дымовы некогда славились своей способностью возвращать... души... только... они боялись... сперва надеялся на свягу... но она... слишком... другая... могла унести не туда, ей разницы нет, к живым или мертвым... а Гнёздина... обыкновенная девочка с необыкновенной кровью... баронесса.

От смеха у Мишки кровь горлом пошла, но он лишь сплюнул под ноги.

- Я... наблюдал за ней... за всеми... тот пустырь... она сумела переступить через себя... сумела достучаться до мира, только... сама не поняла, как оно произошло. Все-таки... надо что-то делать с этими... уходящими знаниями... многое потерялось и еще больше потеряется, если...

- Сделаем.

- Хорошо... никому не верь... из тебя выйдет отличный император, правда, не обижайся, если после сегодняшнего Кровавым прозовут.

- Ничего, - Лешек кривовато усмехнулся. - Как-нибудь да переживу...

- Куда ж ты денешься... заметь, твою... матушку... я не тронул... мог бы... те, кто пришел... в архивах родов много интересного... раньше мир принадлежал не только людям... и иные отнюдь не своей волей его уступили... есть способы... но... я решил, что с Великим Полозом мне не с руки ссоры затевать... да и зачем...

- Помолчал бы ты уже, смертничек.

- В гробу намолчусь, - Мишка вытер кровь рукавом. - Думаешь... успеют? Она ушла... рыжая... это огонь... раньше... их предки... могли из волос вязать нити, по которым спускались в мир мертвых... и там... уже там...

Он запнулся, застыл, и Лешек даже подумал было, что сердце безумного его родственничка вот-вот остановится, но нет, сдюжило, застучало ровно и быстро.

- Больше... не с кем... все от меня чего-то ждали... титулов... земель... представляешь, порой ругаться начинали, деля то, что им не принадлежит... или друг под друга заговоры плести... заговоры в заговоре... смех один.

Смех. Горький.

Что там, наверху, творится? Справляются ли? В Керненских Лешек уверен. И в Таровицких. И... Но все одно без пострадавших не обойдется, вопрос лишь в том, кто пострадал и насколько серьезно.

Кровавый, стало быть...

Митька скажет, что репутацию такую грех не использовать. Используем-с... в хозяйстве все пригодится, даже дерьмовая репутация.

- А просто чтобы... по-человечески... я с Хеленой. Запомни... Дубовая улица, седьмой дом... она... я занимался, как целители велели... заставлял ее вставать. Водил. Купал. Я... заботился о ней. Только... она все одно слабой будет. И растерянной... и не позволяй ей глупость совершить. Обещаешь?

- Если выйдет, то не позволю.

Лешек старался не давать несбыточных обещаний.

- Хор-рошо... ты... никому не верь... и не думай... я давно понял... если бы не я, они бы другой способ... другой план... придумали бы... нашли бы, как ударить... а я...

Он все-таки захлебнулся кровью, уже густой, почти черной.

А потом осел на пол.

И шапка с ним. Она при падении не слетела, но напозла на лицо, впиалась в него грязным обтрепанным мехом, присосалась накрепко. И Лешек, лишь тронув золотой купол, украшенный золотым же крестом, руку убрал.

Жертва была принесена.

И жертва была принята.

Оставалось надеяться, что все не зря...

А Митьке поставить на вид, что у него за контора... и сам он... вона какой-то проходимец про зазную рыжую ведает больше, чем Митька с его сотоварищами.

Главное, чтоб и вправду вернулась, где бы она не оказалась.

Лешек дождался, пока шапка насытится и, отвалившись, съедет в стороночку. Подняв ее, потяжелевшую, он вернул шапку на каменный постамент и, покачав головой, сказал:

- Что ж ты так-то? Могла бы и в живых оставить. Неужто мало тебе было?

За плечом будто вздохнул кто-то с укоризной: мол, зря ты так, змеев внук. Неужели не понимаешь, что не всякая жила – золотая и не вся кровь годится, чтобы путь открыть.

Да и равновесие хранить надобно.

Откудова ушло, там ныне и прибыло. И сие справедливо есть.

Пусть так.

Лешек склонился над телом, раздумывая, тут его оставить или выволочь из сокровищницы? Впрочем, стоило коснуться, как тело вовсе рассыпалось пылью, а та легла на камень, чтобы в камень и уйти.

Вот оно как...

Может, и к лучшему.

Поднимался он с тяжелым сердцем, и было искушение шаг замедлить, постоять еще немного в тиши подземелий, а то и вовсе к матушке заглянуть, проверить, как она... линька до срока – дело нехорошее. У Лешака самого время подходит, вон на спине шкура чесаться стала, а это наивернейшая примета.

И если он вдруг задержится...

Есть еще камень с личиной. Отец найдет кому всучить, а Лешек... заслужил отдых в тишине. У него, между прочим, душа болит, любовью обманутая.

Нет.

Он заставил себя идти быстрее.

А по лестнице вовсе бегом поднимался и уже наверху, встретивши гвардейца в темно-зеленой форме, выдохнул. Стало быть, отец и в городе управиться успел, и во дворце порядок навел.

Лешека пытались остановить трижды.

Еще несколько раз просвечивали камнями, опасаясь, что он – это вовсе не он, а некто, нагло царевичеву личину сперший.

- Вы уж извините, – молоденький маг в мятом платье смахнул пот. – Столько умельцев вдруг отыскалось... и у всех причины.

В бальной зале было пусто. Почти.

У стены вытянулись вереницей тела. Их складывали аккуратно, теперь уж вправду не делая различий ни по чину, ни по возрасту, ни... пока тела не прикрывали, и потому смотреть на них было горько.

- Сколько? – тихо спросил Лешек, и подошедшая Анна Павловна погладила его по плечу, утешая. А у него появилось преогромное желание сгрести ее в охапку да и уткнуться лбом в живот.

Чтобы как в детстве. Чтобы не страшно.

- Здесь – больше двух сотен... большей частью те, кто хотел воевать...

А и она ранена, пусть и держится прямо, но Лешека не обманешь.

- Подите-ка к целителю.

- Лешенька, – Анна Павловна глядела с укоризной. – Заняты они. Знаешь, сколько пострадавших? Там огневик в оркестровую яму залетел. А вон поглянь...

Она указала куда-то в глубь залы.

- Ветряное копьё балкончики обвалило. А на них одни девицы... наши-то с большего прикрывали, но сам понимаешь, в подобной суматохе...

Девочка, застывшая на полу, смотрела с немалым удивлением. Будто поверить не могла, что бал, к которому она так готовилась, вдруг обернулся таким страхом.

Лешек присел и закрыл ей глаза.

- Эти-то почти всех своих перед атакой вывели. Наши тоже сумели, не всех, но тоже изрядно, - Анна Павловна стояла тут же, прижимая платочек к носу. - Не обращай внимания. Это обыкновенное переутомление. Пройдет.

- Раненые...

- Одовецкие ими занялись... ты поговори с Властимирой. Слишком много в ней силы, чтобы позволить ее впустую тратить. У монастырей свои целители найдутся.

Вдоль стены шел старик.

Странно шел, хромя на обе ноги. Он то и дело останавливался, поводил руками, будто разгоняя невидимое нечто, порой нагибался, причудливо изламываясь всем телом, и касался пола ладонями.

- Бужев, стало быть, - Анна Павловна глядела преравнодушно. - Он крепко помог, когда эти... чары бросили на девочек... Живыми щитами закрылись, сволочи, а наши побоялись бить. Я, говоря по правде, подумала, что уже все... Вышнюту задела, а Бужев вышел. Рукой махнул, и заговоры их рассыпались. Другую поднял... вон там, видишь, совсем в стороне... кто попытался дедушку обидеть.

Лешек хмыкнул.

Да, некоторых дедушек обижать не след.

Авдотья сидела, держа за руку человека, который не был мертв, но и живым его назвать язык не поворачивался. Она слышала, как медленно, тяжело бьется сердце, и думала, что наверняка если она руку отпустит, то сердце остановится.

И может, к лучшему?

Папенька этой ее любви не одобрит.

Тетка... плевать на тетку и на кузину тоже. А вот папенька, он не одобрит. Лезут же в голову глупости всякие... и может, это не любовь. Авдотья ведь никогда не влюблялась, чтобы как в книгах, до томности, до коленей слабеющих.

И в обморок ее падать не тянуло.

Не терзало престранное желание писать стихи или хотя бы в прозе, но чтобы ему, иносказательно признаваясь в собственных чувствах. Письма, само собой, ждал бы камин... все сжигают.

Развлечение такое.

Там, на границе, заняться-то особо нечем. Охота... засады... стреляют вот иногда, но разве ж оно диво? Из развлечений - комедианты заезжие, дамский литературный клуб, в котором больше обсуждают чужую личную жизнь, нежели зачитанные томики романов. А если до них доходит черед, то опять же... о любви.

О чем еще мечтать девушке?

Вот и Авдотья...

Увидела.

Влюбилась. То есть понарошку, конечно. Как можно влюбиться в человека, которого знать не знаешь, а только видела пару раз, и то за обедом. Может, он дома в скатерть сморкается или вообще волосы на косточки завивает, как поручик Швербин, который всем врет, что кудрявый от природы. Только никто уже ему давно не верит. Да и в кудрях его в последний-то год лысина просвечивать стала.

Авдотья тронула светлые волосы.

Так просто.

Убедить себя, что нет никакой любви. Уговорить. Разжать пальцы. И оборвать ту ниточку, которая держит Стрежницкого в этом мире. Он и сам-то спасибо скажет. Она чуяла, до чего мучительно ему жить. И папенька опять же не раз и не два приговаривал, будто бы Стрежницкий совсем уж притомился в мире этом. Так разве не милосерднее отпустить?

Тем более она не целительница.

И вообще никоим образом... и только может, что за руку держать, зажимать платочком рану в боку, на которой ни один наговор не держится, да надеяться...

На что?

На то, что ее найдут целители? И рана затянется?

Стрежницкий откроет глаза, увидит ее, Авдотью, и разом, как в книге, осознает, до чего не прав был, себе в любви отказывая? Сердце его разнесчастное воспламенеет или что там ему положено? А он разразится речью, в которой...

Ерунда.

Жили долго и счастливо.

Нет, могло бы получиться. Авдотья ведь не так и глупа. И сумела бы выстроить семью, заодно и папенька, глядишь, в совесть вошел бы, сделал бы своей вдове предложение, а то который год романом тайным маются, хотя оба знают, что нет на границе ничего-то тайного.

Дышит.

Она провела пальцем по губам. Поцеловать?

Она... признаться, однажды она поцеловала одного поручика, из новеньких, который еще не знал, чья она дочь. Было мокро, слюняво и вообще неприятно, особенно когда поручик, верно, решивший, что нравы на границе повольней столичных будут, ручонками в корсаж полез. И тут же оскорбился, по ручонкам этим получивши.

Грозиться начал, потом долго избегал Авдотью, глядя издали печально.

Да, неудачно получилось.

Но Стрежницкий не в том состоянии, чтобы руки распускать. Да и... почему-то казалось, что подобными глупостями он страдать не будет.

А папенька все одно не одобрит.

И сама она понимает, насколько нелепо вела себя, предлагая. Теперь он умрет, и Авдотья даже не извинится. Впрочем, если и выживет вдруг – мало ли, порой и не такие чудеса случаются, – она все равно не извинится. Непривычная.

Она наклонилась. Коснулась губами губ.

Сухие. И теплые. Значит, пока не мертвый...

– А что это ты делаешь? – раздался сиплый голос Одовецкой. – Если искусственное дыхание, то не так надобно.

– Целуюсь.

– Ты его сперва бы в сознание привела, что ли...

Одовецкая выглядела почти нормально, разве что платье с одной стороны обгорело, с другой истлело, кажется, а чулки и вовсе дырами пошли.

– Я бы и привела...

– Помочь?

– А ты сумеешь? – Нельзя поддаваться надежде. Будь все так просто.

– Попробую во всяком случае, только... сил во мне уже... поделишься?

Авдотья протянула руку.

Поделится. И подумает.

Позволит себе помечтать о глупом. В конце концов, она же девица, а кому, как не девицам, о глупостях мечтать. Вот возьмет Одовецкая, пошевелит пальчиками, выплетая из нитей жизни узор расчудесный. И Богдан очнется.

Увидит. Влюбится.

В кого?

Авдотья нахмурилась, исподлобья покосившись на целительницу, которая склонилась над телом. А в нее, пожалуй, влюбиться можно. И что с того, что Одовецкая тоща и бледна? Это нынче, если тетушке дражайшей верить, как раз в моде, не то что Авдотьины формы пышные. И черты лица у нее правильные.

Возвышенность в них должна имеется.

Пальчики тоненькие.

Револьвера небось в руках не держала. Самое оно, трепетная дева. Авдотья же... вот точно, глупость. И силы утекают-утекают, что вода... И пускай, она держаться не станет.

И держать не будет.

Насильно мил не будешь, и вообще... только бы выжил. А там... там можно и притвориться, что не было ни разговора того, ни... ничего вовсе не было, кроме случайной вот встречи.

- Плохо, - сказала Одовецкая, вытирая пот. - Крови потерял много. И... знаешь, он, по-моему, возвращаться не хочет. Тяну, тяну, а он все равно не хочет. Почему?

- Потому что дурак. И дубина стоеросовая, - устало произнесла Авдотья. И, наклонившись, дернула Стрежницкого за ухо. - Слышишь ты? Я тебе говорю... сам не вернешься, так я за тобой пойду и...

Она наклонилась к самому этому уху, понимая, что выглядит преглупо и вообще девицам трепетным полагается вести себя совершенно иначе. Но она пусть и девица, однако в трепетности излишней замечена не была.

- Я запрещаю, слышишь?

- Знаешь, - Одовецкая стягивала края раны, которая теперь выглядела нестрашной. Этакая махонькая дырка в боку. - Мне казалось, с мужчинами надо иначе обращаться.

- Как иначе? - Авдотья стиснула ледяные пальцы.

- Не знаю. В монастыре у нас их особо не было, и вообще... нехорошая магия.

- Разрушительная, - согласилась с Одовецкой, и Авдотья повернулась, чтобы разглядеть говорившего.

Старик.

В потрепанной, местами прожженной рясе, из-под которой выглядывает отвратного вида власяница. Монах? Во дворце? Впрочем, во дворце, как оказалось, хватало всяческого люду, чего уж монаху удивляться. Стоит, руки сцепил. Одна сухая, вывернутая какая-то, торчит из рукава опаленною курячьей лапой, только пальцы подергиваются. Другая белая, молодая.

Волосы седы.

Лицо с одной стороны ожогом поуродовано.

- Позволите? - монах неловко опустился на колени. - Его убивает не железо, но заклятье, на нем лежавшее...

- Я не чувствую заклятий, - нахмурилась Одовецкая.

- Потому что это не та магия, которую легко почувствовать. Да и вы, уж простите старика, слишком светлы, чтобы увидеть тьму.

Авдотья вот таких разговоров очень не любила. Сразу начинала себя дурой чувствовать, причем кромешною. И монашек этот... откуда взялся?

- Светлая... конечно... - губы Одовецкой дернулись в кривой усмешке. - Если бы вы...

- Те мертвецы не твои, девочка, - он заглянул в глаза, и Аглая не выдержала взгляда, отвернулась. - И даже они это поняли. И ты поймешь. Со временем. А тут уж мне позволь, пока силы остались.

Что он сделал, Авдотья так и не поняла.

Показалось, что старик сложил пальцы щепотью и воткнул в самую рану. Стрежницкий только дернулся и застонал слабенько.

- Сиди, - велела Одовецкая и ручку на Авдотьино плечо положила. Ишь ты, вроде бы целительница, сама хрупкая, что первоцвет, а рука такая, что не сразу и стряхнешь. - Так надо.

Надо - значит надо.

Авдотья не дура, понимает, что порой оно со стороны страшно глядеть. Вон как тогда... целителей мало, на всех не хватает, а раненые ждать не будут, пока черед дойдет.

И шили наживо.

И кости пилили. И прижигали. И вонь стояла над лазаретом такая, что мухи дохли... надо... потерпит. Главное, чтобы помогло. Старик хмурится, и из глаза его слепого катятся по щеке желтые капли гною. Но странное дело, это не вызывает отвращения.

Вздых.

И пальцы выходят из груди. Тянут что-то, а что - не разглядеть. Вот взмахнул рученькой, перехватывая, стиснул. И будто треснуло где-то там, далеко-далеко, хрупкое стеклышко, а Стрежницкий закашлялся, завозился, пытается подняться.

- Куда! - всполошилась Одовецкая. - Лежать!

Авдотья же глядела на старика.

И лицо его казалось знакомым... до того знакомым...

- Не надо, девонька, - он покачал головой. - Чего было, того уж не вернуть.

Нет, его она не видела, но вот этот характерный нос и брови с изломом. И еще подбородок...

- Ты лучше за женихом своим поглядывай, - старик улыбнулся.

Светло. Ясно.

Так, что Авдотья разом поверила: теперь-то все у нее сладится. С женихом ли, с дюжиною ли кошек и вышивальным станком, но всенепременно... да и кто сказал, что одно другому помеха?

Она повернулась к Стрежницкому и тихо сказала:

- Только попробуй опять... куда-нибудь вляпаться... я ж тебя... я с тобой... не знаю, что сделаю.

А он тихо сжал ее пальцы.

И... и наверное, это тоже что-то да значило.

Глава 34

Он всегда был несговорчивым, упрямым, невозможный этот старик. Точнее, теперь-то старик, но княгиня Одовецкая помнила его совсем другим.

...Давай сбежим. Сегодня же. Верхами пойдем, а там не догонят. В Алтафьеве обвенчаемся, там у меня батюшка знакомый есть. Не откажет.

И дыхание горячее пальцы обжигает.

И надобно что-то ответить. Сердце рвется туда, на свободу, чтобы с ним и до конца дней своих, но разве можно его слушать?

У нее, в конце концов, долг. И обязательства.

И не только перед родителями, которые надеются на Властимиру, но перед самим родом. Она, последняя в нем, не имеет права позволить себе такую роскошь, как любовь. Вот только как сказать, как не обидеть, не оттолкнуть...

Не получилось.

С огневиками всегда сложно – гордые, злые, как пламя. И в ту ночь они наговорили друг другу много лишнего. Сожалел ли он? Вспомнил ли хоть раз?..

Она вот сожалела.

И... и никогда в том не признается.

– Только попробуй мне умереть, – она говорит это, старательно не глядя в изрезанное морщинами лицо.

Время.

Сколько его потратили зря. Сколько...

Они ведь встречались, позже, во дворце, когда она почти оправилась, когда научилась притворяться холодной и равнодушной, смотреть на прочих свысока, скрывая за этою маской страх перед людьми. И от него отгородилась, начав отгаивать разве что там, в поместье.

Дома.

Она и вернулась-то ради дочери.

И еще потому, что хотела наконец обрести покой. Избавиться от постоянного страха, который жил внутри, прорываясь по ночам. И ей почти удалось.

Здравствуй... как дела?.. сливы в этом году уродились преотменнейшие... настойка с перцем... и сердце свое совсем запустил. Когда к целителю последний раз обращался?

Встречи. Разговоры.

Чай на веранде открытой. И старые ели, которые поскрипывали на ветру, сплетничая о своем, о вечном. Никто не заговаривал о прошлом. У него где-то там имелась жена, родившая сына, а у нее – бывший муж, еще пока живой и потому пугающий.

Дети.

И безумный шанс повторить то, что однажды не срослось.

Вновь не вышло. И опять обида.

А следом Смута. И война. И он себя не берег. Никогда не берег. Норов и огневики не умеют унять, горят и сгорают, но хотя бы зелья принимал исправно, да и оберег, сплетенный ею некогда, носил. Он не признается, упрямый и гордый, но Властимира знает – носил.

Потому и жив еще. И проживет.

Она дернула за ворот рубахи, подцепила тонкую волосяную нить.

Если бы тогда, однажды вечером, когда стрекочут кузнечики и воздух звенит от комарья, он сказал бы ей, что все еще любит, если бы позвал... ладно, даже не замуж, но просто в дом... Она бы согласилась.

Не позвал. И ладно.

И... главное, что цел до сих пор, как и этот оберег, сплетенный из собственных, Властимиры, колец, заговоренный ее кровью. Прав был поганец Затокин, полагая, что Одовецкие знают куда больше, нежели прочие. Древняя кровь.

Древняя сила.

И знания тоже древние...

Запретные. Не потому как во вред, но просто... опасно душу свою на части делить.

Жива еще.

Бьется искоркой малой, и надо лишь помочь, поднести к губам, выдохнуть...

- А ты стала еще красивей, - он очнулся и заговорил, бестолковый упрямый мужчина. - Так не бывает.

- А ты остался все таким же упрямым, - она давно разучилась плакать, а потому просто смахнула каплю с ресниц. - И жить ты будешь... и объяснишься... и ты, и сынок твой, а вздумает опять финтить, я его выпорю.

- Сам... выпорол... - дышал он с трудом.

И губы посинели.

И кто ж в его-то годах выкладывается так? Ран открытых нет, но тело... износилось, постарело.

Перегорело.

Не тогда ли, не той ли ночью, когда она, на свою беду, выбрала остаться?

- Это хорошо, но я еще добавлю, - Одовецкая поднесла оберег к губам и просто выдохнула. Вот так, у нее еще хватит души. С кем ею делиться, как не с тем, кому она и вправду нужна.

Аглая взрослая. Сильная.

И путь у нее свой. И негоже на нем мешаться, а...

- Что ты творишь? - Довгарт нахмурился.

- Ничего, - она вернула оберег, прижала к коже. - Сейчас станет легче. И не надо на меня так смотреть. Я твоих взглядов не боюсь.

- А чего боишься?

- Уже, наверное, ничего...

Ее страх.

Ее проклятье. Умер. Ушел. Его не стало. И первое время она не позволяла себе поверить в такое-то счастье. Тогда она часто просыпалась по ночам, несмотря на успокоительные настои. Лежала. Вслушивалась в темноту, не раздадутся ли знакомые шаги.

Не скрипнет ли дверь. Не...

Он не позволял себе приблизиться, но и того, как смотрел, хватало, чтобы этот подспудный страх ожил.

- Я... - с его губ отходила нехорошая синева. - Должен признаться, это я твоего мужа бывшего убил.

- Ты?

- Сесть поможешь?

- Лежи пока, - она погладила его руку.

Морщинистая.

Но пальцы сильные. И кожа темная, обветренная. И шрам вот этот, ладонь пересекающий, она помнит преотлично. Сама тогда затягивала края широкой раны, но неумело еще, вот и остался шрам.

- Что тут... творится?

- Уже ничего... - Одовецкая огляделась.

Военные. Целители.

И военные целители. Подобие порядка. Раненым помогают, кого-то вяжут, чтобы препроводить вниз, кого-то допрашивают, но спокойно, без суеты.

До них тоже черед дойдет, но после.

- Понятно... я... сперва... мне сказали, что ты после родов рассудком повредишься. Что бывает. Перегорела, вот и... Я хотел видеть, приезжал, но не позволили. Дом под колпаком. Защита такая... я ломать побоялся, дурак.

- Почему дурак?

- Потому что понять бы мог, что неспроста... Они мне, мол, покой нужен. Лечение. Я и поверил. Целители же... с-скоты... извини, их бы тоже, но только до него руки дотянулись. Потом сказали, что ты совсем плоха... что... а тут слухи вдруг про развод.

Слухи ходили всякие и разные.

И Одовецкая знала, что большей частью самого неприглядного свойства. Но как раз на слухи ей было плевать.

- Я тебя найти пытался...

- Не только ты, - она вздохнула и все же помогла этому невозможному человеку сесть. И ведь только-только полегчало, выровнялся ритм сердечный, а туда же... у него ведь не только с сердцем плохо. Печень откровенно увеличена. В желчном камни, а желудок в язвах.

Как можно запустить себя до такой-то степени?

- Я понял... ты вновь исчезла.

- Мне... помогли... матушка Никанора. Оказывается, она приходилась Николаю теткой. Она... посоветовала меня, когда Сашеньке целитель понадобился. Сказала, что и я исцелюсь, если в тишине и одиночестве, что монастырская лечебница - это хорошо, но не то, что мне надо.

Ему было легко рассказывать. И пожалуй, если им еще дано будет времени - Господь, говорят, милостив, - Властимира расскажет.

О монастыре.

О лечебнице. И о царевиче, который был бледным больным ребенком. Никто не верил, что он выживет... и не выжил бы, но...

Ей самой тогда казалось, что жизни ее пришел конец и, стало быть, нет смысла трястись над душой. Поделиться? Глядишь, и поможет, глядишь, и позволит мальчику прожить день.

И два. И еще с неделю.

Знал ли кто-то? Матушка, пожалуй, догадывалась. Она, верно, поняла что-то еще там, в лечебнице, потому и отослала Властимиру, пока та не раздала остатки своей глупой души всем, кому иначе не помочь. Она и обратилась к семье...

Расскажет о море. Берегах.

О неспешной жизни, которая будто бы растянулась одним-единственным бесконечным днем. О том, что время все-таки лечит и ей пусть не сразу, но легче стало.

Александру тоже. А там...

- Когда ты объявилась вновь, я испугался, честно говоря, - он вдруг обнял, прижал к себе. - Такая холодная. Равнодушная. Вся... в приличиях. Да я рядом с тобой икнуть лишний раз боялся, чтобы ненароком...

- Неправда!

- Правда, - и смеется, в глаза глядя.

Вокруг дымно.

И кровью пахнет, хотя целителей кровью не напугать. Кто-то где-то стонет, кто-то плачет, а он смеется.

- Я боялся, что ты опять исчезнешь...

- И наорал на меня.

- Со страху. Простишь?

- Давно...

- За сына... побоялся, что он, как я, поломанным останется... мы ж однолюбы...

Волосы седые.

И в глазах тоска, которую не убрать, не излечить. Смотреться в них, что в зеркало, только и зеркала давно уже не говорили правды.

- Кто ж знал, что и у него там любви не было. Он мне потом высказался, да...

Хоть бы отвернулся или же притворился умирающим. С умирающих вовсе никакого спросу, все-то им простится. И ему бы простилось.

- Мы и с ним повздорили... норы у меня... и у него, да...

А в груди ноет.

И слабость вдруг появилась, особенно в руках. Перед глазами поплыло, повело... так оно бывает, когда душу вновь делишь. В старых книгах предупреждали.

И обряд этот...

Не совсем чтобы обряд. Нет нужды ни в свечах, ни в крови, только желание само и готовность уйти к Господу, если вдруг окажется, что души осталось слишком мало. Потому-то и запретили его.

Легко растратить.

Поддавшись ли жалости, испугавшись ли или по иной какой причине, но... душа восстанавливается. Это Одовецкая точно знает. И она давно уже не тратила свою, стало быть...

Просто возраст. Усталость.

Скольким она уже помогла сегодня? Вот и тянет прилечь.

- А там и Смута.

Опереться на плечо, которое подставляют. Прислониться, укрыться жаром чужого пламени. Главное, не думать, как бы оно все сложилось, если бы...

- Я в Арсиноре бывал по делам, там и встретил одного человечка, который даже золото любил. Он нашим многое продал, - Довгарт кашлянул, будто в горле ему заняло. - Вот я и полюбопытствовал, не глянет ли случайно в архивы-то, где судебные дела хранятся. Копию он мне принес. Я как почитал...

Суд, стало быть.

Там... плохо сейчас вспоминалось, что именно там было, но ничего эдакого, что могло бы разрушить репутацию Затокина. Она бы не отказалась, что ей эту репутацию жалеть, но... сил тогда не хватало. Развели? И ладно, и...

- Я ж не такой и глупый, - с упреком произнес Довгарт. - Отчего не написала? Не позвала? Разве ж не пришел бы?

- Не знаю.

- Пришел бы. Прилетел бы. Ссора ссорой, но когда беда...

Затокин был бедой? Пожалуй.

- Я... тогда... будто потерялась, - и в груди ком тяжелый застрял, давит на сердце. Нехороший симптом, и кликнуть бы Аглаю, только страшно: оборвешь нить разговора, после не починишь. Потому и кривится Властимира, с болью сама справляясь.

Бывало и прежде.

Душа, она тоже кровит. И надобно лишь покоя, тишины, а тут люди ходят. Хрустит камень под сапогами. Кто-то громко команды раздает, но диво дивное, ни словечка не доносится.

- Будто во сне оказалась... дурном таком... и стыдно было, что он... что со мною... как кому-то сказать...

Если даже родители предпочли не слышать и не знать?

А этот хмурится, подбородок прижимает, будто готовый забодать... кого? Призраков из прошлого? Но... хорошо, что не написала, он бы и вправду прилетел.

Убил бы Затокина.

И сам бы пошел на каторгу.

- Я после поискал. Нашел из прислуги вашей... много интересного рассказали. Сам дурень, надо было сразу им денег дать, а то тоже... пели, мол, барышня головой повредилась, никого не узнает... Верил. Ничего... Смута нас свела. Я не искал той встречи. Был приказ - зачистить одно поместье, где хозяева разбоем промышляли. Вроде приличное семейство, с обсерваторией даже, да... по мирному времени хозяин звезды считал, статейки писал какие-то в королевское общество, печатался даже. А война пришла...

Глаза хочется закрыть и уснуть, но нельзя. Не стоит поддаваться.

- И взялся помогать, переправлять людей за границу. Не задаром, само собой... есть у тебя золотишко там, или камушки, или на худой конец книги родовые? Поможет верный человек, переведет на ту сторону. Заодно и письмецо напишет поверенному, и получишь ты за свои ценности компенсацию в Ганзейском торговом доме. За вычетом малого процента, само собой. За услуги... то есть, не сказать что совсем малого, но многие полагали, будто оно того стоит.

Сказка.

Да, пожалуй, что сказки так рассказывают, неспешно и напевно.

- И все бы ничего, война, каждый выживает, как умеет... только вот пришло письмецо к одному человечку, что нет его семьи на Бриттских островах. Среди уехавших никто про Апраскиных слыхом не слыхивал, как и про Заречных, и про многих других...

- Он...

- Их там в поместье и разделявали. Хозяин свиней держал, а свиньи, чтоб ты знала, на мясе неплохо прибавляют... прости, не стоило мне такого рассказывать.

- Стоило, - отвращение прогоняет сон. - И Затокин...

- Он уезжать не собирался. Зачем? И смутьянам целители хорошие нужны. Народу-то они клич кинули, чтобы магов бить, но самим к чему помирать? Нет, он себе там жить устроился то ли с кем-то, то ли при ком-то, за кем пригляд нужен был. Я б его, может, и не тронул... все ж целитель. Вы... вас не велено было обижать. Я... просто тряхнуть хотел, а он вдруг сам заговорил. Рассказывать стал...

- Что?

- Глупости всякие. Про то, что ты на самом деле безумна и оттого ведешь себя недостойно, про любовников каких-то. У хорошего мужа жена на сторону не ходит.

Одовецкая фыркнула.

- Злым он был человеком, уж прости. Гадостным. И уверенным, что никто-то ему ничего не сделает. Так мне и сказал, мол, дар его столь ценен, что все остальное простится. Стало быть, стоит он выше прочих... о благе радуется... и вот-вот совершит открытие... уж не знаю, что он там открывать собирался, но меня злость такая взяла. Ко всему... мои люди из простых, наука им до одного, уж прости, места. В доме они погуляли, после и в обсерваторию сунулись, нашли там... много всякой дряни. А этот орать начал, мол, что ему эксперимент испортят... А там дети. Понимаешь? Всякие, от совсем маленьких до постарше... родителей, стало быть, под нож, а детишек этому... для блага науки. Он, когда я его вешал, визжал, что многих спасет. Малая кровь, мол, большую остановит. Так что... уж прости. Я ни хрена в науке не понимаю, но знаю, что детей мучить нельзя...

- Поэтому вы и молчали, да? - Аглаины руки легли на виски. - Бабушка, тебе лечь надо! И не спорь.

Спорить сил не было.

Хотелось, но... не было.

Просто вдруг усталость навалилась, и сразу, а ком в груди разросся. Сердце и не выдержало. Конечно. Не в душе дело, вовсе не в душе... сердце это.

Оно всех подводит.

До крайности ненадежный орган.

Глава 35

Она пришла в себя. В постели.

Мягкой и душной, хотя окошко и было приоткрыто. Доносилось птичье пение. Легкий ветерок тревожил паутинку тюля, в которой, будто мухи, запутались крохотные золотые розочки. На гардинах розы были куда как покрупнее, но тоже золотом шитые. И шитье поблескивало так, что глаза ломить начинало.

Комната...

Собственные их покои, выделенные высочайшею милостью. И гардины эти Одовецкая собиралась менять. С самого вот первого дня они ее раздражали несказанно какую-то пустою бессмысленной роскошью. А вот поди ж ты, сейчас лежит и разглядывает тихонько.

В груди тяжело, но тело... живо.

Значит, обошлось.

Руки шевелятся. Ноги тоже. Сила свилась в животе теплым комком, будто кошка сверху легла. И стоило потянуться, как откликнулась, плеснула нитями диагностических заклинаний.

- А тебе, бабушка, все нейметя, - Аглае синий был к лицу.

Платье новое.

Волосы лентой стянуты. На запястье нитка жемчуга болтается, а с нее сердечко золотое свисает.

- Дядька Дубыня подарил... много чего подарил. Он на каждый мой день рожденья подарок покупал, представляешь? - сказала она, присаживаясь на кровать. - Он... никого не убивал. Он только спрятал... боялся, что тебе достанется. И мне тоже.

Аглая и сесть помогла, только подушек, которых вдруг в комнате взялось с дюжину, под спину напихала. Подала воды. И теплых влажных салфеток.

Властимира чувствовала себя слабой. Неприятно.

- Рассказывай, - велела она. - Что тут...

- Да ничего... объявили о заговоре. О взрыве. И заговорщиков повязали, кто живой. Правда, ходят слухи, что не всех, но уж больно много бы вышло. Говорят, что в городе тоже волнения учинить собирались, но там войска... а бритты на границе учения устроили. Случайно вроде бы как.

Властимира хмыкнула. В этакие случайности она давно не верила. Да и не только она. С другой стороны, целителям ли в политику лезть.

- Другое... говори.

- Позже, - Аглая посерьезнела. - Я дядьку Дубыню кликну. И... еще Довгарта, а то он тут поселиться хотел. Злился очень на тебя, что заболела. Бабушка, не трогай больше душу, ладно?

- Больше не буду.

Если нужды в том не выпадет.

Аглая вздохнула и встала:

- Я скажу, чтобы тебе помогли. Только сама не вставай, тебе еще невозможно. И вообще, в твоём возрасте пора бы уже поберечь себя.

Сказано это было с немалым упреком. Возраст? Что возраст. Старой себя Властимира не чувствовала, напротив, бродило в крови что-то такое разэтакое, хмельное. Хотелось вдруг вскочить, закружиться по комнате, напевая вполголоса...

Глупость какая.

Она и сидела-то не без труда. И глаза закрыла, отрешаясь от ворчания горничной, и... задремала слегка, что бывает. После переутомления, перенапряжения. Главное, что, проснувшись окончательно, смогла поесть и от отвара укрепляющего, от которого изрядно магией тянуло, не отказалась.

Завтра станет легче.

Послезавтра и вовсе забудется. Взгляд зацепился за зеркало. Постарела... это он, упрямый, может твердить, что с годами Властимира только лучше стала. А у нее морщины, между прочим, и кожа стала темнее, смуглее, благо по нынешним временам сие неприличным не сочтут. В волосах седина, которую не скроешь. Ей не единожды предлагали закрасить ее, а то и вовсе цвет поменять, но Властимира отмахивалась: нет у нее времени на глупости.

Может, однако, и не глупость вовсе? Может... попробовать? Кому она седая нужна?

Тьфу ты, не было печали...

А он принес азалию. В горшке.

- Вот, - сказал, поставивши его на туалетный столик, и флакончики со склянками звякнули, а один вовсе упал на бок, покатился, но был остановлен решительно. - Я помню, ты срезанных не любишь.

- Не люблю.

Азалия была нежнейшего кофейного оттенка и с темной полосой по краю пышного цветка. Надо же, помнит...

Дубыня отвернулся.

А и его время коснулось, и с сердцем та же беда, что у отца. Огневики. Горят. Сгорают. Но если целителя хорошего. Впрочем, Аглая справится, главное, чтобы душу делить не полезла, все ж таки не то умение, о котором вслух говорить следует.

Молчат.

Довгарт присел на скамеечку для ног. Невозможный человек. Неудобно же! У него вон и кости ноют, и вообще радикулит после разыграется, а он все равно... строит из себя влюбленного. И пусть приятно, что уж тут, но радикулит, кости, да и...

Что люди подумают?

Аглая заняла кресло у окна. Села, сгорбилась, подперла рукой подбородок, глядит на вторую руку, пальцы растопырила, шевелит ими.

Вздыхает.

А Дубыня как стоял, так и стоит, дверь подпирая, будто иного занятия у него вовсе нет.

- И все-таки, - Властимира не удержалась, дотянулась, коснулась седых волос Довгарта. - Что там произошло? Я ведь имею право знать.

- Имеешь, - согласился Таровицкий.

А Дубыня головой тряхнул и заговорил:

- Я Яську любил, верно, но... как сестру. Я сперва-то причин спорить и не видел. Лучше уж ее, чем кого другого искать... Потом уже, когда этот ее появился, она влюбилась. И что мне? Невольно было? Хотя он мне сразу не понравился. Вроде и слабосилок, а глядит, будто на дерьмо...

- Дубыня!

- Что? Дерьмо и есть... свысока так... как же, любимый ученик самого... к императору вхож... все прочили ему при дворе карьеру, а он вдруг в глушь перебрался. Из любви? Кому другому говорите, но я-то видел, что не любил он ее! Вот хоть что ты делай, не любил! Я шкурой это чувствовал...

Он стиснул руки, и по пальцам побежал огонек.

Довгарт нахмурился, а Дубыня со вздохом убрал руку за спину.

- Я ей пытался говорить, но только поругались. Наверное, надо было иначе, но ты ж понимаешь...

И Властимира понимала.

Огневик.

От них не жди дипломатии, они прямые и вспыхивают моментально. Там слово, там два...

- Я ей говорил, чтобы погодила с этой свадьбой, чтобы ко двору хоть раз выехала, а то как сидела в глуши, так и... она ж красивая была. Нашла бы еще кого, а только этот... и папенька ее письма писал... Куда мне против папеньки.

Властимира коснулась шеи. Писал?

Наверное. Она... она не спрашивала никогда, а Ясенька, держась молчаливого их соглашения, сама не заговаривала.

- Она мне сказала, что, мол, в Арсиноре много пустого, а здесь они работать могут... лекарство новое создать, которое всем поможет.

- Так не бывает, - собственный голос Властимиры звучал будто со стороны. - Чтобы всем...

- Она полагала иначе. Она... говорила, что у разных болезней по сути один источник. Пыталась объяснить, только... я ж от этого далекий. Разъехались... я просил писать, если что... вдруг он бы обижать стал. А она ж мне как сестра.

Аглая руку к губам прижала. Прикусила мизинец и тут же, смутившись, отпустила.

- Она и писала иногда. Про семью. Про дочку... снимок прислала даже. Про мужа, что он замечательный и очень ее любит. Я даже думать начал, что ошибся. Потом писем стало меньше. Ну так понятно, не до меня же... и я сам... то Смута, да и после Смуты дел хватало. Не сидел на месте. Вот и опоздал... полгода на Жеранских болотах. Разбойников выбивали, дороги чистили. Хватало лихого люда, который спешил поживиться, знал, что власть слабая. Вот мы и показывали, что уже и не слабая. Вернулся, а там письма... от нее...

Он замолчал, дернул головой.

- Если б я раньше вернулся, хотя бы на день раньше, я бы сразу, как прочел, так и кинулся... не успел... порталщиков почти не осталось, а те, кто был, не в Арсиноре сидели, хватало им работы. Нашел недоучку, который мне коридор до Хверсина построил... спешил, а не успел.

- Письма...

- Сжег, - жестко сказал Дубыня. - Попадись они кому, суда не избежать... муженек ее, чтоб ему на том свете черти пятки грызли. Он... как понял, от вашего мужа... тот работу начал, а этот, ученичок, продолжил. Сперва-то все обыкновенно было. Брали там кровь какую-то, слюну... не знаю, что еще. Я от этого дела далекий... так вот, крови со слюной ему мало стало. Решил опыты проводить. Сперва на мышах с крысами там, но это ж не то... люди понадобились. А Яська... я не понимаю, почему она его не остановила? Почему сама... она писала, что искали больных. Ездили в местные лечебницы, да и по деревням. Там лихорадка, там еще какая зараза... лечили, наблюдали...

Ему нелегко давался этот рассказ.

И пламя то и дело вырывалось, ползло по рукаву, оставляя на мундире темный угольный след, от которого Дубыня только отмахивался.

- Но их было мало, да и болезни не те, с теми целители легко справлялись. Ему другое нужно было, посерьезней. Где он нашел заразу? Не спрашивайте. Что погост старый раскопал, так оно правда, только...

- Зачем?

Дубыня развел руками.

- Она... писала подробно. Вроде как он собирался из нескольких зараз одну сотворить, а уже после сделать от нее лекарство.

Безумная мысль.

Именно своею кажущейся логичностью безумная. Создать искусственно возбудителя болезни, объединяющего худшие черты чумы, лихорадки и черт знает чего еще. А потом придумать вакцину, как от оспы или иных болезней... и быть может, повезет, и одна эта вакцина уберет от всего и сразу, но...

Безумие!

- Он и создал. Это правда. С заразой получилось...

У хорошего мага при толике знаний и избытке силы? Властимира не сомневалась. Только удивлялась, насколько слепа была.

А еще бестолкова.

Иначе дочь обратилась бы за помощью к ней. Она бы могла... что? Спросить совета у никчемной, по

мнению отца, матери? У слегка безумной, пусть и похожей на нормальную?

Довериться той, кто решился на развод?

- Ты не виновата, - подал голос Довгарт.

Неправда.

Виновата. Позволила себя изуродовать. И получается, не только себя. Вырвалась на свободу, а дочь... Сердце вновь заныло, и Аглая нахмурилась, велела:

- Прекрати, или я всех прогоню.

- Нет, - Властимира позволила взять себя за руку. Так и вправду было спокойней. - Продолжайте. Хотя... я так понимаю, что от опытов над крысами они перешли к людям? Что случилось? Лекарство не работало?

- Сперва работало... как им показалось, - Дубыня переступал с ноги на ногу. - Многие, правда, до этого не дожили...

Ничего не получается с первого раза. Не в медицине.

И стало быть, были первые подопытные. Вторые и третьи. Десятые? Двадцатые? На котором болезнь отступила?

- Они добавили кровь Аглаи, - Дубыня дернул головой. - Это напугало Яську. Она предлагала собственную, но муж отказался. А вот ее... ее подошла. Она что-то там стабилизировала, не знаю, не спрашивайте... я все сжег, чтобы ни листочка, ни...

Властимира прикрыла глаза.

Аглая?

Вот, стало быть, что напугало дочь. Конечно, смерть других она готова была пережить. Смириться с необходимостью жертвы во имя науки. Затокин тоже смирялся. Он часто говорил, что стоит пожертвовать малым, чтобы достичь большего.

Он умел рассказывать красиво.

И не только он, стало быть. Любимый ученик... подобное к подобному... тошно-то как. Но гордость не позволит показаться слабой. А еще тепло.

- Это все было... давно, - Довгарт встал и обнял ее, нелепо, неловко, но как сумел. И сразу стало легче. - Она была взрослой. Должна была понимать, что творит.

Но не понимала.

Или не хотела понимать, пока дело не коснулось Аглаи... Хорошо хоть ее Яська любила, если не позволила коснуться.

- Что было дальше?

Дубыня заложил руки за спину, прошелся по комнате, оставляя проплавленные следы на ковре. Того и гляди пожар вспыхнет, но нет, управился с собой.

- Дальше... я точно не знаю. Я не успел... и писем она не оставила. Последнее, о чем просила, - защитить Аглаю. Она писала, что Затокин хочет поставить эксперимент в полевых условиях. Ему хотелось славы, и он спешил, а Яська испугалась за дочь... если лекарства не хватит вдруг, то он вновь примется выкачивать кровь. Или не только кровь...

Эксперимент в полевых условиях?

И стало быть, в эпидемии виноват не старый погост, зараза на котором тихо спала не одну сотню лет? Но... что пошло не так? Вакцина не подействовала? Или возбудитель оказался чересчур подвижен? Он, изменившись в человеческом теле - а такое случается часто, - находил себе новые жертвы. И вновь менялся. Он оказался на удивление живуч, чего от него не ждали.

А еще вирулентен.

- Я приехал, когда зараза расплзлась. Мы остановили ее, но... огнем, - Дубыня замер у окна, и теперь Властимира видела лишь его спину. - Мы обкладывали огненным валом деревни. И ждали... пока все не умрут, ждали. Мы поставили посты на реках. Мы перекрыли дороги. Мы... созвали всех

целителей, кого только могли. Да без толку...

- Как они умерли?

- Мама, - подала голос Аглая. - Мама его убила... я... я помню. Не надо, дядька Дубыня, я... я уже не была такой маленькой. И вспомнила вот... маме было плохо. Наверное, она тоже заразилась. На лице появились пятна. Вот тут.

Аглая коснулась щеки.

- И на лбу тоже, - она прикрыла глаза. - И еще кровь у нее шла из уха... она кричала... она поняла, что умрет, и не только она. У отца сыпь пошла по шее... Он, наверное, испугался.

Еще бы.

Вряд ли этот ублюдок планировал ставить эксперименты на себе самом.

- Он взял меня вниз. В лабораторию. Он обещал, что мне не будет больно, но я тогда сильно испугалась. Я не знаю, почему закричала. Прибежала мама, вырвала меня. Я помню все, только как-то странно, будто кусочками. Вот мы внизу. Вот наверху. Мама меня прижимает, а отец кричит, что я - их шанс, что нужно взять мозг, там концентрация вещества будет выше. И мама тоже кричит. Что он обезумел, что все... все закончено. Он ее толкнул. Дернул меня за руку. Я тоже закричала. Со страху. Его укусила, а он меня ударил. Он никогда меня не бил.

Она разглядывала бледную кожу с крохотным шрамом.

- Я спряталась, вырвалась и спряталась за столом. А он сказал, что это бесполезно. Что я всего-навсего ребенок. Ничем от других не отличаюсь, и вообще... будут еще дети. А он гений и должен жить. И тогда мама его ударила. Кочергой. По голове. А потом еще по спине... и попала острой частью... проткнула... и вытащила. Засмеялась так громко-громко.

- Девочка...

Аглая закрыла лицо руками.

- Она сказала мне уходить... сказала, что ошибалась, что нельзя позволить заразе и дальше... надо, чтобы дом сгорел. Весь. Она вытащила полено из камина. И второе... я сидела тихо-тихо. Было так страшно, потом она вдруг споткнулась и упала. Огонь же пополз... я смотрела на него. Надо было уходить, а я сидела и смотрела. Пока не появились вы...

- Я опоздал.

Аглая покачала головой.

- Вы пришли вовремя. Как понимаю, тогда температура поднялась достаточно высоко, чтобы убить возбудителя. Поэтому вы не заразились. А я... мне или повезло, или у него действительно получилось.

- Повезло, - жестко отрезала Властимира.

- Да, бабушка... я тоже так думаю.

- Я сжег поместье. Потом уже и вашу лабораторию. Всю. Закрытую библиотеку тоже. Я опасался, что если пришлют кого расследовать, то...

Суд.

Слухи, которых не избежать, и самого чудовищного свойства. Хотя что может быть чудовищнее-то? Вообразить сложно. А стало быть, гибель рода, репутацию которого не восстановить после такого-то... Что было бы с нею?

Заступился бы Александр? Несомненно.

Он не из тех, кто бросает своих, а Властимира давно уж стала близка, но ему и без того приходилось тяжело. А неподсудные Одовецкие вполне могли бы стать причиной нового бунта.

- Спасибо, - ей с трудом удалось разлепить губы, чтобы произнести одно это слово. И рука, стиснувшая плечо, показала: ждали. А еще Властимира склонила голову, прижалась к этой руке, зажмурилась, слезы сглатывая.

За что они так... с нею?

С людьми? Вечное искушение, которому и без того сложно противостоять. Ей ли не знать? Когда сила бурлит, когда кажется, что одним движением руки ты способна изменить мир, и это недалеко от правды. Так просто вообразить себя если не Господом, то всяко ангелом его.

А дальше...

Позволить одно. И другое. И, убедившись, что все верно, все правильно, решить, будто ты отныне и всегда прав. Во всем.

А уж призрак живой воды, способной исцелить любую болезнь, многих довел до безумия.

- Бабушка, - Аглая встала, тронула одной рукой нитку жемчуга. - Я, наверное, пойду, да? Я... мне надо к одному человеку заглянуть, а ты не думай. Просто не думай. Нам с тобой повезло и...

И еще как повезло.

Дубыня, мрачный, неповоротливый, тоже уходит, двигаясь при всей неповоротливости своей тихо, что кот.

- Почему раньше не сказали?

- Сперва разбирались. Мальчишка же. Хотел выяснить, что да как... твой зятек не сам же грязную работу делал. Стало быть, имелись люди. А те люди знали, чего им знать не велено было. Да еще слушок пошел, что только вашей кровью остановить заразу можно, что, мол, госпожа собой пожертвовала... Она-то пожертвовала, а ты и Аглая остались. Понимаешь?

Еще как.

Люди... они люди. И в слабости своей тоже. А страх их вовсе меняет, и вот уже призрачная надежда излечиться самому или спасти кого-то близкого...

- Потому и охраняли вас, пока все не обляжется.

- А я сбежала...

- Сбежала, - подтвердил Довгарт. - Недалеко, правда...

- Следил?

- Приглядывал.

- Почему?

- Ты бы ответов искать стала. Да и не верила... расскажи бы мы про твоего зятя, про дочку, неужто поверила бы? Тем паче что поместье Дубынюшка старательно вычистил. И свидетелей, кто и вправду мог чего сказать... хотя тут зараза сама постаралась.

Тишина.

И птичек за окном слышать. Соловьи, чтоб их. На севере соловьи тоже поют, ночами. Наверняка все еще поют, хотя годы прошли, а розарий, матушкой созданный, захирел. Но птицам-то что до забот человеческих.

- Мог бы и написать.

- Чтоб ты еще дальше сбежала?

- А сюда...

- Как сказали, что собираешься, то и я решил: давненько при дворе не показывался. И вообще... у меня, между прочим, внучка имеется. Мужа ей подыскать надобно. Только ж разве позволит? Вся в батьку. Упрямая и дурковатая.

- Не грехи на девочку...

- Я не грешу. Я горжусь.

- Сядь уже, в ногах правды нет.

- А где она есть? - Но совета Довгарт послушался, сел рядышком и за руку взял, погладил пальцы. Спросил: - Вернешься?

Ей бы ответить, что всенепременно, но... куда? Как?

Вновь взглянуть на пепелище? Пусть расчищенное, пусть прикрытое ковром травяным и почти даже на пепелище собственно не похожее? Пересчитать молоденькие березки, которые на нем выросли? И постановить... возродить усадьбу?

Или же, напротив, бросить, как оно есть, и отстроить новую?

Но все равно там все будет как прежде. И не так, как прежде, одновременно. И она, глядя на разросшийся, забуявший черемуховый куст, станет гадать, почему ей в голову не пришло, что...

- Не знаю... - она погладила морщинистую руку. - Я... и хочу, и боюсь. Там все... напоминать станет.

- Станет, - согласился Довгарт. - Если за прошлым вздохнуть, то всенепременно станет.

- А что еще делать?

- Дело.

- Какое?

Таровицкий подбородок почесал. Щетина пробилась. У него она всегда быстро отрастала, отчего он злился, потому как бороды в то время уже вышли из моды. Правда, после опять вошли и снова вышли.

- Мне тут предложили, точнее, поручили... не только мне... в общем, тут кто-то сильно умный посчитал, что магов в империи больше, чем мест в университете. И не дело это, когда одаренные люди вместо службы императору дурью маются да в заговоры лезут. Они-то университет расширят, само собой, но понимаешь же, что ширить его сильно некуда. Вот и пришла мысль, что второй нужен... под императорскую руку чтобы. А где я и где университет?

- Справишься.

От него пахло лесом. Светлым бором сосновым, в котором ветер гуляет. И да, ей бы хотелось вернуться... к этому вот бору. К солнцу, что, пробираясь сквозь колючий покров, разливается по сухим мхам. Тронуть тяжелую смолистую кору, липкую на жару.

Вдохнуть запах. Снять ягоду черники или...

- Если сможешь, справлюсь.

- А если нет?

- Поможешь, - уверенно сказал Довгарт. - Куда ж ты денешься. У меня, между прочим, сердце слабое. За мною постоянный пригляд нужен, чтоб целитель хороший, а то прислали каких-то девиц... юбки короткие, губы намалеваны. Срам, а не целительницы!

- Куда прислали?

- Ко мне. - А глаза смеются. - Приглядывать.

- Я им пригляжу, - пообещала Властимира и поднялась, на руку опираясь. - Так пригляжу... я смотрю, тут вообще думают, что если дар есть, то и учить не надобно, само приложится...

- Вот и поучишь.

А солнце там жаркое, даром что лето короче крыла мушиного. Но такого Властимира нигде не встречала...

- Будешь этим... как его... деканом целительского факультета.

- Я?

- А кого мне еще брать? В Арсиноре небось своего не отпустят. Они и тебя хотели звать. Преподавателем. Но я сказал им, что шиш. У них своих хватает, а мне ты нужней.

- В университете?

- В жизни.

Сказал спокойно. Ровно.

И наверное, ему можно верить. Наверное, он не обидит. Только сердце беспокойное - после инфаркта, между прочим, покой нужен - сжалось тревожно.

- Я не буду тебя торопить, - он вновь все понял и - диво дивное - не обиделся. Верно, с годами и огонь горит спокойней. - Только и ты не убегай больше. Ладно?

- Не стану, - пообещала Властимира.

Да и куда ей?

Если от солнца, северного короткого лета и этого невозможного мужчины. У него, между прочим, кусок души Властимириной, а потому приглядывать стоит, пока и вправду не прилипли к этому куску какие-нибудь девицы в коротких юбках и с на помаженными губами.

И вправду срам.

Глава 36

Лизавета просыпалась. И засыпала.

Она открывала глаза, видела над собою лица, но удержаться среди них не могла. Сон тянул ее, и она падала-падала, только затем, чтобы вновь очнуться и открыть глаза.

Тетушка с вязанием.

Спицы касаются друг друга и щелкают едва слышно. И тянется нить от розового клубочка, переплетается узором. Шапка будет? Шарф? Неважно.

Сестры.

Сидят на постели и ругаются, но шепотом, прилично. Шарф несвязанный делают? Или что-то важное? А ведь Ульянка не о шарфах думать должна. Ей пора к учебе готовиться, повторить хотя бы основное, чтобы...

Князь Навойский. Хмурый такой. Сразу просыпаться стало страшно. И захотелось успокоить в то же время: какие бы заботы ни терзали его, все пройдет. Тетушка так говорила и... права была.

Пройдет. Все.

Снова пустота. Голоса.

- Почему она не приходит в себя? - это вновь Димитрий. И сердится, сердится. Право слово, нельзя же постоянно быть жизнью недовольным? Это дурно на пищеварении сказывается, все о том твердят.

- Не знаю, - от Одовецкой пахнет полынью.

И она красивая.

Куда красивей Лизаветы. А еще родовита, богата и вообще...

- Физически она совершенно здорова. Душа ее тоже на месте, только... что-то не ладится. А целовать пробовали?

Это она Навойскому советует? Вот уж удружила... с такими подругами и врагов не надо. Где это видано, чтобы умирающих против воли целовали?

- Ее душа слишком долго была вовне, - этот голос Лизавете незнаком. Он мягкий и теплый, как матушкина лисья шуба. И Лизавета щурится, вспоминая, как некогда с сестрами пряталась под этой шубой. На печи.

Горячо.

Огонь шумит, печь потрескивает. Сестры копошатся, шепчутся о чем-то...

Возвращаться надо, только неохота.

- Ей непросто будет привыкнуть к телу наново.

- Но она не уйдет?

А Навойский беспокоен. Чего он так переживает? Никуда Лизавета не уйдет. Как идти, если ей и шевелиться-то лень.

- Здесь я не волен. Я могу, конечно, привязать душу к телу, но это... не лучший выход. Она сама должна решить.

Что? Лизавета не хочет.

Ей тепло и уютно. И она вновь проваливается в сон.

- Рыжая, - Навойский рядом. Разве позволительно, чтобы мужчина в девичью постель залез, да еще и с ногами. Лизавета надеялась, что он хотя бы сапоги снял. С сапогами оно как-то вовсе уж... неправильно. - Рыжая, открой глаза.

Она бы с радостью, хотя бы для того, чтобы высказаться. У него, может, страсть сердечная или как там в книгах пишут, а у Лизаветы репутация, пускай и старой девы, но это ж еще не повод в постель вот так забираться. Хотя... с Навойским как-то оно спокойней.

И сон отпускает. Почти.

- Не откроешь, я тебя поцелую.

Угрожает?

Невежливо-то как... и вообще... неужели ее, Лизавету, нельзя поцеловать вот просто так, чтобы без угроз и замужа, в который она, может, и сходила бы, если бы с князем, но это же очевидно, что говорил он тогда без полного понимания ситуации. А если с полным, то получается, что замуж Лизавете за князя никак нельзя.

Но он все же поцеловал. Наглец какой.

А сил проснуться и высказать все не осталось.

- Я, конечно, мало что понимаю... - Таровицкая ходила по комнате. Лизавета не видела ее, но каблучки постукивали, особенно если по паркету. Вот когда она на ковер наступала, тогда получалось глуше, тяжелей. - Но вот все-таки пора бы тебе и честь знать... Аглая говорит, что дело исключительно в твоём желании, а еще уверена, что ты нас слышишь.

Не всегда.

Но Таровицкую Лизавета слушала. И даже представила ее себе, такую вот хрупкую и распрекрасную... И отчего-то стало неприятно. Сама-то Лизавета небось в постелях далека от прекрасной. Лежит себе и чахнет. А ну как Навойский увидит разницу?

Всене непременно увидит.

- У меня... как-то так получилось, что подруг не было... откуда им взяться? Нет, в детстве с дворней играла, но потом... какая дружба, когда один над другим стоит? Чужь, а не... меня в пансион отправили на год, но я домой запросилась. Там тоска такая, что не рассказать. Да и другие... говорили, что это я в провинциях своих одичала, только... пусть так. Не хотела я становиться щебечущим ничтожеством, у меня маменька знаешь какая? Маг, огневик, она и воевала, и на Былинском шляхе стояла, когда войска Вышныты откатывались. Там люди били друг друга, не разбирая, друг или враг... рассказывать о том не любит, да и папенька ее воевать не пускает. Правда, она его не больно-то спрашивает. Когда ругаются, то страх просто, но любят друг друга. По-настоящему любят. И потому я тоже хочу, чтобы меня любили... и завидую.

Кому?

А что Таровицкую полюбят, у Лизаветы ни малейших сомнений нет. Она же... она вон какая, что солнце ожившее. И не только потому, что красива.

- Я и сюда поехала с надеждой, а тут одни пустобрехи... пара нормальных мужиков, но одного Авдотья прибрала. Я к нему и соваться побоюсь, чтоб пулю в лоб не получить. Второй за тобою надыхаться не способен. А ты носом крутишь.

Лизавета не крутит.

Она просто лежит себе. Тихонечко. Под одеялом. Потому что... потому что даже под ним вдруг становится холодно. И холод этот заставляет дрожать.

- Что? Я не то сказать хотела, я просто... мы, наверное, не подруги еще... так пока, приятельницы, хотя все будет, если выживешь.

Холод сидел в пальцах. Он и пробирался выше, захватывая Лизаветино тело. Вот уже и пальцев этих она не ощущает, и ног самих, только сердце заколотилось бешено.

- Лиза? - в голосе Таровицкой испуг слышится. - Аглая! Тут что-то не так! Аглая...

А кричит-то она так, что и холод замирает.

- С нею что-то... губы посинели.

- Остывает! - руки Одовецкой ложатся на грудь и давят, давят. - Тело отказывает...

У кого? Зачем?

Или у Лизаветы? Неправда! Она... она не хочет возвращаться в заснеженный мертвый мир, не хочет примерять волчью шкуру. Или уходить дальше, в рай ли, которого Лизавета точно не заслужила - мстящим не положен рай, в пекло ли... в пекло хочется еще меньше, но там, во всяком случае, тепло должно быть. Авось Лизавета и согреется.

Нет. Жить. Она хочет жить.

Здесь и сейчас. С Навойским ли, с дюжиною ли кошек и вязанием, которому тетушка обучит с превеликой охотой, но главное, что жить. Была бы жизнь, и Лизавета разберется.

- Сила в нее уходит, что в прорву, - пожаловалась Одовецкая, а Лизавета ощутила не только прикосновение, но и запах ее, травянисто-терпкий, аптечный. - Помоги... если лед, то огонь нужен.

- Огня я вам дам с превеликой охотой, - Таровицкая пахла камином.

Раскаленным металлом решетки. Дровами.

Смолой и самую малость пеплом. Сила ее, горячая, закружила, завьюжила. Заплясали внутри Лизаветы злые огненные мошки, и ноги вернулись, и пальцы занемевшие.

Еще немного, и она сумеет глаза открыть.

Не ради Навойского - он смирится. Все теряют и все смиряются.

И не ради тетушки с сестрами - они больше не будут нуждаться.

Не для Аглаи или Таровицкой - у этих двоих куда больше общего, чем они думают.

Для себя самой.

Надо сделать вдох. Всего-навсего один лишь вдох... и выдох... и вновь вдох, несмотря на то что огонь жжется. И Лизавета, кажется, того и гляди захлебнется им. Ничего, выдюжит, сумеет, она будет дышать.

- Вот так, ровнее... сумеешь еще?

Огня на той стороне нет, он - дитя нынешнего мира, и капризное, не всякий угодит. Лизавету вот кусает, будто собака, которая к кости свежей примеряется.

- Конечно... а дома из меня целитель так себе был...

- Он и сейчас так себе. Но это у всех огневики. Исцеление прежде всего операции с тонкими структурами, а вы стихийно...

- Не умничай.

- Извини.

Дышать становилось легче, а руки наливались неприятной тяжестью, будто изнутри их чем-то набили, мокрым и мягким. И ноги такие же. В глазах жжется, во рту сухо, и уют сонный отступает.

- Значит, ты остаешься?

Зато Лизавета почти видит.

Тень, рыжими искрами облепленная, - это Таровицкая. От ее рук протянулись огненные хлысты, которые опутали другую тень и, оплетенные тонкими нитями - небось целительские заклятья, - устремились к Лизавете.

- Похоже на то... мне при дворе предложили место, но я в императорский госпиталь заявку подала, там интересней будет.

- А я... в гвардию, - призналась Таровицкая. А Лизавета лишь укоризненно покачала головой. Куда ей в гвардию-то? Она себя в зеркале видела? Там же ж одна половина другую на дуэлях поубивает, а Таровицкая оставшихся пришибет за дурость. Это не служба будет, а одна сплошная диверсия. - Папенька, правда, злился крепко...

- И правильно делал.

- Тоже думаешь, что мне там не место? - А вот когда огневик злится, огонь белеет и становится злее. - Что надо найти мужа, нарожать детей и уже пусть они в гвардию...

- Я думаю, что тебе там нелегко будет.

- Знаю. Но ведь служат женщины! Моя мать, и не только она... Огневики на границе нужны. И...

- И это твоя жизнь, - Одовецкая убрала руки. - Кажется, стабилизировалась. Но все равно не нравится мне это. Не говори Навойскому, но... есть правило, что чем дольше человек вот так... на

границы, тем меньше шансов, что он вернется. Захочет вернуться.

- Не скажу.

Таровицкая все еще горела.

- Я... - она отошла, кажется, к окну. Или это просто светлое пятно на темном? Надо бы глаза открыть, ведь у Лизаветы почти уже получилось. Только зря они силу убрали. - Я придумала одну штуку... я... мамину фамилию возьму.

- А лицо тоже другое?

- Именно. Если... если волосы обрезать и перекрасить, скажем, на темный цвет. Немного подправить линию бровей... это не сложно, есть косметические заклатья длительного действия...

- Здоровья они тебе не прибавят.

- Понимаю.

От Одовецкой по-прежнему пахнет аптекою. А Лизавета сумела-таки глаз открыть, правда, один и многого это не дало, поскольку смотреть им было слишком светло и больно, но Лизавета смотрела.

- Знаешь, быть может, я и ошибаюсь, но... тут на меня смотрят, как на этакий цветочек, которому в оранжерее самое место. Почему-то вот Авдотье никто не рискнет сказать, что не бабское это дело с револьверами носиться...

- Потому что никто этим револьвером по носу получить не желает.

Одовецкая виделась расплывчатым зеленым пятном.

- Если бы тоже каждого шутника огнем угощала, и тебя бы не тронули... - Одовецкая забралась на подоконник. - Если решишь что-то менять, то надо будет здесь поработать. Надбровные дуги сделаем потяжелее, тогда глаза будут казаться запавшими. И переносицу чуть пошире. Щеки... пухлости добавить?

- Поможешь, стало быть?

И второй глаз открылся. Света стало еще больше, аж зубы заломило от избытка его.

- Уж лучше я, чем пойдешь к какому недоучке. Бабушка говорит, что нынешние целители - это ужас тихий. Что уровень образования упал ниже некуда и... А подбородок квадратным сделаем. Никто не посмеет спорить с женщиной, у которой подбородок квадратный. Ты хотя бы в мужчину преобразаться не станешь?

- Зачем? - искренне удивилась Таровицкая.

Свет собирался пятнами на потолке. Белыми. Желтыми. Главное, пятен было много и они суетились, толкались.

- Откуда я знаю? Мало ли... Шею трогать не будем. Слишком опасно. Да и дальше... просто одежду помешковатей.

- Знаю.

- И если вдруг что не так, то ко мне, ясно?

- Ясно.

Пятна исчезли, а потолок остался. Белый. С лепниной, правда, какой-то размытой слегка, то ли цветочки, то ли ангелочки. И Лизавета разглядывала их, а еще краем глаза окно с Таровицкой, которая на подоконнике сидела и ножкой помахивала.

И Одовецкая тоже сидела. И тоже ножкой помахивала.

И до того мирными они гляделись, до того родными, что Лизавета не выдержала и расплакалась.

Уже потом, когда ее заметили, после вздохов и объятий.

После горькой воды, сдобренной травами, и сладкого молока, от которого Лизавету потянуло в сон, но спать ей не позволили. После ванны и растираний, вновь же травяных и с резким запахом, ей позволено было сесть. И она даже сидела почти сама, обложенная подушками, нелепая в беспомощности этой.

И тетушка плакала. Сестры тоже плакали.

И Руслана с ними... а вот Навойский не плакал. И когда он появился, все-то затихли, замерли. Надо же, тетушка на него смотрит с какою надеждой, неужели успел проговориться о плане своем коварном? Поспешил найти союзника... тетушка костями ляжет, но не позволит Лизавете упустить столь выгодную партию. Только ведь Навойский не партия.

Он человек.

И, как все люди, может ошибиться, а Лизавета не хочет становиться его ошибкой, потому что... потому что будет больно, а она устала от боли.

- Не стану спрашивать, о чем ты думала, - сказал Навойский.

И в комнате вдруг стало пусто.

- Я не думала.

- В это охотно поверю.

- Сердишься?

Он плохо выглядит. Похудел. Вон костюм, уже не тот потрепанный, нехороший, который он в чиновничьем обличе носил, складками собрался. И рубашка несвежая. И под глазами мешки, а в волосах седина появилась. Это неправильно, он ведь не старый.

- Сержусь, - сказал Димитрий, присаживаясь рядом. За руку взял. Погладил осторожно, будто бы рука эта хрустальная. - Еще как сержусь. Мне стоило тебя сразу отослать, когда понял, что здесь творится. А я, дурак, играть полез. Заигрался.

- Не ты один.

- Нас это не извиняет, - он коснулся ее пальцев губами. - Холодные какие... ты знаешь, что тебе пока спать нельзя? Одной, во всяком случае.

- Не знаю.

- Вот теперь знаешь.

И сапоги скинул, залез в постель, велел:

- Подвинься.

- Ты собрался... спать? Здесь?!

Навойский кивнул и сгреб Лизавету в охапку, сказал на ухо:

- Я сказал твоей тетке, что ты моя невеста...

Теперь только бежать, в том числе и от тетки. И лучше, если за границу.

- По-моему, она обрадовалась...

Еще бы... правда, за границей Лизавету не ждут.

- И ноги у тебя тоже холодные. Когда я тебя нашел, то решил, что ты умерла. Среди мертвых и нашел, когда купол сняли и все закончилось. Я... я искал. А ты у стеночки, с теми, кого... Знаешь, я не хочу вновь пережить то же, что и тогда.

А вот у него ладони горячие.

- Мне щекотно!

- Сиди спокойно... я тогда сам умер. Я так и решил, что дело доведу, найду тех, кто... а потом пулю себе... и все... глядишь, на том свете и встретились бы.

- Ты...

- Дурак, да? Это Одовецкая сказала, что ты дышишь, а Святозар про душу... и что ее вернуть надо, только как, он не знает, он умеет призывать мертвецов. И свяга отказалась. Сказала, что туда, где ты, ей ходу нет. Если бы чистая кровь, она бы попробовала, но полукровке тропа не откроется. А потом душа вернулась. Я видел. Ты открыла глаза. Ты улыбнулась. Ты сказала мне... и провалилась в сон.

- Сколько я?..

- Спала? Да уже месяц почитай...

Месяц? Так не бывает, чтобы месяц, чтобы...

- Я уже тебя целовал и целовал, а ты не просыпалась.

- Плохо старался, - буркнула Лизавета.

- Хорошо старался! Но приличия мешали.

Что-то сейчас они ему не больно-то мешают. Обнял еще, завернув в одеяло, что в кулек. И хоть ты плачь, хоть ты смейся, но...

И вправду легче.

Сердце бьется ровнее, и на душе спокойно-преспокойно, будто эти самые объятия способны защитить Лизавету от целого мира. А если самой подвинуться ближе, хотя двигаться все-таки тяжело, и голову на плече пристроить, то и того лучше...

- Я с Ламановой говорил, она сама за платье возьмется.

- Какое?

- Свадебное.

- Я еще не согласилась, между прочим!

- Куда ж ты теперь денешься? Кошку я тоже присмотрел. Полосатую. Или ты другую хотела?

Кошку?

Почему бы и нет, если полосатую. Да и какая разница, полоски на ней или там узоры цветочные, главное, чтобы мягкая и мурлыкала.

- Что тут... много погибло?

- Много, - Дмитрий помрачнел разом. - Мы ждали удара. И защиту готовили. И все же надеялись, что не бал... сама понимаешь, дебютанток не спрячешь. Девочек семь. Еще одна останется калекой, и тут даже не знаешь, что хуже. Из магов многие... твой Вольтеровский до последнего барьер держал, защищая девчонок и жену...

- Она...

- Перепугалась только, но живая.

Почему-то это показалось Лизавете несправедливым.

- Ходатайствует, чтобы сына вернули ко двору и еще наградили.

- За что?!

- За дела отцовские. Его, в смысле Вольтеровского, действительно наградят. Благодаря ему многие живыми остались, а с сыном... поглядим, что там за чудо, - и князь Навойский нехорошо так улыбнулся. Сразу отчего-то вспомнилось, что в большинстве своем люди полагали его человеком жестоким. - Если вдруг, то мне всякого рода люди нужны...

Лизавета вздохнула. Девочек жаль. И не только. Всех, кто погиб, защищая...

- Напишешь? - спросил Дмитрий.

- О чем?

- О Вольтеровском... только честно если. Или вот поручик Святский еще... на редкость безголовый парень был, а туда же, когда балкон рушиться стал, он камни силой скрепил, чтобы люди смогли уйти. Не на всех хватило, однако держал, пока мог. А его в спину и огнем... почти ничего от тела не осталось. Княгиня Северцева... у нас многие ее крепко недолюбливали. Умудрилась под фикжмами...

- Фижмами?

- У княгини собственные представления о красоте. Были. Она принесла два револьвера... семерых забрала с собой. Револьверы оказались... особенными. Ей голову снесли... Так напишешь?

- О бое?

- О людях. Вязельские... древний, почтенный род, гордились весьма, а нынешний глава среди дебютанток спрятался. Он все выбрать не мог, к кому примкнуть, потому и ждал. За трусость его, конечно, не похвалят, но...

Напишет.

Об этом и еще о другом, потому как погибли не только боевики, которых сражаться готовили, но и люди совершенно случайные, которые и вправду шли на бал.

- А еще газетой заниматься надо...

- Какой?

- Обыкновенной... - Димитрий потерял носом о Лизаветину шею. - Правдивой. Чтобы об империи. И вообще обо всем... хорошем и не очень. Ты же хотела писать? Вот и пиши. В свою газету оно как-то сподручней...

Может, оно и так, но что люди скажут?

С другой стороны, они все равно что-нибудь да скажут, и навряд ли доброе, стало быть, стоит ли думать про людей? Тем более она ведь сама хочет.

И газету. И кошку. И семью тоже, чтобы...

Лизавета закрыла глаза. Завтра она поговорит с Навойским серьезно, он ведь должен понимать, что у них нет будущего. Но это завтра. А сегодня можно и помечтать, представив, как оно будет. И даже не о газете, хотя Навойскому кажется, что держать газету просто. Это же работы столько, что и думать не хочется. А раз не хочется, то и не будет.

Лизавета о другом.

О доме, чтобы светлый и с теплыми полами, по которым можно ходить босиком. В нем бы пахло деревом и еще травами.

Солнце. Паркет.

Пианино... она играть не умеет, но в каждом приличном доме должно быть пианино. Или на худой конец рояль. Лучше белый. На него вазу с цветами поставить можно для пушией красоты.

Она представит и эту вазу - тетушка скажет, что это сущее варварство, полировку рояльную вазами портить, - и букет полевых цветов. Вязанные салфеточки, пускай безнадежно провинциальные, но милые.

Кошку на подоконнике. Себя.

И Навойского. В мечтах ему быть можно. С газетой вот и в домашнем простом костюме, даже в тапочках на босу ногу.

Она представит и завтрак... или обед? Ужин?

Не важно, главное, что вдвоем и... они бы говорили. Может, про театр. Или вот про перемены на южных границах, которые сулят то ли войну, то ли наоборот даже, потому как новый паша поглядывает на Запад благосклонно, а вот советники его...

Про людей. Разных. И про себя тоже...

Она заснула, провалившись в этот мягкий, уютный до невозможности сон, в котором все было настолько правильно, что выбираться из него не хотелось. А проснувшись уже ближе к полудню, долго сидела перед зеркалом, не столько собственное отражение разглядывая - а было оно не слишком хорошо, - сколько улыбаясь каким-то своим потаенным мыслям.

В конце концов, если просто попробовать.

И у старых дев есть махонький шанс на счастье...

Глава 37

Ее императорское величество открыла глаза.

Тело было привычно слабым, но вместе с тем удивительно легким. Она попыталась сесть, коснувшись чего-то, что осыпалось прахом.

Золото?

Золото покрывало пол панцирем полновесных монет. Золотые цепочки змейками опутали руки. Золотые браслеты сковали запястья, правда, ненадолго, стоило коснуться, и вновь же стали прахом. Золото уходило.

Умирало, отдав силы той, кому они были нужнее.

Веревия покачала головой: вот, стало быть, как... и кто догадался? А ей бы самой подумать, что ранний оборот ни к чему хорошему не приведет. Но нет, опять понадеялась, что родовых сил хватит.

Босая нога коснулась пола, и вновь золотые монеты истаяли.

Надо будет убратся, вымести прах.

Императрица шла осторожно. Человеческое тело было слишком хрупким. Веревия изнывала от желания обратиться, вернуться к истинной своей сути. Это ведь легко? Теперь, когда тело свежее, не застывшее пока. Стоит лишь пожелать, и нелепые палочки, на которых люди с трудом удерживаются на весу, станут надежным и крепким хвостом. Тонкая кожа покроется чешуей, а глаза... глаза, перед которыми все плывет, станут видеть нормально.

И разве стоит оно? Носить, терпеть неудобный этот облик. Чего ради?

- Брысь, - сказала императрица мыслям и провела ладонью по коротким волосам. Острые иголки кольнули руку. Ничего, и года не пройдет, как волосы отрастут до плеч, а там еще пара лет - и ляжет на голову знакомая тяжесть.

И вовсе это тело не неудобное. Непривычное.

Не приспособленное к земле. Но так люди под нее и не лезут.

Она поискала взглядом одежду, но... та тоже обратилась прахом. Вот ведь... и что делать? Сидеть? Ждать, пока кто додумается ее проведать? Так холодно как-то, а возвращаться в подобном виде... сраму не оберешься. Правда, стыд - людская придумка, ну так с ними Веревии еще жить не один год.

- Именно, - сказала она, коснувшись ладонью стены.

Камень обиженно молчал. Что, выпила силы? Ей нужны были... линька - дело серьезное. И сам Великий Полоз ее не избежал. Мало кто знает, что раз в сотню лет он опускается под землю и замирает на год... целый год у них был, чтобы сбежать и спрятаться.

Камень все же откликнулся. Слабо. Робко.

Пускай.

Веревия толкнула дверь, и та просто упала. Железные засовы истлели, а вот дерево уцелело. И то верно, над живым у нее сил нет.

Оказавшись в коридоре, она вновь прижала руку к стене. Ничего.

Это ж насколько плохо ей было, если она столько выпила?

Явный отклик она ощутила уже после третьего поворота. А вот и жила, слабенькая, замершая в испуге. Нет, ее Веревия трогать не станет, ей будет мало, но ту, которая дальше свилась змеею, позовет. Потянет из нее серебряную нить.

Сперва нить, а после...

Для кого бы другого одеяние это из ожившего вдруг серебра показалось неудобным, тяжелым, а вот ее императорское величество тяжести этой не ощутила.

Александр ждал на ступенях. Сидел. Держал в руках полупрозрачные тувельки и заговоренную флягу с горячим чаем.

- С возвращением, - сказал он, протягивая туфельки.

- С возвращением, - эхом отозвалась Веревия. Голос ее звучал непривычно глухо, и она закашлялась, вытерла губы ладонью. - Прости...

- Все хорошо?

А у него седины прибавилось. И морщин тоже. Она коснулась лба, отодвинула прядку волос.

- Да как сказать. Могло быть и хуже.

- А могло и лучше?

- Не уверен...

Туфельки были легкие, атласные, украшенные россыпью мелких алмазов. И камни вспыхнули, стоило коснуться их. Потемнели. Налились светом.

- Ты золото принес?

- Одовецкая подсказала... - Александр коснулся серебряного платья, и то потянулось за царской рукой, будто выпрашивая ласку. - Я боялся, что ты не вернешься... звал, звал, а ты...

- Я не слышала.

- Знаю.

- Я вернулась.

- И это хорошо...

- В казне осталось хоть что-нибудь?

- Камни. Камней у нас много, да и... возьмем заем, если что. На пару годочков.

Она присела рядом на ледяную ступеньку, взяла флягу и глотнула нестерпимо сладкого чая. Зажмурилась.

- Лешек?

- Жив. И цел. Анна твоя тоже... Керненского задела, но уже идет на поправку. Я ему, дураку этакому, говорил, что военных у меня хватает, а грамотного советника пойди-ка поищи, но как же в стороне, когда жена в самое пекло лезет. Может, ей орден дать?

- И орден тоже, - ее императорское величество улыбнулась. И спросила: - Ты принес, что просила?

Александр протянул простую аптекарскую склянку, наполненную водой. Он уже видел, как это бывает. Вот жена, в которой ныне еще было слишком много нечеловеческого, чтобы рискнуть показаться людям, берет пузырек в руки.

Подносит к губам, будто собираясь сделать глоток. Вздыхает.

И вздох ее заставляет воду полыхнуть алым. Белым. Синим.

Она обретает какой-то едва уловимый глазом жемчужный отблеск.

- И кому?

Он помнил вкус этой воды, горьковатый, вязкий, прилипший к языку надолго. И казалось, он уже никогда не избавится от этой горечи.

Помнил боль.

Тело, которое будто раскалывалось на куски, чтобы они вновь срослись, сцепились. Помнил ласковый шепот: надо потерпеть, и станет лучше. Надо... подождать, потому что и живая вода не способна сотворить чудо во мгновение ока.

И вправду после стало легче.

Он изменился.

Нет, никто, даже самый лучший целитель, не уловил бы перемен, но... Александр стал меньше уставать. Отступили головные боли, мучившие его с юных лет, несмотря на усилия Одовецкой. И

сердце заработало спокойней, ровнее.

Он легче переносил голод. И жажду.

Он почти не ощущал боли. И получил способность неделями обходиться без сна. Он меньше уставал. Он... жил.

И знал, что проживет еще долго.

- Ей хочется детей, - ее императорское величество осторожно закрыла пузырек. - Однако ваши целители оказались бессильны. Возможно, мне удастся помочь.

Александр кивнул.

Живая вода, дар земли, за который многие готовы были бы... что? Убить? Умереть? Перевернуть мир?

Пузырек исчез в складках серебристого наряда.

- Лешек?

- Пока в смятении. Я его понимаю и... не знаю. Пусть решает сам.

Веревия склонила голову. В голосе мужа звучало редкое для него раздражение.

- Что? Мне эта девица не нравится. И вашим, и нашим... и там ей жалко, тут у нее вдруг любовь. И камни эти... вдруг она не любовь все-таки? Я бы ее сослал куда-нибудь, но Лешек обидится. Я бы вот обиделся, если бы родители тебя сослали.

- А они...

- Мать, возможно, постаралась бы сделать вид, что ничего-то особенного не происходит. Но тебя бы мучила, переделывая в человека. А вот отец, он никогда не умел притворяться. Сослал бы и тебя, и меня а и возможно, и вовсе бы отрекся. Хотя почему... мы, если разобраться, тоже не совсем и люди.

Он поцеловал раскрытую белую ладонь, на которой еще проступал узор чешуи.

- Так что пусть Лешек сам думает... в конце концов, ему с ней жить.

И Веревия кивнула.

В этой пещере горели свечи. Обыкновенные, восковые, из старых дворцовых запасов, удивительным образом почти иссякших, несмотря на то что, согласно регламенту, пополнялись они с завидной регулярностью. Расходные книги, правда, пребывали в полном порядке, но Лешек не сомневался, что порядок этот исключительно внешний.

- Вот, все распрекраснейше, - кланяясь, говорила старушка благообразного виду, только глаза ее посверкивали в полутьме. - Давеча выдано с полдюжины лакею Гришке...

Она перечисляла, загибая пальцы, причитая, что расход велик, а приход наоборот даже. Фрейлины, пусть и в покоях их давно свет горит электрический, все одно свечи требуют, как оно заведено. И служанки их, и девки комнатные, и кто только...

- Понимаю, - Лешек выгреб из короба последнюю дюжину. Свечи были неровные, какие-то липкие и явно далеки от первого класса. - Вам тяжело приходится...

Старушка закивала, запричитала с новой силой.

Голосок ее звенел.

И гляделась она обыкновенною старушкой, безобидною и даже жалкой. Если не знать... Лешек предпочел бы не знать.

- Не переживайте, - сказал он, коснувшись морщинистой руки, и старушка замолчала, замерла, уставившись круглыми глазами. - Все еще наладится...

Она кивнула. Почувствовала?

Не должна бы... ладонь была мокрая, вспотевшая со страху. И значит, поры открыты. Яд попадет в кровь, а там... смерть будет долгой, мучительной, но жалости Лешек не испытывал. Она ведь тоже

не жалела тех девочек, которых продавала охотно, благо знала, кто из дворцовых будет интересен тому, особому, покупателю.

Что ж, доказательств у него нет, но смерти они и не нужны.

Лешек вытер пальцы об одежду. Нет, яд давно распался, повинуюсь воле змеевой, но было просто неприятно. А свечи... со свечами надо разобраться. Вот же... и тут воруют.

Совсем страх потеряли.

Он спускался быстрым шагом. И тьма привычно вздрагивала, отзывалась дремлющая сила, тянулась, будто примеряясь наново, хватит ли у Лешека сил теперь с нею справиться.

Хватит.

- Не шали, - говорил он, грозя пальцем, и сила отползала, расплывалась озером, в котором, сами того не ведая, тонули и дворец, и весь Арсинор.

Затягивались раны.

Кровь на камнях площадей давно уже отмыли. Убрали и помосты, и бочки. Заткнули крикунов, что верещали про конец света и дурные приметы. Отслужили молебны в церквах.

Выплатили компенсации семьям погибших. И про то написали в газетах, всю вину свалив на смутьянов.

Было... муторно.

И Лешек, погладив ластящуюся жилу, вздохнул. И сила вздохнула в ответ. Она видела и не такое, она могла бы рассказать о многом, ибо помнила куда более смутные, действительно кровавые годы. Но Лешек больше не хотел слушать о крови.

Он толкнул дверь, которая гляделась не дверью, а каменной стеной, частью которой, собственно говоря, и была. Небось кто другой, обыкновенной крови, прошел бы мимо, не заметивши. Изнутри пахнуло тленом и цветочным застоявшимся духом.

Надо будет букеты убрать.

И вообще, сущая это дурость, если разобраться, приходите сюда с цветами. Все одно не видит, а он... он расставил свечи взамен сгоревших. Поснимал нагар и оплывший воск, который свисал с подсвечников мягкими языками. Он зажег их, одну за другой, и проследил, чтобы огонь набрал силу.

Здесь, внизу, было мало воздуха и много магии, которая мешала свечам. И горели-то они неровно, беспокойно, то и дело приседали огоньки, будто норовя спрятаться в воске. Но потом поднимались, вытягиваясь рыжими нитями.

Свечи отражались в хрустальных гранях гроба.

И Лешек тоже отражался. Некрасиво.

Лицо вытянутое, какое-то совсем уж уродливое. Щеки расплылись, губы расплзлись, а подбородок, напротив, махонький, узенький. Шея вот предлинная торчит из круглых плеч, сразу под которыми живот шаром вывалился.

- Хорош, нечего сказать, - голос у Лешека в пещере и то получался некрасивым, будто приглушенным. - На ярмарке, слышал, такой возок ставят, с зеркалами, которые отлиты криво. И выходят люди что толстыми, что худыми. Смешно.

Она не ответила.

Да и с чего бы... Лешек коснулся руки, убеждаясь, что та по-прежнему каменная, ледяная. Пальчики белые, ногти розовые. Шрамик махонький у самой ладони. Поцарапалась, верно, в детстве до крови.

- Про тебя спрашивали... пока ты числишься в без вести пропавших. Семья деньги обещает тому, кто найти способен, не верят, что ты умерла.

Лицо, что маска, слишком уж правильное, слишком красивое, и Лешек любит. Он распрекрасно успел изучить его.

И родимое пятнышко над губой.

И еще один шрамик, почти спрятавшийся в брови. И саму бровь... мягкие робкие краски, которые все никак не желают уходить.

- Мне жаль, что пришлось им лгать, - Лешек прошелся по пещере, собирая сухие цветы, запах которых еще держался, будто и вправду в камень впитавшись. - Я... я бы сказал, честно, но тогда бы они потребовали тебя вернуть. А как я без тебя? Никак... вот то-то и оно. Я тот камень сперва выкинуть хотел. Не люблю вранья. Много чего не люблю. Пенки вот на молоке, хотя само молочко очень даже... и еще когда туфли натирают. Почему-то маменькин любимый мастер упрямо полагает, что у меня нога на размер меньше. И ведь всякий-то раз мерки снимает. Или не в размере дело? Главное, он даже тапочки, которые б не натирали, сшить не способен. А матушке жаловаться... как-то оно несолидно ябедничать.

Лешек сложил букеты у выхода.

Взялся за метлу, правда, сперва поплевал водой из бутылки. Вода успела не только отстояться, но и застояться, отчего во рту появился на редкость тошнотворный привкус.

- Вот же ж... о чем я? А, о лжи... и поверь, я бы в другом каком случае тебя бы вернул. Отдал бы родителям, а их сослал бы куда подальше... в смысле в имение, а не то, что ты подумала. Приказал бы не возвращаться, а то и замуж тебя выдал бы. На всякий случай.

Метла касалась пола с мерзопакостным скребущим звуком. И Лешек чихнул. Пыльно, однако... хоть ты позови кого. Но кого? Потом слухи пойдут... его и так, как Митька предсказывал, в народе Кровавым прозвали, будто бы он в смуте виновен.

- Но мне вот отчего-то тошно... как подумаю, что отдать тебя, прямо... - он руку поскреб. - В первый раз, когда папенька предложил, я едва не обернулся, хотя не должен был бы. Все ж змеевой крови во мне немного... хорошо, что мы с ним вдвоем сидели. Слухи мне без надобности. Вот совсем без надобности.

Она молчала. Лежала.

И молчала. Лишь губы кривились в улыбке, то ли виноватой, то ли издевательской. Слышит ли? Лешек надеялся, что слышит. Правда, и боялся этого тоже.

- Папенька говорит, что в таком случае я должен тебя вернуть. Поговорить. Разобраться. А мне страшно, - он взялся за метлу и прижал рукоять ко лбу. - Я знаю, что поступил дурно, что права не имел тебя поить, но ты бы умерла. А я не хотел тебя убивать. Знаешь, он сказал, что мы привязчивые, мой дурной кузен... если бы просто пришел... рассказал... мы бы нашли способ помочь. А так... что получилось, то получилось. С другой стороны, всех хорошо почистили... по тому списку, который ты отдала.

Он оставил метлу. И сел рядом, благо хрусталь спешно вырастил некое подобие лавки.

- Кого побойчее, тех еще в зале положили, эти бились насмерть. Во дворец гвардию притащили, наемников, собирались ударить в спину, даром что наши предупрежденные, но все равно без крови не вышло.

На кожу бледную отсветы ложатся. И свечи танцуют, выгибаются огоньки лебедями, мнится в танце теней нечто этакое, почти непотребное.

- А вот те, которые вроде бы и не при делах... Купец Войтеховский, даром что миллионщик, все прошение подавал, чтобы в титульные выйти, да только одних миллионов мало, тем паче держал он их при себе и особо в дела государственные не вкладывался. Ему и отказывали. Так решил, что если поможет наемников приветить, то и зачтется ему при новом-то государе... Эти, правда, в городе должны были панику поднять. Но наши успели их перехватить... Давеча Войтеховский крепко занемог. Говорят, лихорадка, целители не способны помочь. Печень отказывает и с почками неладно...

Глаза у Дарьи закрыты.

А все одно Лешек не способен отделаться от ощущения, что она следит за ним.

- Еще Пономарев... мелкий дворянчик, из тех, от которых шуму куда больше, чем пользы. Все кричал про права и вольности древние. Собрал таких же и кинул в бой. Эти полегли, а сам Пономарев, стало быть, не причастен. Теперь кричит, что он, дескать, герой, императора спас, собой заслонивши. Ордена требует и милостей. Орден мы ему вручили. Пускай. Вот только, видать, переволновался крепко человек, если после вручения слег. Еще Тупицын, он попросту тайны государственные бриттам сдавал, не за деньги, нет. Идеальный. Полагал идею абсолютной монархии себя изжившей. Очень надеялся на парламент и место при нем... Помер третьего дня. Говорят, сердце остановилось. Некролог ему в газете печатали. Дюже душевно получилось...

Их было не сказать чтобы и много. Лешек всех помнил.

Еще одного купца, желавшего лишь пожить на подпольной торговле оружием. И вовсе не купца, но человека мастерового, крепко на весь мир обиженного, если обустроил он тайную фабрику, где посадил студентов-недоучек амулеты делать.

Их было немного, верно.

Лешек всех запомнил, благо на память он никогда-то не жаловался. А запомнив, к иным сам в гости наведалься, другим подарок отправил. Третьи... на третьих и без Лешека умельцы нашлись. Того же Сапоцкого, решившего склады сотоварищей пограбить под шумок, на тех складах и закопали.

Что поделаешь, у любого дела свои издержки.

- Суды скоро начнутся, то есть одни уже идут, но будет больше. Митька уверен, что народ должен знать правду. Он порой такой наивный, даром что службу знает крепко, но что-то в его мыслях есть. Знать должен. И правду. Только правильную.

Лешек погладил каменную щеку.

- И с тобой я не знаю, что делать... понимаешь, отпустить тебя я не отпущу. Это уже понятно. А дальше как? Держать в камне? Это не то чтобы вовсе не возможно, но... я понимаю пределы человеческих сил. И не хочу, чтобы ты утратила разум. Здесь, верно, тоскливо. Я прихожу, когда могу, но сама понимаешь...

Понимает ли?

И не прокляла ли тот день, когда решила довериться, полагая, что после погибнет? Смерть, если подумать, это легко, закрыл глаза и ушел.

А вот заточение в камне... Третий месяц пошел.

Осень на дворе, и листья с кленов падают. Маменькины розы и те запечалились. Птицы вот улетают... и вообще тоскливо. Солнце почти не греет. Небо выцветшее. На душе серым-серо, а ведь даже дожди еще не начались.

Но ему погано, а ей, не способной шелохнуться? Запертой в собственном теле?

- Ненавидишь? - тихо спросил Лешек и, не дождавшись ответа, коснулся щеки. - Нам с тобою нелегко придется... Я думал, что верну тебя, поселю где-нибудь, сделаю своей. Не женой, нет... сестру мятежника в жены - это как-то чересчур. Да и камень мешает...

От нее по-прежнему пахло молочным нефритом. И это некогда изрядно выводило Лешека из равновесия. А после ничего, привык.

- А потом понял, что не будет в этом смысла ни малейшего. Я не хочу примерять Мономахову шапку, чтобы тебя вернуть. Но и простить... не за обман. За это я давно уже... все мы кому-то да врем, близким чаще, чем далеким. Однако те девочки, которые погибли... Их кровь на тебе.

Лешек вытянулся, запрокинул голову, касаясь кромки гроба, и продолжил:

- С другой стороны, и на мне самом столько крови, что как выдюжить. Я не имею права тебя обвинять. Но и простить пока не способен. Подожди немного, ладно? Еще месяц... дожди начнутся. Осень, она такая... матушка говорит, что дожди смывают все. Даже чужую кровь. И тогда... я тебя верну, и мы попробуем снова.

Свечи задрожали. И опали.

Правда, не погасли, нет, скорее уж напомнили, что Лешек задержался в престранном этом месте.

- А пока... - он положил на хрусталь ладони. - Я тебя усыплю, ладно? Когда спишь, время быстрее идет, по себе знаю. Поэтому пусть тебе приснится что-то да хорошее...

Например, дождь на окне. И треклятые розы, запах которых наконец отвяжется от Лешека.

Глава 38

В доме на Выборгской улице горел свет.

В последние недели он горел здесь всегда, и ночью, что еще можно было бы объяснить излишнею пугливостью хозяйки, только-только в себя пришедшей, и днем.

Горели новомодные электрические лампы, которых горничные, говоря по правде, боялись, потому как вдруг да треснет колба какая, и тогда всенепременно свет, в ней заключенный, расплескается. Горели свечи, что сальные, поплоче, которые ставили и в покоях поредевшей прислуги, что хорошие, восковые. От огня в доме становилось жарко, но хозяйка его, будто не замечая этой жары, куталась в пуховые платки и окна открывать запрещала.

Что взять-то с сумасшедшей?

А что девица не в себе, знали все. И престарелый Архип Эдуардович, приобретенный хозяином с домом вместе, и его сынок, Эдуард Архипович, в голове которого было изрядно седины и, что важнее, понимания. Он-то и шикал на бестолковых девок, когда они, позабывши о работе, принимались сплетничать.

- Ишь, языкастые, - грозил он им.

Девки смущались, строили глазки, намекая, что вовсе не против выслушать упреки так сказать в обстановке более приватной.

Оно-то, конечно, Эдуард Архипович сменял пятый десяток, но собою хорош.

С бачками стрижеными.

При бородке и часах серебряных на цепочке, покойным хозяином подаренных. А что вдовец, так оно в жизни всякое случается. Главное, сына-то учиться отправил, стало быть, не будет недоросль мешаться в делах отцовских. А как другие дети пойдут, то и вовсе старшенького потеснить можно будет.

Эти нехитрые мысли читались просто и вызывали у Эдуарда Архиповича немалое раздражение аккурат этою своею простотой, которая и вправду порой хуже воровства.

- Так ведь и вправду блаженная, - Марьяшка, взятая в дом по рекомендациям и за умение обходиться с тонкими ганзейскими вышивками, стрельнула глазками и потупилась, в скромницу играя. Выходило у нее не ахти, уж больно норовиста она была для прислуги. - Чего теперь с нами будет?

Другие девки, Марьяшке и завидовавшие, и вместе с тем признававшие, что она всем хороша - фигуриста, смуглява да еще и руками быстра, - загомонили.

- Цыц, курицы! - Эдуард огладил усы, которые каждое утро расчесывал специальным гребешком, воском намазанным. - Ничего не будет. Как жили, так и жить станем...

- А...

- Духовную грамоту небось при вас читали, - он обвел девиц взглядом - всего-то трое, а галдят, что твой курятник. - На содержание дома деньги положены? Положены. Дом в собственность перешел? Перешел.

И не только дом.

Девице Бурмаковой достались и драгоценности, список которых прилагался к духовной и был, сколь Эдуард Архипович успел приметить, велик. Несколько поместий. Выезд. И счета в банке, которых, мнится, хватит на безбедное существование.

- Так... так-то оно так, - Марьяшка, почувствовав тень сомнения - а от них и сам Эдуард Архипович, чего уж греха таить, не избавился, - подобралась. Руки в бока уперла, ноженьку выставила, голову набок наклонила, чтоб смоляная коса на другую сторону упала. Ишь ты, совсем страх потеряли, прислуге волосы надлежит зачесывать гладко да украшательства ненужного избегать. А эта... - Но с блаженной чего взять? Сегодня деньги есть, а завтрачка фьють - и пусто.

- Фьють, - согласился с Марьяшкой тихий голос.

И девицы замерли, уставились на хозяйку, которой на кухне делать было совершенно нечего.

Ишь ты. Тоненькая.

Исхудавшая едва ль не до прозрачности. И без того диво, как на ногах-то держится... оно-то и понятно, сколько годочков она была вроде и человеком, а вроде и нет.

Ходила. Сидела.

Улыбалась вот этою своею улыбочкой, от которой душа прям в пятки падает. Хозяин к ней с дюжину целителей приводил, и не только целителей.

Монахов еще.

Старушек, про которых говорили, что блаженные они. Да все без толку. Целители разводили руками, монахи молились и благовония жгли, весь дом провоняли. Старушки бормотали что-то там, яйца катали по волосам и жгли шерсть черных кошек.

Не помогало.

Да и как поможет, когда тело – это тело, а души в нем нетушки... Но, выходит, вернулась. И глядит так строго, хмуро.

– Почему в доме беспорядок? – поинтересовалась она, обращаясь к Эдуарду Архиповичу, который под взглядом серых глаз смутился разом. – Пыль не вытерта. Каминные решетки гарью заросли. И я уже не говорю про паркет. Еще немного, и ноги к нему прилипнуть станут.

Эдуард Архипович с немалым удовлетворением вздохнул.

Сомнения?

Были, как тому не быть. Когда человек не один год не в себе, то где ж поверить в чудо-то? Очнулась? Заговорила? Оно-то хорошо, конечно, но все одно беспокойно. Однако раз уж на пыль с каминными решетками внимание обратила, то, стало быть, вправду здоровая.

Хозяйство, оно вообще бабскую душу исцеляет.

Марьяшка, верно, смекнула, что с хозяйки станется выставить ее прочь, пискнула и, подхвативши веничек из перьев гусиных – поистрепавшийся, погрызенный даже, а все лучше, чем никакой, бросилась с кухни. И прочие за ней.

Эдуард Архипович остался.

За бороденку себя ущипнул. Поклонился:

– Желаете еще чего?

– Желаю, – ответила хозяйка. – Молока. Сладкого. И еще... вы не знаете, где взять приличную кухарку? Простите, но то, что вы готовите... несколько... несъедобно.

Она улыбнулась робко, виновато. И Эдуард Архипович почувствовал себя виноватым. Батюшка всенепременно сумел бы уговорить Петрачевскую, убедил бы не искать нового дома... Нет же, вбила себе в голову дурную, будто бы этот проклят. И помощницу за собой сманила.

И горничных. И даже конюха, который, впрочем, занимался не столько конюшнями, сколько садом.

– Я... постараюсь.

Ему благосклонно кивнули и добавили:

– И свечей еще купите, а то вдруг закончатся.

Свечей? Да с превеликою радостью. На свечи денег хозяйственных хватит с остатком, на который, право слово, многие зарятся, но Эдуард Архипович не той породы, чтобы разворовывать. Небось род его честно служил.

И служить будет.

А свечи... коль охота барышне с ними сидеть, то пускай себе. Слышал он, что у иных и куда как большие странности случаются. Сказывали, одна вот свиней в доме держать вздумала. От свиней небось ущербу куда как поболее, а противопожневые заклятья он той неделей обновил.

– Знаете... – она остановилась на пороге, замерла, прижав руку к губам. – Возможно, у нас будут гости... Я не уверена, но все-таки проследите, чтобы комнаты приготвили.

Она поднялась наверх, чувствуя спиной внимательный взгляд. И сумела выдержать его, сумела не расплакаться без причины, как ныне это случалось частенько. Вцепилась в хвосты шали вязаной,

затягивая их на груди. Но теплее не стало.

Она знала, что еще долго будет мерзнуть, возможно, до самого конца жизни, но сама способность испытывать холод напоминала, что она жива.

Снова.

Она остановилась у подножия лестницы, показавшейся еще больше и выше прежнего. Ноги болели. Руки были слабы, не способны удержать и ложку. И ей было неловко за эту вот слабость, которая, по уверениям целителя, была вполне себе естественна.

Надо просто подождать. Позволить телу восстановиться.

Недостаток двигательной активности... ваша болезнь...

Болезнь.

Она тронула широкие перила и грустно усмехнулась. И здесь пыль. А вот и скол, который бы заделать воском... царапина. И еще одна, длинная, извилистая, будто волос, прилипший к дубовым перилам.

К перилам, которых она не помнила.

Как не помнила лестницы. Слегка потускневшего ковра. Гобеленов и той вот сабельной пары, украшавшей коридор.

Гнутых ручек.

Зеркал, в которых отражалось одно и то же бледное некрасивое лицо. Она с каким-то мучительным наслаждением разглядывала его вновь и вновь.

Фарфоровая кожа. Полупрозрачные морщинки в уголках глаз. Веки потяжелевшие. Сами глаза и те тусклые, неживые.

Губы.

Седина в волосах, ранняя, но прикрыть ее она и не пытается. Она идет, и дом скрадывает звуки. И в этой тишине ей слышится упрек.

Почему так получилось?

Глупо. Нелепо.

И... неправильно. Она желала смерти? Желала. Себе. И ему тоже. И вот он умер, взял и просто умер, так ей сказали, а не было причин не верить. И стало быть, она может порадоваться, но радости нет. В душе пустота, рана зияющая, которую она и прикрывает узорчатой шалью.

Если бы...

Если бы они просто поговорили. Хотя бы раз... без насмешки и издевки, без гнева и затаенной обиды. Без... без того всепоглощающего желания ответить ударом на удар.

Неужели это было так сложно? Или она стала умнее?

Смешно надеяться.

Она не без труда добралась до окна, остановилась, опершись на столик, едва не опрокинув его, слишком хрупкий, ненадежный даже с виду. Больно... почему так больно? Ведь всего-то и надо, что выбросить из головы эту сволочь...

Сволочь и есть.

То, что он сделал... разве можно простить такое? Разве... почему тогда хочется плакать? Или прав целитель, это все от нервов и надо просто принимать успокоительный настой. Правда, от него клонит в сон, а во снах она возвращается в тот беспокойный ненастоящий мир.

Ждет волчью стаю. Совет.

И когда та спускается, начинает вглядываться в зверей, пытаясь понять, где же, кто же из них... она точно знает, что кто-то... он не умер, не ушел на суд Божий, оставшись навек запертым в том, чужом мире, обряженный в волчью шкуру, обреченный бегать по твердому небу.

Безумие.

Она присела.

Взяла лист бумаги... недописанное письмо. Всего-то два слова: «Дорогая матушка». А дальше что? Ваша дочь жива? И была жива все эти годы? Во всяком случае, относительно...

Обрадуется ли мама?

Или, напротив, поморщится, поняв, что старшая непослушная дочь вновь пытается вернуться в семью. А она пытается? Или... просто ищет хоть кого-то, за кого можно зацепиться в этой жизни, раз уж ее заставили вернуться.

Впрочем, матушка, помнится, крайне не одобряла женщин, которые честному замужеству предпочитали отношения, мягко говоря, свободные. С другой стороны, она-то никогда не позволила бы добру пропадать зря. И если узнает, сколько оставили Хелене, то явится незамедлительно.

Но нужно ли это самой Хелене?

Она попыталась представить матушку, пусть постаревшую, но сохранившую должную матроне монументальность. Круглое лицо ее с ниточкой полупрозрачных усиков. Адамантовые серьги, подарок отца, весьма ценимый матушкою.

Бусы в три ряда.

Цветная орлеевская шаль за три тысячи рублей. Ею матушка особенно гордилась и надевала только в гости. Или когда гостей ждала.

Вспомнился зычный голос и привычка лаять прислугу прямо с верхнего этажа.

Батюшка.

Братья и сестры... захотят ли принять ее в семью? Или станут говорить, что от такого позора бежать надобно, желательно в монастырь, что только так прилично. А состояние отдать следует. Не монастырю, само собой.

И рука выронила перо.

Оно и держалось-то так, условно весьма, поскольку заледеневшие пальцы никак не хотели обретающую подвижность.

Нет, матушке она напишет, но... позже, когда окончательно освоится в этом неудобном мире. И быть может, даже освоится со своею болью, притерпится к ней, а то и вовсе навек утопит в настое, благо его еще целая бутылка осталась.

Она... просто посидит. И вспомнит.

Почему-то его лицо ей представить было еще легче, чем матушкино. Резной горделивый профиль и махонькое родимое пятнышко у левого глаза.

Ресницы пушистые. Тяжелый подбородок.

Губы, которые кривились, стоило ему завидеть Хелену. Цепкий взгляд. Потом уже она частенько улавливала этот самый взгляд спиной или даже...

Он не должен был умирать. И ей не следовало.

И тогда бы...

- Прошу прощения, - этот голос вывел из задумчивости. - К вам с визитом. Принять просят...

Эдуард Архипович с поклоном протянул серебряный поднос, на котором белел клочок бумаги. Визитная карточка. Точно. Она помнит, что эти карточки очень-очень нужны, но вот беда, позабыла зачем. Она, кажется, многое успела позабыть о мире.

- Еще как просят, - женский бодрый голос заставил вздрогнуть, и карточка, которую почти получилось зацепить неловкими пальцами, выпала на поднос. - Прямо-таки требуют.

Эдуард Архипович нахмурился.

Воспитанным гостям надлежало визитки оставлять внизу вместе с приглашением или гостевым билетом, чтобы хозяева смогли увидеть и обдумать, надобен ли им такой визитер. Но рыжая девица вида пренаглого - только рыжие могут с таким видом держаться - вместо того, чтобы дожидаться возвращения Эдуарда Архиповича внизу, поднялась в кабинет.

Огляделась.

Шляпку свою крохотную бросила на столик, отправила следом коротенькие перчатки на замочке и произнесла:

- Вы знаете, я боялась, что вы мне все-таки примерещились.

- Что вы себе позволяете?

Раз уж хозяйка молчала, Эдуард Архипович принял нелегкое решение выпроводить гостью самостоятельно и даже двинулся на нее с видом суровым, в котором человек, с мирностью характера дворецкого незнакомый, мог бы увидеть угрозу.

- Это вы, как мне кажется, позволяете себе чересчур много, - тихо произнес неприметный господин в сером чиновничьем мундирчике. Он огляделся, мазнул пальцем по пыльному подоконнику и велел: - Подите прочь.

- Я полицию...

В руке господина появилась золотистая бляха столь характерного вида, что Эдуард Архипович замолчал. Уйти? Следовало бы. И папеньку предупредить об этом интересе конторы, с которой люди обыкновенные старались дел не иметь. Но как же хозяйка?

Бросить ее тут? Одну?

- Никто ей вреда не причинит, - сказала рыжая, тряхнув кудрями. - Напротив, мне кажется, ей нужна помощь...

- К ней ходит целитель.

- Пусть ходит, - рыжая взяла тонкую белую ручку, сжала, прислушалась. - И еще один заглянет, которому лично я верю, просто на всякий случай. Как вы?

- Я... не знаю, - голос у хозяйки был растерянный.

А еще она улыбнулась.

Не так, как прежде, когда от этой улыбки даже Эдуард Архипович вздрагивал и ежился, но обыкновенно, по-человечески. Робко так.

И с надеждой.

- Идите, Эдуард Архипович, - хозяйка обратила на него свой взгляд. - И пусть принесут чаю. Чай-то в доме остался?

- Обижаете.

- И к булочнику пусть кто сбегает... тут что-то с домом... разладилось, - она тихонечко вздохнула. - А я уже и не знаю, как это все назад... сладить. И вообще не знаю... и...

- Митенька, не сиди столбом, - рыжая повернулась к чиновнику. - Сходи за булочками, а то и вправду есть охота... и ты сам нынче без обеду. А во дворец когда еще вернемся.

Как ни странно, господин рыжую послушал. Вышел.

И Эдуарда Архиповича в коридоре за локоток прихватил. Огляделся и велел:

- Посылай кого за булками, а мы с тобою побеседуем... Скажи, что тут было?

Что было?

Кто бы знал, что было, но... Эдуард Архипович расскажет. И про хозяина с хозяйкою. Про то, как любил он ее, дышать-надышаться не мог. И она его... просто душа радовалась глядячи. А после приключилась беда, то ли проклял кто, то ли сглазил, но хозяйка на себя руки наложить попыталась. Вытянуть-то ее вытянули, да только не до конца, выходит.

С чиновником говорить было просто.

Он слушал превнимательно, под руки не лез и даже самолично смахнул с кухонного стола крошки. Он и чашки на подносе расставить помог, и булки, Марьяшкой принесенные, разложил красиво. И кивал, и поддакивал, отчего говорилось только легче.

А после пил крепкий чай.

Жевал маковый калачик и вместе с Эдуардом Архиповичем вздыхал по чужим загубленным жизням. Показалось, искренне.

- Я вас помню, - Хелена опустилась в кресло, которое предупреждающе заскрипело и под этим малым весом. - Здесь вы другая.

- И вы.

- Зачем вы пришли?

- Проведать. Я... мне самой сказали, что я долго не возвращалась, - рыжая потрогала губы, будто проверяя, на месте ли они. - И я помню, как... неуютно мне было в этом мире. Все казалось, что слишком он тяжелый... и даже мысли появлялись. Всякие.

Хелена кивнула.

Мысли и вправду появлялись. Всякие. Взять, к примеру, нож для бумаг и по запястью провести, выпустить красную кровь, не убивая себя - к чему пытаться вновь, если единожды не вышло, - но просто проверить, есть ли она.

- А я там пробыла всего-то ничего. Вы - куда дольше. К тому же... - рыжая отвела взгляд. - Мне показалось, что... его смерть для вас что-то да значила?

- Значила.

Соглашаться с кем-то легко, куда легче, нежели самой принимать решения.

- И что вы, возможно, совсем даже ей будете не рады.

- Буду. Не рада.

- Мне бы не хотелось, чтобы горе заставило вас совершить какую-нибудь глупость.

- Какую?

- Не знаю. Глупости, они трудно предсказуемы. Мне сказали, что вы не покидали дома... как в себя пришли, так и не покидали. Почему?

Смена темы была неприятна. Но рыжая теперь глядела прямо, выжидающе, и это раздражало. Появилось непонятное желание немедля выставить незваную гостью.

- А хотите прогуляться? - рыжая поднялась и протянула руку. - Сегодня погода преотменнойшая...

- А чай?

- Подождет.

Прогуляться Хелена не хотела.

Совсем.

Но почему-то позволила взять себя под руку. Тело ее, еще слабое, непослушное, тянулось к рыжей, будто чувствуя чужую силу.

Собственные почти иссякли. И целитель, когда Хелена спросила его про дар - пусть невеликий, но все одно ее собственный, - стыдливо отвернулся. Стало быть, надеяться на полное восстановление нечего. С другой стороны, новость вызвала лишь слабое огорчение.

У нее вообще стало сложно с чувствами.

- Осень уже... скоро дожди зарядят. Дождей я терпеть не могу... вообще-то, если вдруг вы забыли, меня Лизаветой звать... можно Лизой. Лизонькой вот лучше не надо, отчего-то раздражает, - она шла неспешно, рыжая Лизавета, от которой тянуло теплом. А его так не хватало в доме. - Когда дожди, то вечно тоска накатывает. Слышала, при университете кафедру новую открывают? Прикладной некромантии... церковь уже выступила с обличающей речью, а потом выяснилось, что управлять будет монах...

Она говорила и говорила.

Об университете. И о каком-то монахе. О прениях. О договорах.

О слухах, что его императорское высочество скоро объявит о помолвке, и вовсе не с Таровицкой, которая, не иначе от огорчения, в спешке покинула двор. А вот Одовецкая осталась и теперь при лечебнице для бедных служит. То есть не совсем чтобы служит, потому как целительница, а их на службу не ставят, но другого слова не подобрать...

Кто такая Одовецкая? Или Таровицкая?

Или еще какая-то Авдотья, которая от жениха сбежала, как только он на ноги встал. И так сбежала, что едва скандал не получился. Точнее получился бы, когда бы жених ее не догнал и... в общем, там, похоже, любовь, хотя при дворце злословят, что из всех вариантов Пружанская выбрала наихудший.

Странные чужие люди, до которых Хелене и дела-то нет.

А конкурс завершился, несмотря ни на что.

Лизавета даже писала о том.

Кто победил?

Марфа Залесская... правда, поговаривают, что выбрали ее неспроста, а чтобы устроить какой-то там то ли брак, то ли договор. Залесские-то половину Севера под рукою держат, опять же, у тятеньки Марфиного плавильни и еще флот собственный торговый, едва ли не в половину государственного. А на Севере земель неосвоенных тьма, и Залесского ныне в министры прочат.

Но это все не важно.

Во всяком случае, не так важно, как прохладный красный лист клена. Хелена увидела его на дорожке и остановилась.

Наклонилась. Подняла.

Покрутила в пальцах, удивляясь тому, что влажен он. Она тронула пятнышки грязи, прилипшей к листу. Провела мизинцем по краю, казавшемуся острым.

Мягкий.

А Лизавета замолчала, вздохнув.

- Я не хочу, чтобы тебе было плохо. Но я не знаю, как сделать так, чтобы... если о тебе узнают, то многие захотят сделать так, чтобы ты исчезла.

- Умерла?

Лист ластился к ладоням.

Трава была мокрой, но все еще зеленой. Из нее торчали сухие стебельки, которые покалывали пальцы. По дорожке полз муравей.

- Детей у вас не было, но... иногда надежней, чтобы...

- Человека не стало.

Детей не было.

Она об этом не думала раньше. А сейчас вдруг стало больно. Могли бы быть... сын, похожий на... или вот дочка. Дочке он бы обрадовался даже больше, но... не было.

Не было?

Что-то нехорошо кольнуло душу.

Не было ли? Или... если не было, то почему ей так беспокойно? Неправильно? Так... тянет вдруг бежать? Искать? Кого и где? И она даже знает где, будто шепчет кто-то на ухо. От менталиста и после смерти не избавиться. Зато если так, если все действительно так, значит, Хелене есть, ради чего жить?

Только... осторожно.

Очень-очень осторожно, потому как Лизавета пусть и помогла, но доверять ей не след. Остальным тем паче. Нельзя, чтобы они заподозрили...

- И что вы предлагаете? - Хелена позволила листу упасть на дорожку. - Мне уехать? Куда?

- Не уверена, что это поможет. - Лизавета листья собирала в красно-желтый букет. - А предлагаю... дать клятву. Людей, которые знают, что произошло, мало. О вас и того меньше.

Клятву? Отчего бы и нет.

И уехать... она попробует. На воды.

Больным крайне полезно отдыхать на водах. А она аккурат нездорова. И мысль эта показалась вдруг донельзя удачной. Хелена живо вообразила себе морской берег, пусть осенний и стылый, но тем лучше. Отдыхающие разъедутся, курортный город утратит летний лоск, зато появится настоящее его лицо.

А море...

Море вздохнет с облегчением, избавившись от купальных кабинок и прехорошеньких, кукольных будто, лодчонок. Оно будет играть водорослями, выплевывать на берег тяжелые камни, среди которых нет-нет да и сыщется кусок янтаря.

Картина показалась до того привлекательной, что Хелена едва сдержала желание немедленно вернуться в дом. Она сегодня же прикажет паковать чемоданы и...

Тот городок аккурат близ моря расположен.

- Вы будете молчать. Я... тоже стану молчать. - Лизавета теперь смотрела без усмешки, и под взглядом ее делалось неловко. - Вам выправят документы на другое имя... скажем, вдовы.

Вдовы? Почему бы и нет.

На стылом морском берегу вдовам самое место. И быть может, Хелена до того проникнется тишиною зимнего - а на зиму она тоже останется - моря, что прикупит небольшой дом.

Вдова.

Смешно. И грустно.

А главное же, слово на редкость подходящее.

Вдова.

Она повторила его про себя снова. И еще раз. И, убедившись, что при повторении слово не утратило и толики своей неприметной прелести, согласилась. Вдова - это хорошо и порой весьма и весьма удобно.

Эпилог

От рыжих волос пахло типографскою краской, пятнышко которой осталось на щеке, и Димитрий не удержался, дотянулся, стер.

- И все равно, - Лизавета упрямо мотнула головой. - Я не понимаю, что тебе не нравится? Вы хотите популярности, но притом совершенно не хотите открываться людям. Придумать сказку? Это, конечно, можно, только у тебя эту сказку целый департамент думает. Не подскажешь, получается?

Димитрий развел руками.

Когда она злилась, то становилась будто бы выше ростом.

- Так ведь... вчера отчитались, что материалы поданы.

- Поданы, - неожиданно спокойно согласилась Лизавета. - Материалы... ты их читал?

- Нет.

- А мне пришлось.

Она крутанула колечко на пальце, как делала всегда, нервничая. И стало быть, зря Димитрий поверил Войтеховскому с его уверениями, будто бы все сделано в лучшем виде.

- И как? - осторожно поинтересовался Навойский, на всякий случай отступая к двери.

Норов у невесты был... беспокойный.

- Как? - Лизавета нахмурилась. - И вправду хочешь знать как? А вот так... его императорское величество бдит.

- В смысле?

- Про смысл у своих спрашивай. Я тебе цитаты даю. Бдит о народном благе денно и ночью. Особенно, полагаю, ночью. Ночами оно вообще как-то бдеть сподручней. Особенно о народном благе...

- Лизанька!

- А еще его императорское величество челом высок.

- Гм...

- Голос его грозен и вызывает в душе человеческой верноподданическое трепетание...

Димитрий закрыл глаза.

Да. Определенно. Этот опус следовало прочесть до того, как он ушел к Лизавете.

- А у наследника многообещающий взор, пронзающий душу до самой печени. И я тебе клянусь, что так оно и было написано, мол, до самой печени. Там еще есть длань, которая простирается над миром. И прекраснородушное очарование императрицы. Они у тебя вообще в школе учились? Это же... я понимаю, что вам нужно представить императора народу, что хотелось сделать это как-то... более-менее патриотично, но не до такой же степени! А это еще... как там было... что-то про приступ горячей народной любви. Это у лихорадки приступы бывают. И у холеры... в общем, уточни у Одовецкой.

Она махнула рукой и опустила на скамью.

- Как хочешь, но это я в печать не пушу... это бред! И если ваши газеты его печатают смиренно, то не значит, что и я буду!

- Не будь.

- И не хочу... у меня, между прочим, репутация только складывается... два номера всего вышло...

И каждый дался немалой кровью.

А уж цензура и вовсе едва ль не открыто обвиняла Навойского в преступном попустительстве, но...

К газете приглядывались. Читали.

И сколь Дмитрий знал, второй выпуск пришлось допечатывать.

- Ты попросил освободить полосу. Я выкинула материал, а взамен... - она махнула рукой.

- Извини.

- Не извиню.

- Извинишь, или я тетушке нажалуюсь.

- Это нечестно!

- Зато действительно... - Дмитрий взял невесту за руку. Пальчики дрогнули. - Может, сама возьмешься? Помнится, со Стрежничким у тебя весьма душевно вышло... неизвестные герои Смуты...

Лизавета фыркнула и порозовела. Правда, сказала весьма смущенно:

- Он на меня до сих пор волком глядит, хотя я и фамилии не упоминала...

Будто кому-то она надобна.

- За погляд денег не берут, а что до фамилии, то... мои остолопы хотели как лучше, но, похоже, слегка перестарались... И все-таки писать придется. Сама понимаешь.

Газета хоть и именовалась независимой - чему, правда, не особо верили в свете, хотя и кивали, соглашаясь, мол, независимее некуда, - но существовала на казенные деньги, выделенные окольным путем. Всех этих казначейских хитростей Навойский и сам до конца не понимал, но, главное, работало.

Станки запущены.

Номера вышли и пусть особой выгоды пока не принесли, однако перспективы открывались презамечательнейшие.

- Или вот про границу еще...

- А про публичные дома твои не пропустили, - пожаловалась Лизавета.

- Так тема-то... болезненная.

- То есть если делать вид, что их не существует, то и проблема рассосется? - она вновь нахмурилась. - А ты знаешь, что за последние двадцать лет количество публичных домов увеличилось втрое? И что две трети их - это вовсе не те заведения, куда приличный человек заглядывает? И что не все несчастные попадают туда добровольно? И что порой городские закрывают глаза на такие вот заведения, не бесплатно, само собой...

Дмитрий поднял руки, показывая, что сдается.

- Давай так... - Навойский знал и это. И многое иное.

О том, скажем, кому платят уже городские.

И кто на самом деле владеет «Сенью ивы», заведением старым, если не сказать почтенным, приносящим немалый доход, и отнюдь не одной лишь торговлей телом. Впрочем, телом тоже торговали, мужским, женским, порой детским, а с ним - и чужими секретами.

Порой и вовсе тайнами государственными, причем не важно, какого именно государства. Были бы деньги.

У завсегдаев были.

Еще мог бы поведать о так называемых закрытых клубах, принимавших гостей крайне неохотно.

О том, что два таких клуба принесли немало головной боли Навойскому, ибо дела, в них творившиеся, не то что непотребными, незаконными были. Однако же почтенные члены полагали, будто давно уже стоят над законом.

Было много всякого. И Навойский не был уверен, что следует вытаскивать грязные эти тайны на свет божий. Правда? Правда дело хорошее, только...

- Обмен. Ты пишешь про императора, императрицу... не обязательно за один раз. А я даю разрешение печатать про твои публичные дома.

- Не мои!

- Не твои, - покорно согласился Навойский.

И еще на шаг отступил к двери. Все ж невеста его пусть и была существом на редкость упрямым, а по мнению высшего света и вовсе безголовым, раз уж год откладывала свадьбу, но отнюдь не глупым.

- Значит, - мрачно произнесла Лизавета, взвешивая на ладони мятый бумажный лист, - ты это... нарочно?

- Что нарочно?

- С самого начала задумал? Когда отказали... цензоры... еще пасквилем обозвали... ты... мог бы... - Бумажный шарик полетел в стену, и Лизавета всхлипнула. - А я-то думала, что все по-честному, что...

Навойский замер.

Хрустальная слеза покатила по бледной щечке, заставляя ощущать себя редкостной сволочью.

- А ты... меня... использовал... - К первой слезе добавилась вторая. - Я-то... всей душой... к тебе... я... я тебе платочек вышиваю. Шелковый.

- Сама?

Лизавета слегка потупилась. К этому времени Навойский знал, что с вышивкой, как и иными, исконно женского характера искусствами, у нее не больно-то ладилось. А вот хитрый взгляд из-под ресниц заметил, как и слезу, на них повисшую.

- Этими вот руками, - сказала Лизавета и руку приподняла.

Бледную. С пятном все той же въедливой типографской краски.

- Недосыпала... недоедала...

- За кем?

- Что?

- За кем не доедала?

Ответом был мрачный взгляд. И пальцы, то ли погладившие кольцо, то ли примерившиеся, как бы половчей его стащить.

- Мир? - предложил Димитрий, пока кольцо и вправду не соскользнуло с пальца. Нет, само бы не должно, магия родовая отличается похвальной цепкостью, но все же... мало ли.

Лизавета вновь вздохнула и отвернулась.

- Я же не виноват, - он подошел, обнял упрямую свою невесту и поцеловал в макушку, - что ты отказывалась про них писать. А в чем Лешек провинился? В том, что наследником родился? Или вот император... ты знала, что он побывал на Берегу Слоновой Кости? Или что с китобоем ходил?

- Император?

- А еще два года прожил на Черном острове, с людоедами, его даже в племя приняли, потому как шаман сказал, будто бы он посланец солнца... он спускался в подводном колоколе.

- Врешь.

- Сама спроси, если не веришь...

- Он император, ему...

Не положено?

Димитрий знал, что ныне императору многое не положено, может, оттого время от времени и случается с ним очередной приступ неизвестной заразы, заставляющей запереться в собственных покоях. И эта же болезнь поганого свойства обрушивается на семейство Керненских...

От Лизаветы пахло еще и хлебом. Молоком.

Осенью, которая в этом году случилась на редкость рано. Золотыми кленовыми листьями. Первым дождем, что прибил пыль на мостовых Арсинора. Влажным камнем и железом, запах которого осенью становился особенно резким, хотя в городской черте давно уж не осталось кузнечных мастерских, равно как и кожевенных. Мастерских не осталось, а вот запах поди ж ты...

- Он человек, - сказал Димитрий. - Прежде всего. И мне не нравится, что из него делают этакое солнце. Солнцу не прощают ошибок. Его не любят, как любят другого человека. Оно вовсе чужое, чуждое, если ты понимаешь...

- А...

- И о ней надо будет написать. Осторожно, так, чтобы не опровергать слухи, но и не подтверждать их... вообще неплохо было бы сделать цикл статей о нелюдях. Таких, честных... более-менее... хватит нам бояться непонятного.

А вот это предложение Лизавету определенно заинтересовало. Димитрий уже научился читать выражение ее лица. И взгляд этот, слегка затуманенный, был хорошо ему знаком.

- А про...

- И про Лешека... он очень любит молоко, особенно с медом. Вообще сладкоежка страшный... и местами да, он страшен, потому что не совсем человек, хотя он и старается. Но с одной стороны древняя кровь и с другой. Думаешь, ему легко с таким наследием? В детстве его и вовсе едва ли не проклятым полагали. Только моя матушка и могла на руки брать, остальные не то чтобы боялись, скорее уж брезговали. Клятвы клятвами, тут ничего не попишешь, но, сама понимаешь, душу клятвой не изменишь. И любить не заставишь. Он на самом деле добрый, только... это сложно.

Лизавета кивнула.

Сложно.

И тяжкое это дело, родиться наследником империи. А почему бы, собственно говоря, и не попробовать? Именно с этой точки зрения... наследник.

Ответственность. Детство, которого не было.

Нет, многие не поймут. У крестьянских детей вон тоже детства нет, потому как с рождения каждый работать должен. А аристократы и вовсе решат, что потерянные годы вполне себе годная плата за абсолютную власть...

Тогда сделать акцент на ответственности?

На ноше, которая ляжет на плечи?

Дух единства, только ненавязчиво, потому как с этим духом треклятый отдел пропаганды, куда ее Димитрий все пытался заманить, но Лизавета сопротивлялась, крепко ей крови попортил. Вот пришло же кому-то в голову, а потом как в поговорке: заставь дурака молиться...

Но попробовать можно.

- Ладно, - согласилась она, закрывая глаза, потому как сложно возражать человеку, который мало что обнимает тебя среди бела дня, хорошо, что не на глазах у людей, так еще и целует.

Шею.

Щекотно и хорошо.

Просто хорошо. Чудесно даже.

- Только... - она все же нашла в себе силы отстраниться и заглянуть в глаза Навойского. - О Дарье. О ней я не знаю, что писать... если обо всех, то и о невесте наследника тоже. Но... понимаешь, уже ходят слухи, что она едва ли не безумна...

- Не безумна.

- Мне придется с ней говорить. И я не уверена, что услышанное мне понравится... одно дело - знать, просто знать. Из отчетов. Из рассказов твоих, и совсем другое - когда кто-то рассказывает... да и...

- И, - Димитрий коснулся кончика ее носа. - Это тебя смущает?

Смущает. Злит.

Она до сих пор не простила. Поняла, вероятно, потому как обладала удивительной способностью понимать других людей, но вот прощение требует совсем иных душевных сил.

- Во-первых, писать о ней не обязательно. Официального объявления о помолвке не было...

- Но ведь они... кровь... смешали. По старому обряду.

- А кто знает? - Дмитрий не удержался и поцеловал этот самый любопытный нос. - Ты и я? Император? Остальные пусть думают, что Дарья - временное увлечение. Так оно и безопасней.

- А во-вторых?

- Во-вторых, завтра она объявит о своем желании уехать в монастырь.

- Что?

- Это и вправду ее желание. Лешек отговаривал...

- Насовсем?

- Нет. Пока речь идет о полугоде... или годе. Ей нужно прийти в себя. От чужого воздействия избавиться непросто, даже если воздействие давнее, опосредованное, а порой и неосознанное. Она боится, Лиза, просто по-человечески боится.

- Чего?

- Того, что до сих пор не является собой. Что ее вообще не существует как личности. Что Лешек сделал неверный выбор. И дело не в любви, а опять же в том самом воздействии. Что таких совпадений не бывает. И что ей самой не нужен цесаревич, что это вовсе не любовь, а...

Лизавета фыркнула. Хмыкнула.

И отвернулась, скрывая взгляд:

- Я все равно не знаю, сумею ли...

- Никто не знает, - Дмитрий отстранился. - Но это не значит, что нельзя попробовать.

И наверное, он был прав.

Только на сердце все равно было не так. Неправильно. Лизавета тронула кольцо, и прикосновение к нему вдруг успокоило.

- Скажи, - она с трудом сдержала вздох, - а ты еще не передумал?

- Не дожدهшься.

- Тогда... - она прикусила губу. - Может, давай поженимся? Только тайно. Что? Дыру на первой полосе надо же чем-то заполнить...

Тихий смех был ей ответом.

На берегу женщина в темном вдовьем платье кормила чаек. Она отламывала куски от мягкого багета, швыряя в воздух, и белая стая верещала, била крыльями, норовя подхватить все до крошки.

Пахло морем. Йодом.

Песком, который потемнел от влаги. Впрочем, это обстоятельство не помешало мальчишке ковыряться в нем. Лет семи, он был одет с нарочитой простотой. Темные полотняные штаны пропитались влагой, на ботинки налипли и песок, и водоросли, и вовсе что-то, совсем уж неразличимое. В руках мальчишка держал раковину.

- Мама, смотри, - он прижал ее к уху. - Правда, шумит?

- Шумит, - согласилась она, осторожно тронув влажную поверхность. На мальчика она смотрела с сомнением, которое отражалось и в его глазах. - Тебе... здесь нравится?

Тихий город. Скучный.

Из тех, где все и всё обо всех знают, а когда случается хоть что-то, выходящее за пределы обычного существования, то запоминается оно надолго. Как тот день, когда фрау Марта застала своего мужа

с двоюродной сестрицей в отнюдь не родственной позе.

Или когда тот, вместо должного раскаяния, заявил, что к одной сестрице уходит, благо, негодяйка держала трактир и была вдовой.

Или приезд этой вот вдовы-арсийки с сыном. Впрочем, в отличие от Марты, изгваздавшей двери трактира навозом, арсийка оказалась скучной. Сняла старый дом у вдовы Баух, наняла плотников и тех не местных, а после зажила сама по себе, что, с точки зрения местных, было совсем уж непорядочно.

Марта вон, по слухам, к ведьме пошла, чтобы пока еще законного супруга от разлучницы отвадить. А эта гуляет чинно по городку. Порой заглядывает в трактирию, где всегда берет одно и то же. И пусть говорила она чисто, понятно в отличие от племянника, который только начал постигать язык, но в этой правильности лишь ярче ощущалась ее инаковость.

Да и она чувствовала себя не слишком уверенно.

С другой стороны, эта неуверенность сближала. И, осторожно тронув светлые волосы мальчика, женщина поинтересовалась:

- Как тебе здесь? Нравится?

- Да... мама, - с легкой запинкой произнес он. - А мы здесь надолго?

- Не знаю пока, но... ты же знаешь, нам не стоит задерживаться на одном месте.

Он кивнул, и выражение лица стало не по-детски серьезным.

- Один раз я сумела тебя отыскать. Второй... не уверена, что тебя оставят в живых. Поэтому... что ты думаешь про Аслендские острова? Они достаточно уединенны, вместе с тем там, говорят, красиво, хотя и холодно.

- Холода я не боюсь.

- Хорошо, - она коснулась губами холодной щеки. - Возможно, когда-нибудь потом... ты вернешься. Если захочешь.

Мальчишка пожал плечами.

Возвращаться?

Куда? И зачем? Напротив, здесь все было настолько другим, что он до сих пор поверить не мог собственному счастью. Мама его нашла.

В той семье, которую он всегда считал чужой. И не ошибался... нашла и забрала. Увезла. Сперва на горячий южный берег. Потом на другой, но тоже берег, и третий, и четвертый... Берега сменяли друг друга, а он учился различать голоса моря.

И разве что-то могло быть лучше?

Корона?

К чему ему корона? У него и без того есть все, что нужно для счастья.

Примечания

1

С XVI в. покровителем мальчиков считался Георгий Победоносец, чей цвет, красный, для детей «смягчался» до розового, а покровительницей девочек была святая Екатерина, чей цвет, синий, для детей превратился в голубой (*прим. авт.*).